МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

РОМАН ГУЛЬ

«Я унес Россию.
Апология русской эмиграции»

Том первый. «Россия в Германии»



Р. Б. Гуль

Я унес Россию

Том I. Россия в Германии



Москва
Берлин
2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
Г94

Гуль, Р. Б.

Г94 Я унес Россию. Том I. Россия в Германии / Р. Б. Гуль. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 414 с.

ISBN 978-5-4475-2633-7

Автор этой книги – видный деятель русского зарубежья, писатель и публицист Роман Борисович Гуль (1896–1986 гг.), чье творчество рассматривалось в советской печати исключительно как «чуждая идеология». Название мемуарной трилогии Р. Б. Гуля «Я унёс Россию», написанной им в последние годы жизни, говорит само за себя. «…я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний... Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом.»

Вниманию читателей предлагается первый том трилогии, в который вошли разноплановые новеллы, не связанные общим стилистическим единством. В книге много портретных зарисовок, в которых автор пишет о своих современниках – литераторах, участниках Белого движения, общественных деятелях и политиках, рассказывает о эмигрантских организациях и издаваемых журналах. Большей частью записи охватывают берлинский период жизни Р. Б. Гуля.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-2633-7

От автора

Эта книга – «Россия в Германии» – первый том моей трилогии «Я унес Россию». Второй том – «Россия во Франции», где я жил с сентября 1933 года по январь 1950. И третий – «Россия в Америке», где живу с 1950 года и, вероятно, до смерти (которую описать уже не удастся). Издавая первый том – «Россия в Германии», – жалею, что многое из того, что хотел бы вместить в него – не вместил. Жаль, что не дал свои встречи с Борисом Пильняком (они небезынтересны), дружбу с Ив. Ив. Мейснером, (народоволец, потом эсер, после разоблачения Азефа гонявшийся за ним, чтобы его убить), нашу общую с Б. И. Николаевским встречу с беглым чекистом Агабековым. Не рассказал о приходах в издательство «Таурус», где я работал, бывшего военного министра, генерала от кавалерии В. А. Сухомлинова. Он приходил к Г. Г. Блюменбергу, бывшему московскому издателю, онемеченному русскому, помогавшему ему в издании двух его книг («Вел. кн. Николай Николаевич-младший» и «Воспоминания»). Книги успеха не имели. Когда Сухомлинова хоронили на русском кладбище в Тегеле, один могильщик, бывший белый офицер, будто бы, сказал: «Ну, немецкий шпион, иди в немецкую землю». Действительно, странно. Всех арестованных царских министров большевики убили, а Сухомлинова с рук на руки передали немцам. И уже в 1918 году он оказался в Берлине. Не передал рассказ Д. В. Пружана, как чекист Эйдук (государственное поручение) продавал в Берлине бриллианты и другие драгоценные камни, награбленные большевиками в России у частных лиц; не все рассказы Федина и Толстого; мало рассказал о молодых русских поэтах и писателях в Берлине. Многое небезынтересное могло бы еще войти в этот том. Но, увы,

«нельзя объять необъятное». Кое-что из «необъятного» постараюсь дать во втором томе.

Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто помог мне в работе над «Россией в Германии» предоставлением печатных материалов, указаниями на сделанные мной ошибки в именах, датах, фактах и тексте, опубликованном в «Новом журнале». Благодарю – А. Р. Гурвича, кн. А. П. Щербатова, М. С. Бернштама, Гордона Мак-Вей, Л. Я. Далину, Д. А. Левицкого, Л. Ф. Магеровского, А. В. Бахраха, А. И. Поплюйко, Р. О. Якобсона, Г. П. Струве, Е. Н. Минченко, В. А. Пирожкову, П. А. Муравьева, Е. Ю. Концевич, А. К. Раннита, Томаса П. Витни, А. Седых, К. В. Леонтьеву, О. А. Анстей, О. В. Радыш, В. В. Штейн, Л. Бокову, Ю. Д. Кашкарова. Если кого-нибудь пропустил – прошу простить.

Для себя мы не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы.

Аполлон Григорьев

Вступление

Какой-то большой якобинец (кажется, Дантон), будучи у власти, сказал о французских эмигрантах: «Родину нельзя унести на подошвах сапог». Это было сказано верно. Но только о тех, у кого кроме подошв ничего нет. Многие французские эмигранты – Шатобриан, герцог Энгиенский, Ришелье и другие, у кого была память сердца и души, сумели унести Францию. И я унес Россию. Так же, как и многие мои соотечественники, у кого Россия жила в памяти души и сердца. Отсюда и название этих моих предсмертных воспоминаний – «Я унес Россию».

Под занавес я хочу рассказать о моей более чем шестидесятилетней жизни за рубежом. Это будут некие мемуары d'outre-tombe, ибо я начал работать над этим рассказом в 1977 году, когда достиг Мафусаилова возраста. Удастся ли закончить? Только Бог знает. Замогильные мемуары я хочу начать с очерка.

Откуда есть пошли Гули

Будучи подростком я был обуреваем «множеством страстей»; в гимназии игра «в перышки»; на нашем большом дворе – в лапту и чушки (рюхи); потом – бильярд; кроме того, я «водил голубей» (страстный был – и остался – голубятник); потом – собаки; потом – лошади рысистые и верховые. Между прочим, я любил родословные и лошадей и людей. Это тоже была страсть. Конские «аттестаты» вызывали во мне какое-то «волнение», похожее на волнение при игре в карты. Странно, но это так было. Я с увлечением перечитывал длин-

ные листы плотной, приятной бумаги, исписанные каллиграфическим почерком: «Волга – от Потешного и Летуньи. Потешный – от Кролика и Волнистой. Летунья – от Крепыша и Бури. И т.д., и т.п.». Сходное чувство было у меня и к людским родословным. Хотя тут, конечно, примешивались и чувствования более сложные.

Мальчиком я во все глаза глядел, когда дед Сергей Петрович Вышеславцев (отец мамы) иногда (редко) показывал мне родословное древо дворян Вышеславцевых. И я узнавал, что вышли они из Литвы при Василии Темном. Дед рассказывал, что один из Вышеславцевых, воевода, при Иване III усмирил Новгородское восстание, Широко разветвленное древо, усеянное множеством кружочков, вызывало чувство ухода в тайну моего собственного бытия, в исток рода, в ощущение, что моя маленькая жизнь как-то связана со всем множеством кружочков этого развесистого древа.

Бабушка Марья Петровна, урожденная Ефремова, происходила, как и дед, из мелкопоместных дворян, но не Керенского, а Краснослободского уезда Пензенской губернии. Если я бы писал о детстве (а не воспоминания об эмиграции), я бы много написал о Марье Петровне, которую люблю до сих пор. Но я об этом не пишу.

Любил я слушать рассказы об отце деда. Он, оказывается, был в хозяйственном смысле никчемушный помещик. Почти все свое имение в Керенском уезде он пропустил (что во мне вызывало к нему какое-то умиление, мне нравились помещики, пропускавшие свои имения). Деду он оставил всего 200 десятин, да брату деда столько же. Но и брат деда, Митрофан, все свое тоже пропустил, как и отец. Дед говаривал, что Митрофана «ограбил купчишка Самошка Сударев», Этот Самошка обобрал Митрофана так, что Митрофанове имение все перешло к Самошке, а Митрофан спился.

У деда характер был иной. Смолоду он пошел служить по земству. Почти всю свою жизнь был председателем Керенской земской управы, неким самодержцем уезда. Иногда бывал предводителем дворянства. Но этого поста не любил: хлопотно, приемы, поездки и пр. Я описал деда в «Коне рыжем».

Но насколько в роду Вышеславцевых и Ефремовых все было ясно, настолько происхождение Гулей для меня было окутано туманом. И никто никогда мне – мальчишке – этот туман прояснить не хотел. «Ах да отстань, Рома, со своими глупостями».

Только после смерти отца, разбирая его бумаги, в ящиках громадного резного орехового письменного стола я нашел старинную, свернутую в трубку бумагу: свидетельство о крещении младенца Карла в протестантской церкви в Царском Селе. В свидетельстве было указано, что младенец внебрачный и что родители его: отец – ротмистр Ея Величества кирасирского полка, светлейший князь Иосиф Иосифович Вреде, а мать Каролина Гуль. Были указаны и восприемники. Помечен документ был 1834 годом.

«Туман Гулей» для меня рассеялся, и об этот происхождении деда мне тогда уже, после смерти отца, рассказала и мама, и особенно дядя Сережа (младший брат отца). Он рассказал, что Каролина Гуль, будто бы, была женщиной необычайной красоты (что и подтверждал старинный дагерротип). Была она шведского происхождения, как и князь Вреде. Но была не из богатой и знатной семьи, а из скромной. По словам дяди, брак ее с светлейшим ротмистром был законный, но когда светлейший вскоре – через два года – захотел жениться на очень богатой тамбовской помещице Петрово-Солововой, то будто бы, благодаря своим высоким связям при дворе, брак он как-то расторг, и дед оказался «внебрачным». В рассказ дяди Сережи я не верил. Просто, вероятно, связь с скромной Каролиной светлейшему оказалась больше

не нужна и, может быть, тягостна, а женитьба на богатейшей девице Анастасии Петрово-Соловово, очень хорошего рода, светлейшему была весьма кстати. Вот он и сочетался «законным браком».

Но Каролину и своего сына светлейший на произвол судьбы не бросил. Каролина с двухгодовалым сыном только уехала из Петербурга в Тамбов. Всю ее жизнь (Каролина замуж никогда больше не вышла) светлейший ее содержал. Своему же сыну дал хорошее образование. Дед мой окончил среднее учебное заведение в Тамбове. Потом поступил в Императорский Московский университет на медицинский факультет, который блестяще окончил, как тогда писалось, «со званием лекаря».

Семейное предание говорит, что когда дед окончил университет, светлейший отец захотел встретиться с несветлейшим сыном и пригласил его на обед в знаменитый ресторан «Яр» отпраздновать получение докторского диплома. По семейным рассказам, дед был человек огненно-вспыльчивый и резкий. На обед с светлейшим отцом он приехал, прошел в указанный отдельный кабинет «Яра» и тут в первый раз в жизни увидел своего отца, того, кто дал ему жизнь. Руки светлейшему он не подал, сказав: «Я приехал сюда только для того, чтобы сказать вам, что вы мерзавец!». Повернулся и вышел. Больше светлейшего отца своего он никогда не видал. Мать же свою Каролину дед страшно любил и за нее-то (я думаю) и отомстил.

Сейчас в Нью-Йорке, когда я работал над этими memoires d`outre-tombe, я как-то разговорился с князем Алексеем Павловичем Щербатовым, профессором-историком и большим знатоком генеалогии старых русских и иностранных родов, и оказалось, что А. П. прекрасно осведомлен о всех Вреде. Он прислал мне не только печатные документы о них, но и рассказал, что его отец и дядья (Щербатовы) были хороши с

детьми князя Иосифа Иосифовича и Анастасии Петрово-Соловово. По ее матери (княжне Наталии Щербатовой) дети Вреде даже приходились Щербатовым дальними родственниками.

В документах я прочел, что Вреде – шведский род, До сих пор в Швеции есть Вреде. Но в далекие времена, в 1612 году, одна ветвь Вреде (Генрих Вреде) переселилась в Баварию и здесь достигла знатности. Тут-то Вреде и стали «светлостью». И до сих пор в Германии где-то стоит замок Вреде – Эйлинген.

Мой «внебрачный» прадед (так оно и есть, извиняюсь перед мещанами всех мастей, но из этой романической песни слов выкидывать не хочу) Иосиф Иосифович ничего особого в жизни не достиг. Зато его отец – фельдмаршал – оставил некий след в истории. Когда Наполеон воевал с союзниками в Европе, сей фельдмаршал был с Наполеоном и командовал баварцами против австрийцев. За сие в 1809 году от Наполеона он получил титул «conte de l`Empire» (граф Империи). Известно, что Наполеон был весьма щедр на раздачу всяческих высоких титулов тем, кто ему служил. Именно в это время со своим приятелем генералом Бернадотом Вреде ездил в Швецию. Но когда Наполеону пришлось туго, то Вреде попросту «вывернул жилетку», повернув баварские штыки против Наполеона. Поэтически это называется – «и продали шпагу свою».

Не знаю, остался ли Вреде в Швеции у Бернадота, ставшего ни много ни мало «королем». Знаю только, что сын Вреде, Иосиф Иосифович, переехал из Швеции в Россию, принял русское подданство, дослужился до гвардии полковника, благодаря браку с Анастасией Петрово-Соловово стал несметно богат, но все же скончался в 1871 году.

По окончании университета мой дед Карл Иосифович уехал из Москвы в свою родную Тамбовскую губернию, чтобы стать там земским врачом. Вероятно, хорошо зная о его

происхождении, к нему тепло относились тамошние большие помещики – Петрово-Соловово и Ланские. Петрово-Соловово даже предложили деду жить в их усадьбе. Там дед и поселился в отдельном доме. Вскоре, будучи уже земским врачом Кирсановского уезда, дед познакомился с тамошними помещиками Аршеневскими и влюбился наповал в их дочь Екатерину Ивановну, Любовь оказалась взаимной, и дед сделал предложение. Однако ее родители этого брака не захотели. Но дед был человек решительный. В один прекрасный день он умыкал Катю, и в какой-то захолустной деревеньке простенький батюшка, за хорошую мзду, их обвенчал. Перед церковным браком родители склонились, и дед с Екатериной Ивановной зажили в особняке усадьбы Петрово-Соловово.

Прожили они свою жизнь счастливо. Екатерина Ивановна родила ему девять детей. Двое умерли в младенчестве, а семь остались в живых. Прекрасная фотография Екатерины Ивановны была в нашем имении в моей комнате. Я собирал семейные портреты, и все они висели у меня на стенах, пока не погибли в революцию, когда дом и всю усадьбу – по завету Ильича «грабь награбленное!» – дотла сожгли крестьяне. Зачем? Есть, говорят, некая страсть «к огню», к уничтожению. Если бы восстановить все десятки тысяч усадеб, сожженных в революцию, вырос бы большой и хороший город. Но та же революция жестоко отмстила крестьянам, превратив их в крепостных роботов компартии.

Екатерина Ивановна, по рассказам, была барыней старинного стиля: французский язык, французские романы, утреннее кофе подавалось в постель. Аршеневские, по рассказам, были склонны к чванству, считая в своем роду и Соломонию Сабурову, несчастную жену вел. кн. Василия III, и Кудеяра, и другие исторические фигуры. Но как многие помещики, и

они пропустили свое имение в Тамбовской губернии, разорились.

Расскажу историю, которая еще в детстве мне нравилась. Один из Аршеневских, кажется дядя Екатерины Ивановны, был человек крепко запьянцовский и разорился настолько, что из помещика превратился в... извозчика в Тамбове. Естественно, что жена не захотела быть «женой извозчика» и разошлась с ним. Она поступила преподавательницей в местную женскую гимназию, и вот родовитый извозчик, будучи всегда в подпитии, но не теряя остроумия, ежедневно подъезжал на своей кляче к женской гимназии, когда классы кончались и гимназистки и учительницы шли домой. Тут он ждал ушедшую от него жену и, когда она выходила, ехал по мостовой параллельно ее пути по тротуару, крича: «Маша! Маша! Ну чего ж ты пешком плетешься! Садись, подвезу!». Это, разумеется, шокировало и бывшую жену, и всех, кто с ней шли, не понимавших, кто же такой этот ванька и почему он так грубо пристает к учительнице Аршеневской.

В крови Аршеневских, по-моему, было что-то от татар, и шесть Гулей (мои дядья и тетки) делились на блондинистых (Гулей) и чернявых, с татарщинкой в глазах (Аршеневских)[1]. К сожалению, ни деда по отцу, ни бабушку Аршеневскую я никогда не видал. Дед умер пятидесяти семи лет от роду от разрыва сердца, до моего рождения. А Екатерина Ивановна жила под старость в Тифлисе у старшего сына (моего дяди Анатолия), который был полковник артиллерии и служил в штабе наместника на Кавказе. Там она и скончалась.

Ну вот, откуда, стало быть, есть пошли Гули. То есть фамилия – Гуль. От скромной красивой женщины шведского

---

[1] Как рассказала мне сотрудница «Нового журнала» Елизавета Григорьевна Фоксрофт (рожд. Кандыба), Аршеневские были в близком родстве с Кандыба и в роду их была даже некая «пленная турчанка». Е. Г. – профессор русского языка в университете в Претории (Южная Африка).

происхождения Каролины Гуль, фамилия которой покрыла фамилии Вышеславцевых, Ефремовых, Аршеневских, Вреде.

До эмиграции

Думаю, что читателю нужно знать, *кто* пишет эту книгу. Кем был этот человек в России, что делал, что думал, чем жил? В некоторых своих книгах («Конь рыжий», «Ледяной поход») я кое-что о себе рассказал. Здесь же я дам только крайне сжатый, почти «конспективный» очерк своей жизни в России – до эмиграции. Я не хочу писать, как Шатобриан, три толстенных тома обо всем пережитом. Я выбрал одну тему – Россия в эмиграции.

Отец Сергий Булгаков в своих «Автобиографических заметках» хорошо говорит, что такое родина: «Родина есть священная тайна каждого человека, так же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследимыми связями, которыми соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему человеческому древу, он связан через родину и с матерью-землей и со всем Божьим творением <...> Моя родина, носящая священное для меня имя – *Ливны*, небольшой город Орловской губернии, – кажется, я умер бы от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его <...> Там я не только родился, но и зародился в зерне, в самом своем существе, так что дальнейшая моя, такая ломаная и сложная жизнь, есть только ряд побегов на этом корне. Все, все мое – *оттуда* <...> Рассказать о родине так же трудно, как и рассказать о матери...».

Мой родной город не Ливны, а – Пенза. Он – моя родина. «Кто видел Лондон и Париж / Венецию и Рим / Того ты блеском не прельстишь / Но был ты мной любим». Разумеется, губернская Пенза была много краше уездных Ливн. Но, конечно, Булгаков прав. Мила та сторона, где пупок резан. И я

тоже умер бы от «изнеможения блаженства», если б увидел свою Пензу. Но ее увидеть уже нельзя. За годы революции *моя Пенза* исчезла. Я получил как-то альбом фотографий *советской* Пензы. Как же изуродовала и обезобразила Пензу власть этой «интернационалистической» партии. Беспортошная, страшная, без роду, без племени нелюдь, силой захватившая власть в России, в Пензе взорвала православные храмы. А их было множество, около тридцати, и они-то давали Пензе лицо. На Соборной площади стоял величественный, высоченный собор, белоснежный, с золотым куполом и высоким сияющим крестом. Собор взорвали, сровняв с землей. А он оглавлял всю Пензу. Возвышался на обнесенной зеленью площади, стоя на вершине холма: вся Пенза раскинулась на большом холме. Уничтожены и два монастыря (мужской и женский).

Вместо же старины, прекрасности и благолепия «партия» построила какие-то, а ля «пензенский Корбюзье», безобразные «конструктивные» казармы-дома-коробки для роботов. Прелесть города, его стиль убили. Но они этого и не чувствуют.

Отец мой был нотариус города Пензы (их было три – отец, Грушецкий и Покровский); был домовладелец (на главной Московской улице стоял наш двухэтажный каменный вместительный дом); был и помещик Инсарского и Саранского уездов: имение в четыреста пятьдесят четыре десятины пахоты, леса и лугов раскидывалось в этих уездах. Но не думайте, читатель, что этот достаток отца свалился ему с небес, за прекрасные глаза, по какому-нибудь «наследству». Всего этого отец добился своим упорным трудом.

Но чтобы рассказать об этом, я должен еще раз коснуться характера моего деда (по отцу). Дед был человек властный в отношении всей семьи, а иногда и самодур. Если деду за обедом что-нибудь не нравилось, он в бешенстве вскакивал и, схватив скатерть за угол, сбрасывал все стоящее на столе на

пол. От детей требовал – беспрекословного послушания. И когда старший сын Анатолий, кончив гимназию, захотел поступить в военное училище, дед наложил вето, отправив его в Московский университет на юридический факультет. Не чувствуя никакейшего призвания к юриспруденции, Анатолий зря проболтался год на юридическом и все-таки поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил, став офицером.

Отец мой – наоборот – хотел именно на юридический, но дед сказал: «Нет! пойдешь в Московское Императорское техническое!» Мой отец не ослушался, хотя призвания к инженерии не ощущал. И через год из Москвы написал отцу, что все-таки хочет перейти на юридический. Дед ответил, что может переходить куда угодно, но никакой денежной поддержки тогда от него не получит. Мой отец был с характером. И все-таки перешел. Лишившись всякой поддержки, отец бедствовал, перебивался уроками, не брезговал никакой работой, но все же занимался любимой наукой – правом. А потом, выдержав экзамен на нотариуса, получил назначение в уездный город Керенск Пензенской губернии, где встретился с моей матерью. Они полюбили друг друга (более счастливого брака я не видел в жизни). А уж из Керенска отец перешел нотариусом в Пензу, причем на требуемый «реверс» денег не было: помогли – мой дед Вышеславцев и друг отца и мамы – Петр Алексеевич Дураков (отец русского эмигрантского поэта Алексея Дуракова, убитого в бою с немцами во Вторую мировую войну в Югославии; мой друг детства Лёша пошел добровольцем к югославским партизанам).

В Пензе у отца дела пошли хорошо. Отсюда постепенно начались и достатки: имение, о котором я упоминал; дом с нашей квартирой в девять больших высоченных и этим приятных комнат (таких теперь уж нигде не строят). В отцовской нотариальной конторе человек десять-двенадцать писцов (ах,

как они каллиграфически писали!); в доме прислуги семь человек; во дворе конюшня на четыре стойла: для двух верховых (моей и брата), рысака и рабочей лошади; коровник для молочной голландки; курятник с множеством кур (рыжих кохинхинов и пестро-серых плимутроков); большой сеновал, где я устроил свою голубятню. Состоятельные пензяки в те времена жили как помещики.

В декабре 1913 года от сердечного припадка сорока шести лет внезапно умер отец. Жизнь семьи резко оборвалась. О смерти отца я говорю в «Коне рыжем». Смерть отца была отмечена в самой распространенной тогда в России ежедневной газете, в московском «Русском слове», как смерть видного общественного деятеля Пензы. Отец был гласный городской думы, председатель родительского комитета нашей гимназии, председатель Пушкинского общежития для детей сельских учителей, член правления «Общества взаимного кредита», основатель первого в Пензе кооператива – «Потребительская лавка», член правления драматического кружка, создавшего Летний театр (прекрасный, всегда с столичными гастролерами). Был отец даже членом Бегового общества (это была уже моя страсть, и я всегда увязывался с отцом на бега на Пензенский ипподром). По душе отец был широкий и отзывчивый. Вечно у него были какие-то стипендианты из неимущих студентов, которых кто-то рекомендовал и которых он иногда даже не видел. Кое-кто из неимущих учащихся у нас просто жили.

Политически отец был кадет, то есть член конституционно-демократической партии, и в 1905 году издавал в Пензе вместе со своим другом Николаем Федоровичем Езерским[2] ежедневную газету «Перестрой». Н. Ф. Езерский был член

---

[2] Его отец Ф. В. Езерский – создатель «тройной русской системы» счетоводства, основал в Москве первые в России «Бухгалтерские курсы».

I Государственной Думы и даже «выборжец». Но когда мы встретились с ним в эмиграции, в Берлине, он был в черной рясе с крестом на груди. Н. Ф. стал православным священником, настоятелем русской церкви на Находштрассе в Берлине. Потом его перевели в Будапешт, где он и скончался до Второй мировой войны.

Я родился в 1896 году. Мой брат Сережа – за полтора года до меня. Его выкормила грудью мать, но когда в мире появился я, мать кормить грудью была не в состоянии, и мне наняли кормилицу – Марию Пронину, крестьянку села Бессоновка, недалеко от Пензы. Село это славилось луком, и бессоновцы носили прозвище «лучников», так же как все пензяки – «толстопятых». Марья-лучница меня и выкормила, и я, вроде Владислава Ходасевича, могу сказать: «Не матерью – бессоновской крестьянкой Марией Прониной я выкормлен...» В семье у нас была фотография – Марья в полном уборе кормилицы, в кокошнике, в сарафане с высоко перетянутыми грудями, держит младенца в распашонке (меня). Свою «кормилку» я хорошо помню, ибо когда мне было уже лет десять-двенадцать, она часто приезжала из села к нам посмотреть на «своего Рому». Смотрела. А я, мальчишка, стеснялся. Мне было странно себе представить, что вот эта статная, приятная баба выкормила меня своею грудью.

После учения дома я поступил в пензенскую Первую мужскую гимназию. В этой старинной гимназии, окруженной обширным старым парком, в свое время учились разные достопримечательности: террорист Дмитрий Каракозов, повешенный за покушение на Александра II; неистовый Виссарион Белинский; и, наконец, расстрелянный маршал Михаил Тухачевский. Он был на два класса старше меня. Я знал и его, и его старшего брата Александра, и сестру красавицу Надю. Об этом я говорю в своей книге «Тухачевский».

Весной 1914 года я окончил гимназию и поступил в Московский университет на юридический факультет. В университете я на «весьма» сдавал все экзамены. Но юриспруденция как таковая меня не увлекала. Я чувствовал, что я совершенно не «юрист». Я занимался главным образом в семинарах профессора (тогда приват-доцента) И. А. Ильина, будущего эмигранта, опубликовавшего за рубежом много книг; после Второй мировой войны скончавшегося в Швейцарии. Я слушал у него курс «Введение в философию» и второй – по «Общей методологии юридических наук». Высокий, очень худой, красивый, но мефистофельский (хотя и блондин), И. А. был блестящим лектором и блестящим ученым. Его я тогда в Москве попросил указать мне книги для систематического занятия философией, ибо сам я сидел на скучнейших, толстенных томах «Истории новой философии» Куно Фишера. Хорошо помню, какой список первых книг дал мне И. А.: Апология Сократа, «Диалоги» Платона («Парменид»)», «Метафизика в Древней Греции» кн. С. Н. Трубецкого, «Пролегомены ко всякой будущей метафизике» И. Канта, какую-то книгу Гуссерля и какую-то работу З. Фрейда. Слушал я и лекции по «Философии права» профессора Б. П. Вышеславцева, тоже будущего эмигранта и автора многих книг, вышедших за рубежом, скончавшегося после Второй мировой войны в Женеве. Слушал и «Государственное право» у профессора Н. Н. Алексеева, тоже будущего эмигранта, умершего после Второй мировой войны в Швейцарии. Слушал и профессора Байкова – «Энциклопедию права». Банков тоже оказался эмигрантом, не знаю, где за границей он умер.

На семинарах И. А. Ильина в прениях иногда выступали оставленные при университете для подготовки к профессорской кафедре Н. Устрялов и Ю. Ключников (оба будущие эмигранты, в 20-х годах идеологи сменовеховства). Блестящего публициста и ученого Н. Устрялова чекисты удушили

шнуром (под видом «грабителей») в Сибирском экспрессе, когда по «милому» восточному приглашению Сталина Устрялов с Дальнего Востока ехал по Советской России. Ю. Ключников, в 20-х годах, вернувшись из эмиграции в РСФСР, умер при «невыясненных обстоятельствах». Кажется, шнуром его все-таки не удушили.

В 1916 я перешел на третий курс, но летом студентов моего года рождения призвали в армию: в офицерские школы. И в августе 1916 года я приехал в Москву уже не в университет, а в Московскую третью школу прапорщиков. Эти три школы были открыты для мобилизованных студентов в казармах у Дорогомиловской заставы, на окраине Москвы. Срок обучения краткий – четыре месяца. Так что в ноябре 1916 года я, успешно окончив школу, получил офицерский чин – прапорщика. И так как кончил я портупей-юнкером, то мог выбирать «вакансии» в хорошие полки: предлагался, например, Московский гренадерский. Но я стремился толь-, ко в свою Пензу, где мать осталась одна, поэтому и уехал туда в 140-й пехотный запасный полк. Это – самая что ни на есть последняя инфантерия, самая последняя пехтура.

В Пензе в 1917 году меня застала революция. Об этом я рассказал в «Коне рыжем». Весной 1917 года с маршевым батальоном я отправился на юго-западный фронт, где началось известное бесславное «наступление Керенского». В моем послужном списке романтически стояло; «Участвовал в боях и походах против Австро-Венгрии». Верно. Где только теперь эта Австро-Венгрия?

На фронте сначала я командовал второй ротой 457-го Кинбурнского полка 117-й дивизии. Потом был полевым адъютантом командира полка – бравого полковника Василия Лавровича Симановского. В. Л. был кадровый боевой офицер, по крови чистый украинец, с «белым крестиком» – в петлице – за храбрость. Большевизм (да и Керенского!) он ненави-

дел совершенно люто. Был я и товарищем председателя полкового комитета (от офицеров), где вместе с председателем (моим другом, латышом прапорщиком Даниилом Дукатом, тоже студентом) мы пытались хоть как-то остановить обольшевиченье полка. Оставался я на фронте до полного его развала, пока Василий Лаврович мне не сказал: «Ну, Рома, езжайте-ка домой в вашу Пензу!». И я уехал в Пензу в солдатской теплушке, переполненной озверелыми и одичавшими за войну, да еще пьяными, дезертирами. Об этом я говорю в «Коне рыжем».

В конце 1917 года В. Л. Симановский (он был близок к генералу Л. Г. Корнилову) прислал ко мне в Пензу нарочного, зовя бросить все и пробираться на Дон к Корнилову. «Пойдем на Москву... наш полк будет охранять Учредительное собрание!». Увы, ничего этого не случилось: ни Москвы, ни полка, ни Учредительного собрания.

В эти декабрьские дни 1917 года Россия была в разгаре своего «окаянства». Из народных недр вырвалась ранее невидимая и незнаемая страсть всеразрушения, всеистребления и дикой ненависти к закону, порядку, праву, покою, обычаю. Точно по «Бесам» – «Все поехало с основ». «Надо все перевоțотить и поставить вверх дном», «надо развязать самые низкие, самые дурные страсти, чтоб ничто не сдерживало народ в его ненависти и жажде истребления и разрушения». Все эти дикие бакунинские[3] бредни воплотились теперь в каждом дне русской жизни. Это был именно тот всенародный бунт, о котором Пушкин писал; «бессмысленный и беспощадный». Мы в нем, в этом омерзительном бунте – жили. «Грабь награбленное!», и в Пензе бессмысленно грабят все магазины на Московской улице. «Жги помещичьи усадьбы!», «убивай буржуев!», И жгут. И убивают всех, кто «подлежит уничто-

---

[3] *Роман Гуль.* Бакунин. Историческая хроника. Нью-Йорк: 1974.

жению». Ведь нет уже ни судов, ни судей, ни тюрем, ни полиции. «Все поехало с основ», как хотели того Шигалев и Верховенский.

Все это было провидчески предсказано еще в 1830 году в гениальном стихотворении М. Ю. Лермонтова

Предсказание

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь;
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек...
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож.
И горе для тебя! Твой плачь, твой стон
Ему тогда покажется смешон...

Что в России «все поедет с основ», еще раньше Лермонтова предсказал глубокий и проницательный француз, замечательный Жозеф де Местр. В 1811 году он писал о России; «Если какой-нибудь Пугачев, вышедший из университета, станет во главе партии; если народ окажется поколебленным и вместо азиатских походов примется за революцию на европейский лад, то я прямо не нахожу выражения для того, чтобы высказать свои опасения <...> Войны, ужасные войны! <...> И я вижу Неву, обильно пенящуюся кровью».

А через полвека (в 1863 году) другой известный француз, историк Жюль Мишле писал о будущем России не менее пессимистически; «Россия в самой своей природе, в подлинной сути своей есть – сама ложь». И далее Мишле пишет с отвращением (но, надо признать, провиденциально!): «Одно слово объясняет все, и в нем содержится вся Россия. Русская жизнь – это коммунизм». Беспокоились на эту тему и русские писатели (Достоевский, Лесков и др.). Даже И. Тургенев писал: «Да, наш народ спит <...> Но мне сдается, если что его разбудит – это будет не то, что мы думаем» (И. Тургенев. «Новь», 1876).

В Пензе на вокзальной площади какого-то проезжавшего через Пензу капитана самосудом убили за то, что он не снял еще погоны. И разнаготив убитого, с гиком и хохотом волокут большое белое тело по снегу Московской улицы – то вверх, то вниз. А какой-то пьяный остервенелый солдат орет: «Теперь наша власть! Народная!» Нотариуса Грушецкого сожгли в его имении живым, не позволили выбежать из горящего дома. Помещика Керенского уезда Скрипкина убили в его усадьбе и затолкали его голый труп «для потехи» в бочку с кислой капустой. И все это с хохотом – «теперь наша власть! Народная!».

В ненависти и страсти истребления убивали не только людей, но и животных (не «народных», не «пролетарских»). В знакомом имении на конском заводе железными ломами перебили хребты рысакам, потому что – «господские», У нас при разгроме имения какой-то «революционный мужичок» при дележе добра получил нашу рысистую кобылу Волгу и, впрягши ее в соху, стал злобно нахлестывать: пусть сдохнет, барская... «Рысаки господам нужны. А господов нонче нет». В другом имении жеребцу-производителю вырезали язык, а

Иван Бунин в «Окаянных днях»[4] рассказал, как в имении близ Ельца мужики и бабы («революционный народ») ощипали все перья у павлинов и пустили окровавленных птиц «голыми». Зачем? Да затем, что –«*теперь* павлины же не нужны, *теперь* же все трудовое, а не барское». Митинговые большевицкие пропагаторы до хрипоты орут именно это – «*теперь*». И это действовало мистически. «*Теперь* все по-другому», «*теперь* власть народная, *теперь* всем свобода!», «*теперь* нет тюрем!», «*теперь* нет полицейских, стражников, урядников», «*теперь* все наше, народное!». И я видел воочию, как в это *теперь* народ сдуру, сослепу верит.

Для того, что понять, что такое русский *народный большевизм,* надо читать «Историю Пугачевского бунта» А. С. Пушкина. Он дает *его душу.* Например: «Пугачев <...> на Волге встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить *поближе к звездам...*» Вот именно этот народный большевизм и бушевал в 1917–1918 годах до тех пор, пока его не оседлал Ленин с своей «интернациональной» бандой. Тогда начался иной большевизм – «интернациональный», с большим количеством инородцев «на верхах»: латышей, евреев, поляков, грузин, армян, далее венгров.

Расскажу еще об одном диком и бессмысленном убийстве. В соседнем с нами именьи при селе Евлашеве убили старуху-помещицу Марию Владимировну Лукину. Боясь за нее, друзья уговаривали бросить деревню, переехать в город. Но упрямая старуха на все отвечала: «В Евлашеве родилась, в Евлашеве и умру». И действительно умерла в Евлашеве.

Ее убийство было проведено по всем правилам «революционной демократии». Евлашевские мужики обсуждали это

---

[4] *Иван Бунин*. Окаянные дни. Вступ. статья и примечания С. П. Крыжицкого. Лондон. Канада: Заря, 1973. – 202 с.

мокрое дело на сходе. Выступать мог свободно каждый. На убийство мутил фронтовик-дезертир, хулиган-большевик Будкин. Но были крестьяне и против убийства. И когда большинство, подогретое Будкиным, проголосовало убить старуху, несогласные потребовали от общества приговор, что они в этом деле не участники. Сход вынес «резолюцию»: старуху убить, а несогласным выдать приговор.

И сразу же со схода, с кольями в руках, толпа повалила на усадьбу Лукиной: убивать старуху, а заодно и ее дочь, которую все село знало с детства и полу ласково-полунасмешливо называло «цыпочкой», М. В. Лукину кто-то из крестьян предупредил: идут убивать. Но старуха не успела добежать даже до сарая. «Революционный народ» кольями убил ее на дворе. С «цыпочкой» же произошло чудо. Окровавленная, она очнулась на рассвете у каретника, когда ей облизывал лицо их ирландский сеттер. В сопровождении сеттера она и доползла до недалекого хутора Сбитневых, а они отвезли ее в Саранскую больницу.

Подчеркиваю, что вовсе не все крестьянство *поголовно* было охвачено окаянством убийств, грабежей, поджогов. Было и несогласное меньшинство, но его захлестывал большевицкий охлос дезертиров, хлынувший в деревню с фронта.

Помню, к нам пришла «цыпочка» Наталья Владимировна Лукина. Голова забинтована, с трудом поворачивает шею. Рассказывая об убийстве матери, плакала и чему-то жалобно-страдальчески улыбалась. И как это ни странно, ни противоестественно, к убийцам ее матери и недобившим ее мужикам она злобы не чувствовала.

– Ну звери, просто звери... А вот когда узнали, что я не убита, что я в больнице, ко мне из Евлашева стали приходить бабы, жалели меня, плакали, приносили яйца, творог...

– Да это же они испугались, что отвечать придется!

– Нет, что вы, перед кем же им теперь отвечать? Власти же нет. Нет, это правда, они жалели меня... – И «цыпочка» плачет, поникая забинтованной головой. В ее душевном со стоянии, я думаю, было что-то и христианское, но и какая-то неприятная мне покорность захватившему все злу.

Хочу подчеркнуть один факт русской революции, о котором никто никогда не писал: как приняли русские богатые и состоятельные люди (по-марксистски – «имущие классы», «буржуазия», «эксплуататоры», «капиталисты») потерю своего имущества. В большевицкой литературе рассказывается и о «сопротивлении буржуазии», и о «заговорах буржуазии», и о том, как «доблестные большевики» сломили наконец злостную буржуазию. Все это чистое вранье. Русская, если хотите, «буржуазия» теряла свое имущество в одиночку (не пытаясь «организоваться»), безропотно, без сопротивления. Правда, в февральскую революцию существовал какой-то «Союз землевладельцев», но больше на бумаге. Вся его деятельность была в том, что подавались революционному министру земледелия «докладные записки» о бесчинствах, разгромах, поджогах. Причем министр в своей революционной занятости, наверное, и не отвечал на эти сообщения, не до того было. К октябрю же «Союз» растаял.

Русские вообще легко теряют материальные ценности. Я думаю, много легче, чем люди Запада. Помню, как председатель Пензенской земской управы, молодой образованный помещик Ермолов (родственник знаменитого генерала Ермолова) на большом митинге, когда большевики и меньшевики стали с мест перебивать его речь демагогическими криками: «Ну, а как же с вашей землей?!», – ответил презрительно: «С моей землей? Знайте, господа, что не унижусь участвовать в общей давке, подбирая падающие яблоки. Была земля, теперь не будет – только и всего».

И те же злорадные выкрики были на одном из петроградских митингов, когда выступал председатель Государственной Думы М. В. Родзянко. «А вы нам лучше скажите, как вот с вашей землицей-то?!» – «Как Учредительное собрание решит, так и будет», – ответил Родзянко. Как все здравомыслящие люди, он прекрасно понимал, что в России все помещичьи, казенные и удельные земли перейдут к крестьянству. И никакого «сопротивления» у имущих это не вызывало.

Помню, в Пензе в эти окаянные дни я встретил Ольгу Львовну Азаревич (по первому мужу кн. Друцкую-Сокольнинскую, урожденную кн. Голицыну). Она потеряла все, случайно не осталось даже денег в банке. А терять было что: имение Муратовка в три тысячи десятин, винокуренный завод, овцеводство, множество лошадей, коров, всякого добра в доме. Все расхищено, разграблено. Лишь кое-какие ценные картины успела передать в музей Пензенского художественного училища, чтобы не погибли. Но в отчаяние от всего этого О. Л. не пришла. «Ну что ж, – сказала она, – Бог дал, Бог и взял». Я не думаю, чтобы Господь Бог мог когда-нибудь заниматься раздачей латифундий и уж особенно отобранием их руками остервенелых, одичалых, пьяных солдат. Но такая несвязанность благами земли, по-моему, прекрасна. И это очень русское чувство, я наблюдал его у многих имущих. Русские нетвердо прикреплены к земле. «Я знаю, я знаю, / Что прелесть земная, / Что эта резная прелестная чаша / Не более наша, / Чем воздух, чем звезды...», – писала Марина Цветаева.

В эмиграции, в Ницце, Ольга Львовна держала крохотную столовую для русских же эмигрантов. День-деньской работала, ходила на базар, готовила обеды, ужины для столовой. В Ницце и скончалась в преклонном возрасте. У Марины Цветаевой есть чудесные строки, посвященные А. А. Стаховичу:

Хоть сто мозолей – трех веков не скроешь!
Рук не исправишь – топором рубя!
О, откровеннейшее из сокровищ
Порода! – узнаю тебя!

Как ни коптись над ржавой сковородкой
Все вкруг тебя твоих Версалей тишь.
Нет, самою косой косовороткой
Ты шеи не укоротишь...

Никогда от Ольги Львовны никто не слыхал какой-то жалобы, каких-то ламентаций о былом «сребре и злате», хотя его было избыточно. Но в ее жизни, как и у многих других, было и нечто иное, что всегда много дороже «злата» и «сребра».

Подпольщики-большевики, в октябрьские дни захватившие власть над Россией, в большинстве своем носили псевдонимы: Ульянов-Ленин, Бронштейн-Троцкий, Джугашвили-Сталин, Радомысльский-Зиновьев, Скрябин-Молотов, Судрабс-Лацис, Баллах-Литвинов, Оболенский-Осинский, Гольдштейн-Володарский и т.д. По-моему, в этом есть что-то не случайное и страшное. Тут дело не только в конспирации при «царизме». Псевдонимы прикрывали *полулюдей*. Все эти заговорщики-захватчики были *природно* лишены естественных, полных человеческих чувств. О полноте чувства жизни хорошо у Пастернака говорит Живаго: «Человек рождается *жить*, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны...». Жизни псевдонимов были вовсе не жизнью людей. Их жизнью была исключительно – *партия*. В партии интриги, склока, борьба, но главное – власть, власть, власть, власть над людьми. Кто прочтет книги бывшего большевика Н. Валентинова[5] «Встре-

---

[5] *Н. Валентинов*. Встречи с Лениным. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. 356 с. *Н. Валентинов*. Малознакомый Ленин. Париж: Пять континентов, 1972. 195 с.

чи с Лениным» и «Малознакомый Ленин» или книгу дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Только один год»[6], увидит разительное сходство октябрьских «псевдонимов» с «Бесами». Для меня эти «псевдонимы», эти вульгарные материалисты были получудовищами.

Хорошо сказал о деле псевдонимов – о так называемом «коммунизме» – А. И. Солженицын в речи в Америке: «Дело в том, что суть коммунизма – совершенно за пределами человеческого понимания». И еще лучше пояснил это И. Шафаревич: «Социализмом движет инстинкт смерти»[7]. Но вся эта правда была сказана двумя замечательными людьми через шестьдесят лет после начала дела псевдонимов. В декабрьские же дни 1917 года эта «смерть» неосознанно ощущалась мной в странной и страшной тревоге – псевдонимы несли и физическую смерть множеству людей, и духовную смерть исторической России. «А на Россию, господа хорошие, нам наплевать!», – сказал псевдоним № 1 Ленин, и всем подручным ему псевдонимам на Россию было действительно «наплевать». Многие из них к России кроме ненависти ничего и не питали.

Российская мужицкая вольница, разлившаяся по стране после Октября, в сути своей была не только псевдонимам чужда, но и смертельно опасна. Псевдонимы это прекрасно понимали, они боялись мужика. Это был их «потенциальный враг». И это вполне по Марксу, *ненавидевшему всякую деревню.* Много чернил извели Маркс и Энгельс на писания об «исконном идиотизме деревни». Русская мужицкая вольница 1917 года была, конечно, стихией врага Маркса – Бакунина. Петр Струве говорил, что большевизм – это смесь западных

---

[6] *Светлана Аллилуева.* Только один год. Нью-Йорк: Харпер и Роу, 1969. 381 с.

[7] *И. Шафаревич.* Социализм как явление мировой истории. Париж: ИМКА-пресс, 1977.

ядов с истинно русской сивухой. Да. Псевдонимы были западным ядом, а бакунинское мужицкое буйство – истинно русской сивухой. Захватившие власть псевдонимы, демагогически подогревая мужицкое погромное буйство, ненависть к имущим, ненависть к государственности, ненависть к церкви, ненависть к прошлому, – потихоньку плели и для мужика бесовскую марксистскую удавку, свою мертвую петлю.

Предвестник Ленина Петр Никитич Ткачев (под конец своей короткой жизни – сумасшедший) в свое время писал: «Захват власти – это только прелюдия революции<...> Насильственным переворотом не оканчивается дело революционера. Захватив власть, они должны уметь удержать ее и воспользоваться ею для осуществления своих идеалов»[8]. Того же мнения был и Маркс. И Ленин при помощи своих псевдонимов террором, тюрьмами и концлагерями, которые он создал на пятнадцать лет раньше Гитлера, осуществил «свои идеалы». Мужика сначала укрощали комбедами, заградотрядами, продотрядами. И наконец Сталин в «раскулачивании» просто убил пятнадцать «миллиончиков» крестьян, как пи-

---

[8] Самая «гениальная идея» П. Ткачева была, конечно, в предложении для наиболее скорого наступления революции убить всех без исключения жителей Российской Империи старше 25 лет. Об этом в своих воспоминаниях рассказала его сестра А. Анненкова, известная детская писательница своего времени, упомянув, что от этой идеи Ткачев впоследствии отказался. Немудрено, что 44 лет от роду Ткачев умер в доме умалишенных. Известно, что Ленин необычайно высоко ценил Ткачева-революционера и предлагал «всем его изучать».

О психике Ленина интересные сведения приводит Н. Валентинов в книге «Встречи с Лениным». Он рассказывает, что близкий к Ленину в течение лет, известный большевик и писатель А. А. Богданов, по профессии врач-психиатр, в 1927 году говорил Валентинову; «Наблюдая в течение лет некоторые реакции Ленина, я, как врач, пришел к убеждению, что у Ленина бывают иногда психические реакции с явными признаками ненормальности».

шет А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»[9]. Пятнадцать миллионов жизней (мужчин, женщин, детей) – это примерно пять Норвегии (если поголовно вырезать!), или три Швейцарии, или пять Израилей. И что же? Чем ответил на это массовое убийство культурный Запад? В левых и социалистических органах статьями о том, что коллективизация может быть «интересным социальным и экономическим экспериментом»! Пятнадцать миллионов убитых вызвали – «научный интерес». Когда люди это писали, они не понимали, что подписывают себе самим смертный приговор.

Тогда, в декабрьские дни 1917 года, во мне жили два чувства: дневное и ночное. Дневное говорило: единственный путь – ехать на Дон и оттуда силой, железом подавлять всеобщий развал и бунт, дабы ввести страну в берега законности, правопорядка и отстоять идею Учредительного собрания. Но ночью меня охватывала жутко-пронизывающее чувство. Казалось, что Россия летит в пропасть и дна у этой пропасти нет и никогда не будет, что страна гибнет навсегда, навеки, Признаюсь, и теперь, через шестьдесят лет, ко мне то и дело возвращается это ночное чувство. Кажется, что стремительный лёт России в бездонную пропасть не кончился и через шестьдесят лет, что Россия все еще куда-то летит и летит, не достигая дна. А до дна дойдет только во всеобщем космическом атомном катаклизме, когда и она и другие страны превратятся в отравленные полупустыни с миллионами трупов. Вот тогда ленинская «авантюра во всемирном масштабе» закончится. Дно будет наконец-то достигнуто.

Итак, в сочельник 1917 года я и брат (скончавшийся в 1945 году во Франции) решили ехать к Корнилову на Дон на вооруженную борьбу с большевизмом. Нас было шестеро «тол-

[9] *А. Солженицын.* Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Париж: ИМКА-Пресс, 1974.

стопятых» пензяков: Борис Иванов (нынче в Америке, в Детройте), Н. Покровский (отбыл советский концлагерь, умер в Болгарии), Эраст Ващенко (убит в «ледяном походе», на Кубани) и Дм. Ягодин (мой однополчанин и друг, прапорщик из бывших семинаристов).

До Новочеркасска добрались с подложными документами. Через день-два пошли записываться в бюро Добровольческой армии. Представились заведующему – гвардии полковнику Хованскому. Вылощенный, пшютоватый петербуржец, «аристократически» растягивая слова, сказал нам: «Поступая в *нашу* (это он подчеркнул) армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь рабоче-крестьянская армия, а офицерская!». Прием Хованским меня поразил. «Неужели, – думал я, – он не хочет, чтобы это была *народная* армия, а хочет только офицерскую?» На Дмитрия Ягодина прием произвел такое впечатление, что на другой же день он решил ехать назад в Пензу. Он долго уговаривал и меня. «Разве ты не видишь, – говорил он, – что такая «офицерская» армия победить никогда не сможет?». В глубине души я чувствовал, что Дмитрий прав. Но психологически я для себя «отрезал все концы». И я остался. Не одни же Хованские в армии, думал я – мы приехали к казаку Корнилову.

От Ягодина в эмиграции в двадцатых годах в Берлине я получил с оказией письмо из Пензы. Он писал: «Я заделался нэпманом», он хорошо жил, женился на Софии Карповой (Карповы до революции – богатые пензенские купцы). Больше писем я не получал. А позже узнал, что Ягодин при ликвидации нэпа попал в концлагерь, где и погиб. А когда в 1960-х годах его двоюродный брат Быстров, ставший американцем, ездил из Сан-Франциско в СССР и побывал в Пензе, то, вернувшись, мне писал: «Пензу нашу ты бы не узнал. Ее просто нет. Кого мы знали, никого нет. Одни могилы, могилы и могилы».

В «ледяном походе» я участвовал как рядовой боец Корниловского офицерского ударного полка. На Кубани под станицей Кореновской в атаке на красный бронепоезд (мы шли на него с одними винтовками) был ранен в левое бедро пулеметной пулей с этого бронепоезда. Попади красная пуля на полвершка правее – перебила бы кость, и меня бы оставили умирать на чужом, темневшем вечернем поле: таких раненых не подбирали. Тыла у нас не было. Лазаретов не было. И меня, наверное, добили бы красные. Но пуля, к счастью, не перебила кости, и меня взяли в обоз с ранеными. В обозе раненых я и доделал «ледяной поход». Брат Сережа был ранен тоже сравнительно удачно; под Усть-Лабинской пуля раздробила ему ступню. И он тоже попал в обоз-лазарет.

Когда мы вернулись из похода в отбитый казаками у большевиков Новочеркасск, нас вскоре здесь в лазарете разыскала мать. Все бросив в Пензе, с большим риском для жизни она пробралась из Пензы до Волги, потом по Волге и по Северному Кавказу на Дон, искать нас. И нашла.

Как добровольно я вступил в Добрармию, так же добровольно и ушел. Я не мог оставаться – и политически и душевно. Политически потому, что всем существом чувствовал: – *такая «офицерская»* армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, что «псевдонимы» сильнее (они слабее), а потому, что народ *не с ней.* К белым народ не хотел идти: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с ней страшный разрыв между интеллигенцией и народом («пропасть между культурой и природой», по слову А. Блока). Если бы вместо генерала Антона Деникина во главе армии стал бы тамбовский сельский учитель Антонов с мужицким лозунгом «земля и воля», тогда бы дело было иное. Но в 1918 году до взрыва крестьянских восстаний (тамбовского, Кронштадта и др.) было

далеко. Крестьяне еще пребывали в бакунинском дурмане революции. И царскому генералу Антону Деникину, а уж тем паче гвардии полковнику Хованскому, мужик не верил. В этом была беда и мужика, и всей России.

Другая причина моего ухода из Добрармии была душевно-личная. Если бы я работал в каком-нибудь штабе или в Осваге, у меня не было бы предметного опыта гражданской войны. Но я был простым бойцом с винтовкой в руках: поэтому опыт имелся. Я узнал до конца, что значат слова: *гражданская война.* Это значило, что я должен убивать неких неизвестных мне, но тоже русских людей: в большинстве крестьян, рабочих. И я почувствовал, что *убить русского человека мне трудно.* Не могу. Да и за что? У меня же с ним нет никаких «счетов». За что же я буду вразумлять его пулями?

Такого чувства на Юго-Западном фронте, в войне против Австро-Венгрии, у меня, естественно, не было. Там я воспринимал войну, как некий национальный рок – может быть, как Божий урок. Тут – другое. Тут должна была быть проявлена *моя воля.* Причем я вовсе не вегетарианец, Я сторонник смертной казни за уголовные преступления: за убийства. Я сочувствую выстрелам в Кремле, у Боровицких ворот по лимузинам тиранов. Убийство Л. Канегиссером грязно-кровавого чекиста Урицкого я вполне понимал, так же как убийство рабочим Сергеевым бывшего нью-йоркского портного В. Володарского, ставшего вельможей-террористом большевицкого Петрограда. И убийства Войкова Борисом Ковердой и Воровского Конради я вполне понимал. Покушению Фанни Каплан на «гениальную гориллу» – Ленина я всем сердцем сочувствовал и жалею, что она его не убила, чем спасла бы не только Россию, но все человечество. Как мог спасти Германию граф Штауфенберг убийством Гитлера. Все эти русские выстрелы не были похожи на выстрелы какого-то полубезумного немецкого террориста Баадера. Нет, русские

выстрелы были не террором, а *сопротивлением террору псевдонимов.* Это были тираноубийственные выстрелы.

Расстрелы же добровольцами крестьян в селе Лежанка мне были непереносимы, из-за них все во мне восставало, и я в них не участвовал, ибо политически считал самоубийственными, а душевно во мне невмещаемыми. Не за свое же «имение» я буду кого-то там расстреливать? Я не последователь «классовой борьбы», этой «школы озверенья», по слову Н. К. Михайловского. «Бог дал, Бог и взял».

Я, брат и мать решили из Новочеркасска ехать в Киев к тете Лене Высочанской, сестре отца, а там – что будет. И в октябре 1918 года наш поезд переехал границу Всевеликого Войска Донского и тихо пошел по Украине. Украина тогда была некой восставшей не то Мексикой, не то Македонией. Большие города и железнодорожные узлы заняты немцами. А по селам и весям шарят и шалят банды атаманов. Откуда-то с Запада идет Петлюра. А с севера вот-вот навалятся большевики. В эмиграции, в Берлине, в 20-х годах Алексей Толстой мне показывал фотографию, которой он очень дорожил: сфотографирован каким-то уездным фотографом ражий детина, довольно обезьянообразный, с головы до ног увешанный арсеналом оружия. Детина сидит «развалемшись» в глубоком кресле на фоне дешевых декораций, а рядом – круглый стол, на котором – отрубленная человечья голова. И детина дико-напряженно уставился в объектив фотографического аппарата. Это – атаман Ангел. Толстой над этой фотографией дико хохотал, просто ржал. Я никак не мог разделить его веселья, но это была сфотографирована действительная Украина 1918 года.

В Киеве в ноябре 1918 года меня и брата, как офицеров, призвал в войска гетман Скоропадский, весьма не блестящая фигура гражданской войны. Мы должны были защищать Киев от наступающего Петлюры. Защита была беспомощна

и трагична, ибо в Киеве царило полное разложение всех и вся, и в этом развале некоторые наши «начальники» просто смылись. А под Киевом бессмысленно гибла брошенная туда военная молодежь, такие же, как я и брат.

Я и брат уцелели. Но попали к петлюровцам в плен, и нас (около трех тысяч человек), обезоружив, заключили под стражу в Педагогический музей на Владимирской. Арестованные заняли в музее все залы, комнаты, проходы, лестницы. Весь этот позорный и омерзительный эпизод киевской гражданской войны я давно описал и потому его не касаюсь.

Скажу главное: живы мы остались исключительно благодаря немцам. Они ввели в Педагогический музей свой караул под командой решительного лейтенанта. И немцы стали рядом с петлюровцами в папахах с нашитыми желто-блакитными кусками материи. Этот решительный лейтенант и предупредил резню нас, когда в настежь распахнутые двери музея, с красными бантами на папахах, на шинелях, даже на винтовках, ворвалась какая-то солдатская банда. Впереди с маузером в вытянутой руке, с выбившимися лохмами волос из-под папахи, весь ограначенный и совершенно озверелый, какой-то унтер. За ним, щелкая затворами винтовок, – толпа солдатни: типичная обольшевиченная банда. Было ясно, что въехавший на белом коне в «побежденный» Киев Симон Петлюра и уж не знаю на чем въехавший Владимир Кириллович Винниченко (автор нашумевшей в свое время на всю Россию пьесы «Черная пантера») будут скоро своими же украинскими большевиками плюс московскими раздавлены. Конечно, перестрелять нас хотел не Петлюра, он сам был во власти охлоса. Из-за этого и погиб. В 20-х годах он бежал с обольшевиченной Украины и стал эмигрантом в Париже, а в 1926 году на бульваре Сан-Мишель его в упор застрелил еврей Шварцбарт, мстя за еврейские погромы, чинившиеся тем

же охлосом, который ворвался и в музей перестрелять и переколоть – «гетьманцев». То есть – нас.

Но немецкий лейтенант с криками «хальт!» бросился тогда наперерез им. За ним – баварцы-солдаты с винтовками наизготовку. И этим предупрежден наш массовый расстрел в музее.

Я и брат лежим на полу в громадном зале № 8. Все тут лежат вплотную друг к дружке, как огурцы. Ходить можно только перешагивая через тела. Но если резня не удалась, то вскоре ночью музей задрожал и затрясся от взрыва адской машины, брошенной в вестибюль. Все окна вышиблены, а стеклянный купол в большой аудитории рухнул на спящих, ранив больше двухсот человек. Их куда-то увезли.

В эти дни от пришедшей на свиданье матери (у музея весь день – толпа матерей, жен, сестер, невест: свиданье давали на пять минут в вестибюле) я узнал, что в Керенске чекисты убили дядю Мишу (ее младшего брата). За покушение Фанни Каплан в Москве на Ленина псевдонимы мстили расстрелами по всей России ни в чем неповинных людей, Это – «устрашающий» террор, по слову Троцкого-Бронштейна. «Гимном рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести», – писала «Правда» пером псевдонима Сосновского. «В памяти не сохранились имена многих уведенных на расстрел из камеры в эти «ленинские дни», но душераздирающие картины врезались и вряд ли забудутся до конца дней», – писал заключенный тогда в Бутырки историк С. П. Мельгунов.

В уездном Керенске убили восемь человек: дядю, М. С. Вышеславцева, как образованного юриста, бывшего председателя земской управы и потому ставшего комиссаром Временного правительства, бывшего предводителя дворянства Волженского, мелкого помещика Александровского, богатого купца Балкашина (четырех других не помню). Убили подло, погнали пешком на станцию Пачелма (57 верст!)

будто бы везти «на суд в Пензу» и у урочища Побитое перебили штыками и прикладами. С дядей Мишей я и брат были большие друзья. Помню свое чувство при вести о его убийстве. Со дна души поднялась такая ненависть к этим зверям, что словно вижу, как въехал бы с отрядом в Керенск, разыскал бы убийц и сам перестрелял на месте, как бешеных собак.

В музее случайно узнал и о гибели моего командира полка Василия Лавровича Симановского. Его самосудом растоптала на улице родных Кобеляк банда какого-то атамана. За что? За то, что был полковник царской армии. Вот все его преступление.

Я лежу на полу зала № 8 и чувствую, как я чудовищно устал от всей этой всероссийской «кровавой колошматины и человекоубоины». Я скажу сейчас очень непопулярные вещи. Но непопулярности не боюсь. В те дни я возненавидел *всю Россию,* от кремлевских псевдонимов до холуев-солдат, весь народ, допустивший в стране всю эту кровавую мерзость. Я чувствовал всем существом, что в такой России *у меня места нет.* Хорошо бы вырваться из этого кровавого человеческого месива в какую-нибудь беззвучную тишину, в тихие поля, в тихие леса, а еще лучше попасть бы как-нибудь на Афон и стать там монахом, думаю я. Но знаю твердо, что никуда я не вырвусь, и если не убили сейчас петлюровцы, то наверняка убьют напирающие на Киев большевики, везя уж готовую ЧеКу, оглавленную Лацисом и Португейсом.

В музее – мороз; окна ведь выбиты взрывом адской машины. Теперь нас всего человек 500. Все другие освободились по связям, а больше за деньги. Остались безденежные и «бессвязные». И судьбы своей мы не знаем.

Но вот внезапно пришла и наша судьба. 30 декабря 1918 года в зал № 8 вошел сам командир Осадного корпуса

полковник Е. Коновалец[10] с комендантом музея. Коновалец невысокий, худой, невзрачный. Сделали перекличку, и комендант объявил, что сегодня ночью нас – полуголых, полуголодных, вшивых – под конвоем вывозят... в Германию. В эту невероятность нельзя поверить. Но – да, ночью вывозят – под немецким и украинским конвоем. Позднее я узнал от сопровождавшего нас лейтенанта, что нашей судьбой обеспокоился какой-то видный немецкий генерал и настоял перед Украинской директорией на нашем вывозе в Германию. Он, конечно, спас души наши! И я жалею, что запамятовал его фамилию. Помню только – «фон» и что-то вроде Вестфален (но не Вестфален, конечно!).

Темные, скотские вагоны нашего поезда, где мы вповалку лежим на соломе, медленно ползут по Украине под беспрерывные то пулеметные очереди, то одиночные винтовочные выстрелы. У двух станций – Казатин и Голубы (граница тогдашней Украины) на поезд пытались напасть какие-то банды. Но Бог миловал. Лейтенант был человек решительный, и мы пересекли у Голуб границу Украины.

А 3 января 1919 года пересекли и границу Германии. Поезд стал у первой немецкой станции – Просткен. Двери вагонов откатили. Солнце. Голубое небо. Ветерок. Легонькие облака. Совершеннейшая тишина. Ни одного выстрела. И первое ощущение: «какое отдохновение!». Этим с 3 января 1919 года и началась моя – эмиграция.

Как я начал писать

Это было в 19 и 20 годах. Жили мы в лагере Гельмштедт, провинция Брауншвейг. Жили с братом Сергеем, обоих нас вывезли из киевского Педагогического музея. До Гельмштедта прошли через лагеря – Дёбериц, Альтенау, Клаусталь,

---

[10] Коновалец убит в Роттердаме в 1938 г. советским агентом.

Нейштадт. Три последних в живописнейшей местности Германии – в Гарце. В мировую войну тут сидели военнопленные офицеры: русские, англичане, французы.

В Альтенау лагерь военнопленных был – просторная вилла на опушке леса, обнесенная проволочным забором. У входа, у калитки – караульный; всегда запирает ее на ключ, Но все это лишь «по инерции войны». Комендант лагеря свободно выпускал нас – куда хотим. Я, брат, Думский, Апошнянский отправились, например, в путешествие на вершину Гарца – на знаменитую гору Брокен, где, как известно, на шабаше ведьм побывали Фауст с Мефистофелем. И куда по горной тропе поднимался сам Вольфганг Гёте, после чего эта тропа так и называется «тропа Гёте». А на «Ратхаузе» в Альтенау прибита мемориальная доска: «Здесь в 1777 году останавливался поэт Вольфганг Гёте во время путешествия по Гарцу».

Мы шли по горам, заросшим мачтовыми соснами. С обрыва Вольфсварте был виден клубящийся, дымный Брокен. Поднялись на вершину, но Брокен – в сравнении с горами Северного Кавказа – Бештау например, – не впечатляющ. На вершине Брокена – большой ресторан, за баром хозяин – толстый-претолстый. Кроме жидкого пива военного времени в ресторане ничего нет. И никакого следа ведьм, чертей, Фауста с Мефистофелем. Впрочем, черти и ведьмы появляются тут раз в году – в Вальпургиеву ночь – 1 мая, в день святого Вальпургия. Отдохнув, уже затемно мы стали спускаться по той же «тропе Гёте», Была ночь. Была темь. Где-то в горах кричал филин. Через несколько часов мы пришли в Альтенау.

Per peges apostolorum (апостольским хождением) путешествовали мы и в Южный Гарц, в Нейштадт, куда с последним эшелоном из Киева попал мой Друг, однополчанин по мировой войне, по юго-западному фронту, Кирилл Ивановский. В этом путешествии перевалили через горную цепь «Ауф

дем Аккер», в старом гастгофе в деревеньке Рифенсбек пили желудевое кофе, заедая своими галетами из пакетов, которыми снабжала нас Антанта из оставшихся запасов для военнопленных.

В Нейштадте лагерь – в большой гостинице. Встретившись в вестибюле с Ивановским, я увидал какие-то выстроенные рядами длинные палки.

– Кирилл, что это за бамбуки? – спросил я.

– Это кавалерия, улыбаясь, – ответил Ивановский.

– Кавалерия?!

– Это по приказу генерала Квицинского для кавалеристов.

– Так это лошади? – засмеялся я в восхищении.

– Нет, это пики.

Когда же я с Ивановским заговорил, что в гражданской войне больше участвовать не буду, что в ней для себя места не нашел и искать не хочу, Ивановский не то что не понимал этого, а просто не хотел об этом думать. Ему все уже было все равно. Это был не тот, остряк хохотун, весельчак Ивановский, любимец полка, это был потерявший всякое душевное равновесие, разбитый войнами человек.

– Если ты не поедешь, что ж ты будешь здесь в Германии делать? – неохотно говорил он, – тебя ж лишат лагерного довольствия?

– Да я только и хочу уйти из лагеря, уйду к немцам, буду работать.

– То есть как работать?

– Да как угодно, батраком, в деревне, рабочим в городе, на любую работу.

– Ах, это все твоя романтика, – затягиваясь папиросой, Цедил Ивановский, – я хоть тоже теперь ни в какую белую армию не верю, а черт с ними, поеду куда ни повезут.

Так мы и расстались. Ивановский попал на новый фронт русской гражданской войны, в Архангельск, где покорявший

север России Ленину полусумасшедший коммунист Кедров, после пораженья белых, грузил пленных на баржи и расстреливал из пулеметов.

Хорошо, что судьба – обернувшись Сталиным – жестоко отмстила Кедрову. На XX съезде партии Хрущев рассказал, как Лаврентий Берия арестовал, пытал и убил Кедрова как «низкого изменника Родине» (с нашей точки зрения Кедров, конечно, им и был. – *Р. Г.*). Из тюрьмы на Лубянке Кедров писал в ЦК умоляющие письма: «Мои мучения дошли до предела. Мое здоровье сломано. Беспредельная боль и горечь переполняют мое сердце». Но, поссорившись, гангстеры друг к другу беспощадны. И Берия пустил Кедрову пулю в затылок. Туда ему была и дорога!

Не менее страшно, чем Ивановский, погиб и другой мой друг, одаренный рыжий Борис Апошнянский, лингвист и востоковед. Он ходил по лагерю Клаусталь с вечно дымящейся трубкой, профессорски рассеянный, грязный и, совершенно не имея музыкального слуха, всегда напевал на мотив вальса «На сопках Маньчжурии» две строки собственного сочинения; «Дорога идет цум Кригсгефангененлагер». К войне он был неприспособлен, политикой не интересовался, даже газет не читал, а поехал из Германии опять в русскую гражданскую войну только потому, что везли через Англию, а он говорил: «Сам не знаю почему, но с детства мечтаю взглянуть на Англию». И после того, как он «взглянул на Англию», взбунтовавшиеся солдаты армии Юденича в паническом отступлении от Петрограда подняли его в числе других офицеров на штыки; а он хотел жить и любил жизнь.

Наш и нежданный и недобровольный эшелон из Киева был первым. После него в Германию прибыли четыре эшелона офицеров и нижних чинов, уехавших по желанию. Всего скопилось несколько тысяч. Из лагерей в Гарце всех – через Англию – стали отправлять на фронты гражданской войны: к

генералу Деникину – на юг, к генералу Миллеру – на север и в северо-западную армию генерала Юденича. Ведала этим Русская военная миссия в Берлине во главе с генералом Генерального штаба Монкевицем.

Ехать в гражданскую войну я отказался, заявив об этом русскому лагерному начальству в Клаустале – гвардии-полковнику Клюкки фон Клюгенау (он был вроде Хованского). Меня поддержал брат, четыре офицера: Шумский, Строганов, Татунько, Луковенко и вольнопер Мороз. Остальные, по-моему, ехали, как Ивановский, по инерции, подчиняясь року, на смерть. Отказ мой был воспринят и удивленно и с начальственным негодованием. Но ни поколебать меня, ни насильно отправить было нельзя («угрозы» были).

Мне предложили подать письменное объяснение в Русскую военную миссию. Я подал: почему не хочу (и не могу) участвовать в гражданской войне. Копия сохранилась еще в моем архиве. После этого вызвали для устного объяснения в Берлин, в военную миссию, возглавлявшуюся, как я сказал, генералом Монкевицем. Я приехал. Но принял меня, к сожалению, не он. К сожалению потому, что впоследствии обнаружилось, что генерал Монкевиц – глава белой военной миссии – советский агент. Он бежал в Москву после пребывания во Франции в окружении вел. князя Николая Николаевича. И я жалею, что не видел живьем эту *личность.*

В военной миссии меня принял генерал Минут – суконный, непримечательный. Спросил: почему и как? Я изложил и видел, что Минут откровенно не понимает меня, да и понимать не хочет. Так я настоял и остался в Германии, став чернорабочим на лесоповале под лагерем Гельмштедт.

Лагерь Гельмштедт был уже не военный, а для «перемещенных лиц», тогда их скверно называли – беженцы. В Гельмштедте мы добывали средства к существованию трудами рук своих. Кто – в шахтах, кто – на лесоповале. Об этом я пи-

сал в «Коне рыжем» и не хочу повторяться. А расскажу, что меня толкнуло писать. В лагере со времени войны была скудная русская библиотека, и в свободное от работы время я перечитал два рассказа Всеволода Гаршина: «Из воспоминаний рядового Иванова» и «Четыре дня». В былые времена они потрясли воображение русской интеллигенции «ужасами войны» («внимая ужасам войны»...). Но перечитав, я подумал: да какие же это ужасы? По сравнению с гражданской войной это не так уж и страшно. Вот если бы я просто протокольно записал, что видел в гражданской, – это были бы ужасы. Правильно говорит об этом в одной своей книге Б. В. Щульгин: «Мы, участники войны мировой и войны гражданской, прекрасно знаем: мировая воина велась в грандиозных масштабах, но ее ужасы суть Kinderspiel в сравнении с прелестями войны гражданской. Жестокость и мерзость последней вне всякого сравнения: она сразу отодвинула нас на несколько веков назад». Вот из этих «нескольких веков назад» я и вырвался, оставшись в Германии чернорабочим. Не без груда – но вырвался.

Мысль – записать все, что я пережил, что видел в гражданской войне, – засела во мне. Но если писать, думал я,– писать надо совершенно правдиво-оголенно. Где геройство– пусть геройство, личного геройства в Добровольческой армии было не занимать стать. На моих глазах мои же товарищи и совершали геройства и умирали геройски. А там, где зверство, – пусть будет зверство, где доблесть – пусть доблесть, а где грабеж – пусть грабеж.

И в свободное от лесной работы время я стал писать. Мы в лесу обдирали кору особыми скрябками с поваленных сосен. Писал я долго, ибо не умел и не думал, что писать – так трудно. Чтоб проверить, я читал по вечерам отрывки брату и друзьям. Все они прошли гражданскую войну: один на Дону, другие на Украине, все хорошо ее знали. И я видел, что напи-

санное действует. Даже брат – самый суровый критик, говорил: продолжай, пиши. И друзья: пиши, пиши, все это обязательно надо записать. Так я и написал свою первую книгу «Ледяной поход», которая позднее стала известна в литературе о гражданской войне.

Но когда я кончил, пришлось думать: что же делать с рукописью? В лагере мы получали русскую ежедневную газетку «Голос России», выходившую в Берлине под редакцией Самуила Яковлевича Шклявера, с которым я позднее познакомился. Газетка была не Бог весть что, но из нее я узнал, что в Париже В. М. Зензинов издает какой-то антикоммунистический журнал на французском языке «Pour la Rousie». Зензинова по имени я знал: эсер, приятель Керенского. Решил попросить совет: что делать с «Ледяным походом»? Владимир Михайлович (с ним много позднее я познакомился в Париже при постановке моей пьесы «Азеф» в «Русском театре», а еще позже в Америке и подружился), к моему изумлению, ответил быстро и дружественно. Но ничего утешительного. Ободрял, писал, что правдивая книга о гражданской войне, конечно, нужна, но не видит возможности ее где-нибудь напечатать. Письмо В. М. Зензинова на бланке «Pour la Rousie» все еще хранится в моем архиве.

Через некоторое время в той же газетке я прочел, что в Берлин приехал Владимир Бенедиктович Станкевич, бывший верховный комиссар Ставки при начальнике штаба Верховного главнокомандующего генерале Н. Н. Духонине, которого, как известно, самосудом разорвали матросы. Матросский эшелон прибыл в Ставку в Могилев одновременно с прибытием известного большевицкого псевдонима – «товарища Абрама» (прапорщика Н. Б. Крыленко), который долженствовал быть ленинским «Верховным главнокомандующим».

Станкевич позднее рассказывал, что, видя в Ставке полное разложение, он убеждал генерала Духонина бросить Ставку

и уехать. Духонин колебался, но генерал Дидерихс высказался против, говоря, что начальник штаба Главнокомандующего Российской армии покинуть свой пост не может. Духонин остался. Он, вероятно, думал, что «товарищ Абрам» его арестует. Но вряд ли думал, что его попросту насмерть растопчут озверелые Крыленкины матросы.

Как хорошо, что лет через двадцать этого кровавого «государственного обвинителя», «прокурора республики», «товарища Абрама» Сталин зверски отправил на тот свет, да еще перед расстрелом наиздевался над ним всласть. Крыленко заслужил свою казнь сполна.

Главнокомандующий... Ты попросту палач,
Стараньем чьим растерзан был Духонин.

– писал в те годы о Крыленко друг Блока, поэт Вл. Пяст (В. А. Пестовский), покончивший самоубийством в начале революции.

До войны В. Б. Станкевич был приват-доцент Петербургского университета по кафедре уголовного права, во время войны добровольцем поступил в Павловское военное училище и вышел в офицеры, в саперы. По национальности В. Б. был литовец, из дворян. По-литовски предки его были – Станка. Но со временем фамилия полонизировалась в Станкевич. А Станкевичи русифицировались. По политическим убеждениям В. Б. был народный социалист. Эта партия была «буфером» между кадетами и эсерами. Кадеты были конституционные монархисты, энэсы склонялись к республиканизму. Но будучи народнического корня, они все же отталкивались от эсеров из-за их террора. В революцию Керенский, став главковерхом, назначил офицера-сапера Станкевича Верховным комиссаром Ставки.

В «Голосе России» сообщалось, что Станкевич в Берлине хочет сплотить группу под названием «Мир и труд» и издавать двухнедельный журнал «Жизнь». По опубликованным пунктам программы «Мира и труда» такой пасифизм мне не очень нравился, но я думал, что с Станкевичем можно поговорить о «Ледяном походе», и решил написать ему. В письме я спрашивал, можно ли хотя бы в отрывках напечатать книгу в его журнале?

Очень быстро от Владимира Бенедиктовича пришел ответ. Он писал, что заинтересован рукописью, но хотел бы, чтобы я приехал в Берлин, чтобы мы обо всем, как он писал, договорились. В Берлин мне приехать было нелегко, я был классический пролетарий, а поездка стоила денег. Тем не менее я решил ехать, брат одобрял: езжай, езжай, письмо хорошее, может, что-то и выйдет. И я поехал.

В. Б. Станкевич и журнал «Жизнь»

В 1920 году вся Германия была нищая, аккуратно-обтрепанная, полуголодная. Живя в России, я не представлял себе, что страна может дойти до такого изнурения войной. Мы, эмигранты, по сравнению с немцами были даже в привилегированном положении, ибо нам в лагерях помогала Антанта из оставшихся в Германии продуктовых складов для военнопленных. Мы получали «керпакеты», одежду. У меня поэтому был некий костюм из английского одеяла. Одеяло – серое, ворсистое. И сельский портной-немец сшил мне из него довольно странную одежду: однобортную куртку вроде сталинской и какие-то полугалифе, потому что на длинные штаны материала не хватило. Полугалифе же заканчивались английскими обмотками, а на ногах были здоровенные американские буцы, подкованные на носках и на каблуках. Так я и поехал в Берлин.

Приехал на Штеттинский вокзал. Около него остановился где-то очень дешево. Но Станкевич жил совсем в другой части столицы, в довольно фешенебельной, около Виттенбергплац, на Пассауерштрассе в пансионе Паули. Доехал я туда на трамвае, позвонил. Открыл дверь Владимир Бенедиктович. С первого взгляда он мне очень понравился. Среднего роста, плотный, стриженый, с большой уже лысиной блондин, с подстриженными светлыми усами, мягкий в манерах, в разговоре, но глаза очень острые, пытливые. Он провел меня в свой кабинет, познакомил с женой Натальей Владимировной, рожденной Прокудиной, и с семилетней дочкой Леночкой. В кабинете мы с Владимиром Бенедиктовичем приступили к «большому разговору». А Наталья Владимировна пошла приготовить чай.

Говорили мы о многом. Владимир Бенедиктович рассказал о своем проекте журнала «Жизнь», о «Мире и труде» и под конец высказал настоятельное желание, чтобы я переехал в Берлин, работать в редакции «Жизни». Он обещал какое-то скромное вознаграждение, на которое я все-таки мог прожить. Его предложение было и неожиданно, и приятно, я только подумал: а как же брат? Мы с братом были очень дружны. И я сказал Владимиру Бенедиктовичу, что отвечу из лагеря, поговорив с братом. С этого дня я подружился со всеми Станкевичами на всю жизнь. Мне страшно подумать, что я всех их пережил. Все они – и Б. Б., и Н. В., и Леночка – умерли после Второй мировой войны в Вашингтоне, в Америке.

Когда в Гельмштедте я рассказал все брату, он был не в восторге, что я уеду в Берлин. Но я сказал, что приложу все усилия, чтобы вытащить и его в Берлин или под Берлин. Надо сказать, что брат мой Сергей по характеру был человек крайне своеобычный. Внешне Сережа был яркий блондин с серыми глазами. Пепельные, чуть волнистые волосы он зачесывал назад. Лицо очень белокожее, с хорошим румянцем.

Ростом был ниже меня, но крепче сложен. По характеру пошел в обоих дедов сразу: страшно вспыльчивый, до «потери сознанья», но быстро отходил. Любил всяческое опрощение, ненавидел города, признавал жизнь только в деревне, причем трудовую. Был страстный охотник. Он почти окончил Московский университет по юридическому факультету, оставались только государственные экзамены. Но в Москве жил только первый год – при жизни отца. А потом все время – в именьи. Учился юридическим наукам по учебникам и в Москву приезжал лишь сдавать экзамены, сдавая их на «весьма». Думал стать мировым судьей и жить только в именьи, которым и управлял. Но не с балкона иль из кабинета, а сам с рабочими с зарей выезжал в поле и шел первым плугом. Он любил простой физический труд. И за это крестьяне его уважали, как «странного барина». Только в революцию – помню рассказ Сережи – выехал он как-то в поле пахать. Пашет. А на соседнем поле, тоже пашущий, мужик вдруг остановился да как заорет во все горло в сторону Сережи: – «Пора кончать, е... мать!» Сережа рассказывал об этом со смехом, но скоро пришлось ему бросить любимое дело – землю. Уехал в Пензу и поступил вольноопределяющимся в Приморский драгунский полк.

В эмиграции Сережа наотрез отказался идти работать – как работало множество русских эмигрантов – шофером такси, официантом в ресторане и прочее. «Чтобы мне какая-нибудь сволочь давала на чай?! Да пропади они пропадом! (Сережа выразился, конечно, резче и нецензурно). Я лучше всю жизнь чернорабочим буду!» Это было, разумеется, барство. Но своеобразное. И Сережа работал на лесоповале, в глубине – в шахтах, на какой-то каменоломне. И был доволен.

В Берлин я переехал в 20 году. Вокруг журнала В. Б. Станкевича «Жизнь» и организации «Мир и труд» собрались очень разнородные люди. В. В. Голубцов, пожилой,

весьма обывательский родственник В. Д. Набокова, до революции был, кажется, чиновником министерства финансов. Н. Н. Переселенков – бывший адвокат, желчный холостяк. Юрий Викторович Офросимов, москвич, окончивший там Императорский Николаевский (Катковский) лицей, но юриспруденцией совершенно не интересовавшийся. В гражданскую войну он попал в Прибалтику, в «армию» Бермонда-Авалова. И засел там в каком-то лагере. По просьбе Голубцова Станкевичу удалось достать ему визу в Берлин, что было тогда нелегко. Юрий писал об этом так: «Я попал в Берлин, побывав в несколько странной «освободительной армии , которая, воодушевленная приказом командующего «беи в морду как в бубен, за все отвечаю!», вместо Москвы захватила одну из столиц Прибалтики, к счастью бескровно. Но и этого для меня было достаточно, и я кое-как, в остатках военного обмундирования, с помощью доброй руки, протянутой из Берлина совершенно до тех пор незнакомого мне Б. Б. Станкевича, – осел в Берлине». Юрий был очень талантлив. Наружностью был цыганистый, мать его была Рахманинова. Характер – очень русский, до Обломова. Полная богема и поэт Божьей милостью. В «Жизни» он дебютировал стихами, некоторые из которых я запомнил:

Разве позорно забыть
Громовых орудий раскаты,
Разве преступно быть
Снова другом и братом?
Говорить простые слова,
Вдыхать просторы безбрежно,
Смотреть, как растет трава,
И думать: я снова прежний.

И другое:

Я принимаю злобы тьму,
Разбой, убийства, издеванъя,
Как искупленье и страданья,
Как послух духу моему.
И верю я, чрез много лет
Блеснет невидимый доныне,
Как над поруганной святыней,
Над ликом тихим – Тихий Свет.
И пусть про то не нам узнать,
Узреть не нашими глазами,
Но все же никогда камнями
Не брошу я в больную мать.

Стихи эти необычайно нравились Станкевичу уже по одному тому, что для «Жизни» были «программны». Но у Офросимова были лирические стихи гораздо интереснее. Своими стихами он сразу выделился в русском литературном Берлине и вскоре издал сборник «Стихи об утерянном». Это была хорошая книжка, но, к сожалению, чудовищно ленивый Юрий, когда кончилась «Жизнь», перешел в газету «Руль» и стал там писать театральные рецензии, которые ничего ему не давали (кроме грошей на жизнь), а стихи забросил на всю жизнь, хоть и сильно грустил об этом. Умер он страшно, в Палермо, в Сицилии, в кафе от сердечного припадка, 19 октября 1967 года, в возрасте семидесяти трех лет.

Я опубликовал в «Жизни» отрывки из «Ледяного похода», которые имели известный успех, но далеко не у всех, ибо по своему тону отличались от той литературы о Белой армии, которая стала появляться в русском Зарубежьи.

В «Жизни» печатался (но мало) молодой прозаик Александр Михайлович Дроздов. По натуре он был совершенно чужд «Жизни». В былом, в Петрограде, был связан с известной газетой «Новое время». Жена его, Люлька, которую все мы очень любили, была дочерью Леонида Юльевича Гольш-

тейна, а Гольштейн в «Новом времени» и «Вечернем времени» играл роль и молодому зятю покровительствовал. О Гольштейне один остроумный евреи говорил, что не верит ему ни на грош потому, что он даже из собственной фамилии украл букву «д». (Гольштейн не считал себя евреем, был женат на светской даме – Марии Сергеевне Дурново). В революцию Дроздов очутился в Белой армии, но не в строю, а где-то в Осваге. Потом – эмиграция, Берлин, где первое время в русской печати он имел литературный успех, издал у Ефрона книгу рассказов под ударным заглавием «Подарок Богу», потом еще книг десять в других русских берлинских издательствах, роман «Девственница». Литературной техникой Дроздов владел вполне. Я почему-то даже запомнил одну «эффектную» концовку его рассказа: «С полей войны не возвращаются помолодевшими». Но техника техникой, а беда Дроздова была в отсутствии у него внутренней темы. Зинаида Гиппиус в рецензии правильно писала: «бесхребетный писатель». И так у Дроздова было не только в литературе. Несмотря на молодость, он был душевно опустошен и циничен. И я не так уж удивился, когда этот ультраправый литератор в 1923 году внезапно, бросив жену и ребенка, уехал в Советскую Россию. Причем там, вопреки всякой логике, эдакий белобандит сразу был введен в редколлегию какого-то «толстого» журнала. Это скверно освещало его скрытый от всех, скоропалительный отъезд. В Советской России Дроздов ничего кроме халтуры не написал, сильно пил (так же как и в эмиграции) и преждевременно умер в Ясной Поляне, женившись на тамошней учительнице.

Еще сотрудником «Жизни» был Федор Владимирович Иванов, человек совсем другого склада и характера. Родился в Симбирске, учился в Петербургском университете на юридическом факультете, попал в Белую армию генерала Миллера, был тяжело ранен в область сердца, и рана, как осложнение,

дала сердечную болезнь, от которой он в Берлине вскоре и умер. Федор Иванов выступил как эссеист и беллетрист. Писал он довольно талантливо. Был человеком петербургской «Бродячей собаки». По «Собаке» хорошо знал Адамовича, Георгия Иванова, Леонида Канегиссера, По личной судьбе был человек глубоко несчастный и умер трагично: упал (сердце) на берлинской улице и скончался в госпитале. После него осталась книга литературных эссе «Красный Парнас» и книга рассказов «Узор старинный».

Направленчески «Жизнь» держалась только на одном В. Б. Станкевиче. В. Голубцов опубликовал какие-то до одури скучные «клочки воспоминаний». Н. Переселенков – две-три бледных статьи. Оба были не литературные люди. Был в «Жизни» интересный случайный материал: статья известного художника Бориса Григорьева о современном русском искусстве, театральные воспоминания барона Дризена. Но все это было лишь «орнаментом» вокруг пасифистских статей В. Б. Станкевича. В № 1 «Жизни» В. Б. писал: «Период опустошения и разрушения близок к концу. С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы вывеской ни прикрывалась власть». Политически «Жизнь» выражала желание внутреннего замирения России вместо гражданской войны.

Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники,

– писал тогда Вячеслав Иванов. Вот против этой «ненависти», разделявшей русских на два берега, и был журнал «Жизнь». Это желание замирения разделяли все сотрудники. Разделял

его и я. Но несмотря на большое уважение к В. Б. и на дружбу, я всегда чувствовал некую мировоззренческую разность с ним. В. Б. был пасифист во что бы то ни стало – при всех обстоятельствах. От такого пасифизма я внутренне отталкивался. Он казался мне противоприродным человеку, «интеллигентской выдумкой». Но эта разность не мешала большой дружбе с В. Б. и Н. В. Мы были дружны всю нашу жизнь.

Отмечу, в какие дебри политической парадоксальности заводил дорогого Б. Б. его пасифизм. В № 11 «Жизни» (15 сентября 1920) В. Б. писал: ««Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем!» – так звучит лозунг русской левой демократии. Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что если рискнуть и вместо «ни к красным, ни к белым!» поставить смелое, гордое и доверчивое: – «и к красным, и к белым!» – и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина!». Дальше В. Б. слал панегирики и «гению и гиганту» Ленину, «сотрясающему мир», и чудесному герою Врангелю. «А разве Врангель не чудесный герой, сумевший, базируясь на клочке Крыма, спасти национальную идею, сорганизовать власть и поднять борьбу с всеторжествуюшим большевизмом в годину, когда у самых смелых опустились руки?.. Идеализм, возразят многие. «Наивный, гимназический!» Ну да, конечно...» И тем не менее В. Б. не сдавался, проповедуя – «и к красным, и к белым!» Разумеется, это было донельзя химерично. Но, как с улыбкой говорил Юрий: «Ничего не поделаешь, наш лидер любит смелые парадоксы».

Но один «парадокс» В. Б. я запомнил на всю жизнь, ибо в устах народного социалиста Станкевича слова, тогда показавшиеся парадоксальными, по сути были провидческими. Дело было так. На собрании группы «Мир и труд» выступал Рафаил Глянц. Глянц, онемеченный русский еврей, член с. д. партии, постоянный сотрудник «Форвертс», давно жил в

Германии. Был он мягким и милым человеком, оказывал Станкевичу и всем нам частые услуги в немецком мире. Говорил Глянц что-то о социализме. Возражая ему, В. Б. сказал: «Вот вы говорите о социализме, а я скажу, что совершенно уверен в том, что в России настанет время, когда только за самое слово «социализм» будут вешать».

Журнал «Жизнь», естественно, просуществовал недолго – с апреля по октябрь 1920 года. Издатель Г. А. Гольдберг не захотел на парадоксах Станкевича нести убытки. В. Б. пробовал найти другого издателя. Я ездил с ним к некому Отто Винцу, онемеченному русскому еврею, уже плохо изъяснявшемуся по-русски. У него было издательство «Восток», выпускавшее и русские книги. Не вышло. Ездили к В. П. Крымову. Визит был неприятен. Никакого издателя Б. Б. не нашел, и в ноябре 1920 года «Жизнь» приказала долго жить. Сотрудники разбрелись кто куда. В. Голубцов с женой занялись чем-то кулинарным. Н. Переселенков, в совершенстве владевший немецким, поступил в немецкую фирму. Офросимов – в ежедневную газету «Руль», редакторами которой были известные кадеты – И. В. Гессен, бывший редактор петербургской «Речи», известный правовед и член Государственной Думы В. Д. Набоков и экономист профессор А. Каминка. Ф. Иванов пробивался литературными гонорарами – в газете «Голос России» (ежедневной), «Время» (еженедельной), в журнале «Сполохи», редактором которого стал А. Дроздов.

В. Б. Станкевич вскоре стал соредактором (вместе с С. Я. Шклявером) издательства «Знание». Это было предприятие архибогатейшего немецкого издательского концерна «Рудольф Моссе», захотевшего выпускать русские книги, в надежде легкого их сбыта в Советскую Россию. Другое столь же гигантское немецкое предприятие – издательство «Ульштейн» – уже до того с той же эфемерной целью создало изда-

тельство русских книг «Слово», во главе которого стал И. В. Гессен. Для русской зарубежной литературы оба издательства сделали много, в особенности «Слово», выпустившее много прекрасных книг. Но в Советскую Россию эти книги если и просочились, то лишь в «запретные фонды». Русских книг из-за рубежа псевдонимы не пустили.

Хочу сказать о какой-то сверхработоспособности Владимира Бенедиктовича. Редактируя «Жизнь», он тогда же написал известную книгу «Воспоминания», вышедшую в 1921 году в Берлине. Это была *первая* книга воспоминаний о революции русского политического деятеля. Она цитируется посейчас всеми пишущими о революции. За ней В. Б. выпустил «Судьбы народов России», которая тоже была первым серьезным трудом по этому вопросу. Затем – «Менделеев – великий русский химик», «Фритиоф Нансен».

У Станкевичей я часто встречал интересных людей: некоторых лидеров российской «революционной демократии», игравших в февральской революции большую роль, – В. М. Чернов, И. Г. Церетели, В. С. Войтинский, даже с приезжавшим в Берлин из Советской России Н. Н. Сухановым (Гиммером) дважды встречался.

Виктор Михайлович Чернов – типичнейший русак. Он и был – тамбовский. Хотя крайне правая печать всегда писала, что никакой он не Чернов, а «еврей Либер», но это только говорило о мозговой неизобретательности этой печати, Чернов был кряжист, здоровенный, вероятно, очень сильный. Черты лица очень русские, говор – тамбовский. Косматая шевелюра – серо-седая (в молодости, говорят, был рыж, теперь седел). Этот «друг Азефа», долголетний член ЦК партии эсэров, один из ее основателей, лидер ее центра в 1917 году, циммервальдец, во Временном правительстве «селянский министр», председатель двухдневного Всероссийского Учредительного собрания, – не вызывал во мне большой симпа-

тии. Может быть, отталкивала его позиция в Феврале. За чайным столом у Станкевичей он всегда был весел, рассыпчато-разговорчив, иногда подпускал в речь народные поговорки. Не нравились и быстрота его речи, и быстрота жестов, какой-то рядческий смешок и общая его жовиальность. Сопровождала его всегда одна из очередных жен (третья) – худющая эстонка Ида Самойловна Сармус. Выводя Чернова в своем романе «Азеф»[11], я его, конечно, окарикатурил. Так как по справедливости надо признать, что Чернов был и умен, и образован, и «человек со своей биографией» (что не часто встречается), вообще – персонаж недюжинный. После Октября Чернов и его партия были объявлены «вне закона». Чекисты сбились с ног, разыскивая Чернова. И – найди они его – Чернову пришлось бы плохо. Но, старый конспиратор, он ушел в подполье, жил нелегально, пиша свои мемуары, и в конце концов подался на Запад, который хорошо знал по своей прежней долголетней эмиграции.

Как-то за столом у Станкевичей Виктор Михайлович рассказал интереснейший эпизод:

– Было это до войны, году так в 11-м, в Швейцарии. Толковали мы с Лениным в ресторанчике за кружкой пива – я ему и говорю: «Владимир Ильич, да приди вы к власти, вы на следующий день меньшевиков вешать станете!» А он поглядел на меня с такой монгольской хитринкой и говорит: «Первого меньшевика мы повесим после последнего эсера», – прищурился и засмеялся.

Как ни невероятно, но «бутада в ресторанчике» через несколько лет превратилась в Архипелаг ГУЛАГ. Расстрелы эсеров (левых и правых) Ленин повел сам. А меньшевиков дострелял его «верный ученик» Сталин. И осталось от этих

---

[11] *Роман Гуль.* Азеф. Исторический роман. Изд. 4-е. Нью-Йорк: Мост, 1974.

партий лишь «историческое воспоминание» и «архивные материалы». Так «жизненно» обернулась «ресторанчиковая фраза».

В Берлине в издательстве Гржебина Чернов выпустил написанные в подполье мемуары – пухлый том под названием «Записки социалиста-революционера»[12]. Это, разумеется, ценный исторический документ, Но писал Чернов всегда как-то разгонисто-водянисто, и писания его меня не увлекали. Зато в Берлине тогда В. М. «со товарищи эсеры» издал замечательную книгу: «ЧЕ-КА»[13]. Она и сейчас важна для истории ленинского террора.

Противоположностью Чернову – в смысле человеческого облика – был Ираклий Георгиевич Церетели, известный социал-демократ, член Государственной Думы, ссыльнопоселенец, лидер Совета рабочих депутатов в 1917 году, министр Временного правительства и член правительства независимой Грузии. Высокого роста, скромно, со вкусом одетый (я его помню всегда в темно-синем костюме, белая рубашка и темно-красный галстук), этот хорошо воспитанный, красивый грузин был немного из тех, о ком Верховенский говорил Ставрогину: «Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен». В Церетели было это обаяние, хотя он не был таким аристократом, как, например, кн. П. А. Кропоткин, но был старинного грузинского дворянского рода: барин – социал-демократ.

Помню, как он с своим кавказским упирающимся акцентом рассказывал у Станкевичей свой сон:

– Снится мне позавчера, что гонят меня по царской России из централа в централ и пригоняют в Сибирь, в мою

[12] *В. М. Чернов*. Записки социалиста-революционера. Берлин: Изд-во З. Т. Гржебина, 1922.

[13] «ЧЕ-КА». Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Берлин: Изд. Бюро партии социалистов-революционеров. 1922.

ссылку. И живу я там во сне, как и наяву, в своей избе, но отчего-то мне во сне очень хорошо, чувствую, что сейчас проснусь, а так хорошо, что просыпаться не хочется. Проснулся – лежу в Берлине, оказывается. И так стало мне жаль, что не в своей я сибирской ссыльной избе. Хорошее, думаю, было время! – Церетели весело смеется. И кругом все засмеялись.

У Станкевичей мое знакомство с И. Г. было «мельком». Позже, во Франции, я узнал его ближе. А подружился с ним в Нью-Йорке, в Америке, одно время он даже жил у нас летом в Питерсхеме, в Массачусетсе. Об Ираклии Георгиевиче я еще много напишу. У меня есть что о нем сказать.

Владимир Савельевич Войтинский был близкий друг и Станкевича и Церетели. По чертам лица и всей внешности был похож на русского мужичка, а никак не на еврея. Некрасивый, курносый, рыжеватый, очень живой, В. С. тоже был «человеком с биографией». В молодости – большевик, знавший Ленина, прошедший тюрьмы и ссылку, в революции – антибольшевик, оборонец, комиссар Временного правительства на северном фронте, где боролся с ленинцами и разложением армии. После Октября отсидел у большевиков в Петропавловской крепости. При помощи Церетели уехал в Грузию, а оттуда на Запад,

В Берлине у Гржебина В. С. выпустил воспоминания под чуть плакатным заглавием «Годы побед и поражений»[14] (я заметил, что революционеры любили такие некрасовско-надсоновские плакаты). Но воспоминания В. С. весьма поучительны. Особенно в них ценны зарисовки Ленина. Бот, например, некий «кадр». В 1907 году Войтинский (большевик) был членом Исполкома Совета безработных и поехал к

[14] В. Войтинский. Годы побед и поражений. Воспоминания. В 2-х томах. Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922.

Ленину в Куоккала за разъяснениями насчет допустимости тактики террора. Приехал. «Я рассказал о настроении среди безработных, о «мстителях», о их намерении бросить бомбу в заседание городской думы. Ленин слушал чрезвычайно внимательно, вставляя время от времени: Вот как? Это крайне интересно! – Затем начал расспрашивать: – Вы думаете, люди у них найдутся? – Несомненно. – Надежные? – Вполне.– Тогда Ленин сказал раздумчиво: – А может быть, это было бы недурно. Встряхнуло бы...»

Западные либералы не то делают вид, не то действительно «недопонимают», откуда сейчас по всему миру идет террор (и «Красных бригад», и прочих «мстителей»)? А он идет именно от этого ленинского «недурно». Это Ильич своими ленинцами «встряхивает» мир.

«Любимой темой агитации Ленина, – вспоминает Войтинский, – была талантливая проповедь революционного нигилизма. «Революция дело тяжелое, – говорил он, – в беленьких перчатках, чистенькими руками ее не сделаешь. Партия не пансион для благородных девиц... иной мерзавец для нас и полезен тем, что он мерзавец...» В обыкновенных уголовных преступниках он (Ленин) видел революционный элемент».

Как симпатично и симптоматично для нашего времени, что международная Организация Объединенных Наций хотела чествовать Ленина как великого гуманиста.

Воспоминания Войтинского вышли и на иностранных языках. Но не этим русский эмигрант Войтинский создал себе имя. Он выдвинулся как экономист восьмитомным трудом «Мир в цифрах», по-русски вышедшим в издательстве «Знание» в Берлине и переведенным на все главные европейские языки. А потом уж в Америке, в Вашингтоне, В. С. Войтинский занял как экономист большое положение.

Н. Н. Суханова (Гиммера), автора известнейших «Записок о революции», вышедших в Берлине у Гржебина в семи томах, я видел у Станкевичей дважды. И не жалею, что не больше. С виду какой-то нечистоплотный, с красноватым, лоснящимся, неприятным лицом, невоспитанный, в разговоре бестактный, Суханов произвел на меня отталкивающее впечатление. Кроме «Записок» он оставил русской истории еще и тот исторический факт, что на его квартире большевицкая верхушка во главе с Лениным приняла окончательное решение идти на Октябрьский переворот. Его, Суханова, якобы не было дома, а квартиру для решающего заседания конспиративно дала жена (большевичка). Но историческое «предоставление квартиры» Суханова не спасло. Сталин в каком-то «политизоляторе» все-таки убил его.

Саша Черный

Из писателей я познакомился у Станкевичей с известным поэтом-сатириком Сашей Черным (Александр Михайлович Гликберг). Он приехал в Берлин в начале 1921 года. Саша Черный производил очень приятное впечатление. Среднего роста, худощавый, правильное, я бы даже сказал, красивое лицо, седоватые коротко стриженные волосы. Держался сдержанно, был малоразговорчив, но под этой сдержанностью вы чувствовали и характер, и твердые убеждения.

Его талантливые стихи-сатиры я читывал еще в России. Кое-что почему-то даже запомнилось навсегда:

Губернатор едет к тете –
Желто-кремовые брюки.
Пристяжная на отлете
Вытанцовывает штуки...

Или:

Царь Соломон сидел под кипарисом
И ел индюшку с рисом...

В своей автобиографии В. Маяковский писал, что одно время единственный читаемый им поэт был Саша Черный: «радовал его антиэстетизм». Меня Саша тоже чем-то радовал. Сейчас я с ним познакомился за чайным столом у Станкевичей в Берлине на Пассауерштрассе.

Станкевич, естественно, хотел его привлечь к сотрудничеству в журнале «Жизнь», но Саша это – очень мягко по форме, но твердо по сути – отклонил. Это была не его линия. В Саше Черном жила огненная ненависть к большевизму. Такая была разве что у Бунина времен «Окаянных дней». Да даже и у Бунина она не была так огненна.

Позднее я встретился как-то с Сашей Черным в студенческом ресторане и тут он выговорился. Он с раздражением и отталкиванием говорил о позиции Станкевича и «Жизни», ибо ни в какую эволюцию или возможность смягчения режима не верил. Тогда он с несдерживаемой злобой, очень красочно рассказал мне, как переезжал советскую границу и как на границе какой-то безграмотный чекист осматривал чемодан с его рукописями: некоторые на его глазах рвал, другие куда-то отбрасывал, а некоторые оставлял.

– И все это глупо, невежественно, безграмотно, – говорил Саша Черный, – только чтоб свою власть над тобой показать. У меня в душе кипела такая ненависть, что если б была сила, я бы ему горло перегрыз.

Саша Черный везде бывал вместе с женой, Марией Ивановной, рожденной Васильевой. Мария Ивановна была из писательских жен – ангелов-хранителей; таких я встречал много. По каждой мелочи было видно, как она охраняет и боготворит своего Сашу.

В Берлине Саша Черный задержался недолго. Он был литературным редактором журнала «Жар-птица». Издал несколько книг: сатиру-стихи, прозу, но все (надо честно сказать) было не на прежней высоте. Я думаю, что А. М. Гликберга надо отнести к людям, совершенно раздавленным революцией. Он любил Россию, русскую культуру, русскую литературу страстно любил и этим жил. Надо было слышать, с каким почти благоговением и любовью он говорил об Иване Бунине как о «последней сосне российского сведенного бора». О Бунине он написал стихотворение (надо признать, очень плохое), которое кончалось (помню) тем, что в свободной России:

Вы будете одним из самых близких,
Из самых близких и родных...

Как-то я сказал Саше Черному, что всегда любил его стихи и даже (сказал) некоторые помню наизусть. Но Саша (неожиданно для меня) недовольно сморщился, как лимон надкусил, и пробормотал: «Все это ушло, и ни к чему эти стихи были...» Большевизм и творчески и душевно раздавил былого сатирика. Он переиздал в Берлине три тома своих сатир. Но все то, что писал внове, было – не то. Видно, сатирическому таланту Саши Черного уже не на что было опереться. Он стал писать детские книги, в издательстве «Слово» издал «Детский остров» с рисунками известного художника Бориса Григорьева (тогда тоже эмигранта в Берлине). Но все, что писал Саша Черный, прежней силы не достигало:

Я индейский петух!
Ф-фух!
Самый важный,
Нос трехэтажный,

Под носом сережки
И сизые брошки.
Грудь кораблем,
Хвост решетом,
Персидские ноги –
Прочь с дороги!..
Ф-фух!

Вскоре Саша Черный с женой уехали в Италию. Потом в Париж, потом поселились во французском городке Борм. И здесь 5 августа 1932 года Саша Черный скончался: неподалеку от них вспыхнул пожар, Саша, как и другие соседи, бросился помогать, волновался, что-то таскал, кому-то помогал, а вернувшись домой, почувствовал себя дурно и от сердечного припадка умер. Там его и похоронили на кладбище Лаванду. Не так давно стараниями друзей на его могиле поставлен надгробный памятник.

Марина Цветаева

В Берлине с Мариной Цветаевой познакомил меня Эренбург, Было это вскоре после приезда ее из Москвы. Она остановилась в том же Прагер-пансионе, где жили Эренбурги. И как-то Эренбург сказал, что Цветаева хочет со мной встретиться. Я пришел. Постучал в дверь комнаты. Услышал «войдите!». Вошел. Марина Ивановна лежала на каком-то странном предмете, по-моему на сундуке, покрытом ковром. Первое, что бросилось мне в глаза, – ее руки, все в серебряных браслетах и кольцах (дешевых), как у цыганки.

Разговор начался – с Москвы, с ее приезда. Свое первое впечатление от облика Цветаевой я ярко запомнил. Цветаева – хорошего (для женщины) роста, худое, темное лицо, нос с горбинкой, прямые волосы, подстриженная челка. Глаза ничем не примечательные. Взгляд быстрый и умный. Руки без всякой женской нежности, рука была скорее мужская,

видно сразу – не белоручка. Марина Ивановна сама говорила о себе, что умеет только писать стихи и готовить обед (плохой). Вот от этих «плохих» обедов и тяжелой московской жизни руки и были не холеные, а рабочие. Платье на ней было какое-то очень дешевое, без всякой «элегантности». Как женщина Цветаева не была привлекательна. В Цветаевой было что-то мужественное. Ходила широким шагом, на ногах – полумужские ботинки (особенно она любила какие-то «бергшуэ»).

Помню, в середине разговора Марина Ивановна неожиданно спросила:

– Вы любите ходить?

– Люблю, много хожу.

– Я тоже. Пойдемте по городу?

И мы вышли из пансиона. Пошли, помню, по Кайзераллее, шли долго, разговаривая. Я больше слушал рассказы о Москве, о тяжкой жизни там. Я предложил зайти в кафе. Зашли. Кафе было странное – большое, белое, с гремящим негритянским джаз-бандом. Негры были в Берлине редкостью. Откуда они сюда залетели?

В кафе мы просидели, проговорили долго. Марина Ивановна прочла мне свои последние стихи. Видимо, она была внимательный и наблюдательный собеседник, Во всяком случае она открыла у меня какой-то жест, о котором я не имел понятия. Оказывается, слушая ее, я иногда проводил рукой по волосам. Этот жест Марина Ивановна мне «вернула», извинившись «за масть»: я блондин, а в стихотворении, присланном мне, она окрасила мои волосы в «воронову» масть:

Вкрадчивостью волос,
Вгладь и в лоск,
Оторопью продольной

Синь полуночную масть Воронову.
Вгладь и всласть
Оторопи вдоль – ладонью.

Это (не Бог весть какое) стихотворение я опубликовал в «Новом журнале» в письмах ко мне Цветаевой из Праги в Берлин. Оно вошло и в последнюю зарубежную книгу Цветаевой «После России».

С Мариной Ивановной отношения у нас сложились сразу дружеские. Говорить с ней было интересно обо всем: о жизни, о литературе, о пустяках. В ней чувствовался и настоящий, и большой, и талантливый, и глубоко чувствующий человек. Да и говорила она как-то интересно-странно, словно какой-то стихотворной прозой, что ли, каким-то «белым стихом».

Помню, она позвала меня к себе, сказав, что хочет познакомить с только что приехавшим в Берлин ее мужем Сергеем Эфроном. Я пришел. Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать – русская дворянка Дурново. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца – на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что все было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь – я был сторонником замирении России. Он – наоборот, никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а – победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно,

как истый рыцарь Белой Идеи. Марина Ивановна почти не говорила, больше молчала. Но была, конечно, не со мной, а с Эфроном, с побежденными белыми. В это время у нее был уже готов сборник «Лебединый стан»:

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым виденьем тает, тает:
Старого мира последний сон:
Молодость – Доблесть – Вандея – Дон...

И как это ни странно, но всем известно, чем кончил апологет белой идеи Сергей Эфрон в эмиграции. Вскоре он стал левым евразийцем (не с мировоззренческим, а политическим уклоном, как кн. Д. Святополк-Мирский, П. Арапов и др.), потом – председатель просоветского Союза возвращения на Родину и ультрасоветский патриот, а потом стряслось нечто страшное: его связь с какими-то советскими чекистами, и Эфрон принял участие в убийстве в Швейцарии беглого троцкиста-невозвращенца Игнатия Раиса. Я уверен, что Марина Ивановна *не была посвящена ни во что* из этой жуткой, грязной и мокрой истории Эфрона. Жена Азефа не знала, что ее муж – долголетний предатель и убийца множества своих товарищей. А Марина? На допросе ее парижской полицией – после убийства Раиса и бегства Эфрона в Советский Союз – полицейские сразу увидели её полную неосведомленность в том, что делал ее муж Эфрон, и отпустили ее на все четыре стороны. Бежавшего «на Родину» (с большой буквы) Сергея Эфрона чекисты не сразу, а года через полтора расстреляли: по-деловому, по-гангстерски: убил, а теперь – «концы в воду», и шлепнули его на его «евразийской родине».

Бывая у Марины Ивановны, я видел ее дочь Алю. Аля производила впечатление странного ребенка, какого-то дико-

ватого, держалась с людьми молчаливо, неприветливо. Она вернулась в Советскую Россию еще раньше Эфрона и отбыла там ни за что ни про что большой срок в концлагере.

Когда Марина Ивановна (в тот же год нашей встречи) переехала из Берлина в Мокропсы, под Прагой, у нас завязалась переписка. Но длилась не очень долго. В «Новом журнале» я опубликовал некоторую часть ее писем, считая, что другие печатать не нужно. Марина Ивановна вечно нуждалась в близкой (очень близкой) дружбе, даже больше – в любви. Этого она везде и всюду душевно искала и была даже неразборчива, желая душевно полонить всякого. Я знаю случай, когда она нежно переписывалась с одним русским берлинцем, которого никогда в жизни не видела. Из этой переписки ничего, разумеется, кроме ее огорчений не вышло. Мне писать Марина Ивановна стала довольно часто. Я отвечал, но, вероятно, не так, как она бы хотела. И в конце концов переписка оборвалась после письма Марины Ивановны, что больше она писать не будет, ибо чувствует, что мне отвечать ей в тягость.

Но одно время Цветаева попросила, чтобы я пересылал ее письма в Москву для Бориса Пастернака (прямо писать не хочет, чтобы письма не попадали «в руки жены»). Борис Пастернак тогда приезжал в Берлин, тоже сидел с Эренбургом в Прагердиле. В Берлине в издательстве «Геликон» он выпустил «Темы и вариации», «Сестру мою жизнь». Марина его никогда не видела. Но полюбила страстно и как поэта, и ей казалось, что любит его и как женщина. Цветаева написала тогда (в Чехии) громокипящий панегирик Пастернаку – «Световой ливень». Письма, которые она присылала для Пастернака, я должен был отсылать своему знакомому в Москве, верному человеку, а он – передавать по назначению, Причем Марина Ивановна просила, чтоб я эти письма обязательно читал. Я читал все эти письма. Они были необычай-

ным *литературным* произведением, причем эта литература была неистовой. Помню, в одном из писем Марина Ивановна писала, что у нее родился сын (это Мур, во время войны расстрелянный в СССР за какой-то воинский проступок, кажется за опоздание с возвращением в воинскую часть) и что этот Мур родился *от Пастернака* (которого Марина не видела, но это неважно, Цветаева любила – мифы, неистовства, и расстояние тут роли не играло).

Марк Слоним, который очень дружил с Мариной в Праге, в воспоминаниях о ней рассказывает о том же вечном неутолении любви, о жажде дружбы до конца. Дружа со Слонимом, Марина внутренне требовала от него большего, чем дружба, а Слоним... Слоним этого дать ей не мог: он женился на очень милой, интересной женщине Татьяне Владимировне. Это – как «измена» – вызвало взрыв негодования Марины, вылившийся в блистательное, по-моему, самое замечательное ее стихотворение «Попытка ревности»:

С пошлиной бессмертной пошлости,
Как справляетесь, бедняк...

Думаю, что в Марине было что-то для нее самой природнотяжелое. В ней не было настоящей женщины. В ней было что-то андрогинное, и так как внешность ее была непривлекательна, то создавались взрывы неудовлетворенности чувств, драмы, трагедии.

После того как наша переписка прекратилась, я увидел Марину Ивановну уже в Париже в 1933 году. Она давала вечер своей поэзии. Мы с женой пошли, Я уже знал, что Эфрон ультрасоветский, поэтому не хотел встречаться и с Мариной. Но мы все-таки встретились, когда после вечера случайно вместе выходили на улицу. Марина Ивановна мне сказала:

«Приезжайте как-нибудь к нам, я буду рада», – и дала адрес. Но я не поехал к ней, ибо не хотел встречаться с Эфроном.

Дальнейшее... Оно теперь общеизвестно. Материально тяжелая жизнь Марины в Париже кончилась трагически. После бегства Эфрона, оставшись одна (с сыном Муром), Марина решила ехать в Советский Союз. Не знала, что дочь попадет в концлагерь, а муж скоро будет расстрелян. В Советском Союзе власти встретили ее недоброжелательно, а потому и писатели по генеральной линии сверху – тоже отнеслись недоброжелательно. Асеев даже отказался ее принять (перестраховывался чересчур!). Многие ее не приняли и не помогли. Под конец Марину Цветаеву – знаменитого русского поэта – загнали в дикую глухомань, в Елабугу, где она должна была мыть посуду в какой-то столовке. Кончилось – петлей и безымянной могилой. А ведь незадолго до отъезда эмигрантка Цветаева писала; «Мои русские вещи <...> и волей не моей, а своей рассчитаны на множества <...> В России как в степи, как на море есть откуда и куда скакать <...> Там бы меня печатали – и читали...» В России – да. Но Цветаева приехала в иную страну, которая называется – Союз Советских Социалистических Республик, и здесь ей вместо «печатали и читали» предложили повиснуть в петле (за ненадобностью).

Теперь мы знаем истинную причину ее самоубийства. Ею вовсе не было предложение стать судомойкой в столовке в Елабуге. Всю свою жизнь Цветаева делила меж творчеством и черным (домашним) трудом. Но весьма сведущий в сих делах старый энкаведист Кирилл Хенкин в книге «Охотник вверх ногами» сообщает истинную причину ее «петли». Оказывается, елабужский уполномоченный НКВД предложил Цветаевой «ему помогать», т.е. «доносительство», т.е. попросту «стать стукачкой». Тут для Цветаевой выхода не было. Она предпочла крепкий гвоздь и веревку. «В России меня бы печатали и читали...». Ошиблась Марина Ивановна...

Что сказать о Цветаевой? Цветаева, конечно, большой поэт и большой, образованный, блестяще-умный человек. Общаться с ней было действительно подлинным платоническим наслаждением. Но иногда у Марины Ивановны, как у всякого смертного, проскальзывали и другие, сниженные черты. Когда-то Адамович, полемизируя с ней, написал, что в творчестве Цветаевой есть что-то не вечно-женственное, а вечно-бабье. Не знаю, можно ли было такую вещь написать, в особенности Адамовичу. Но не в творчестве, а в жизни у Цветаевой вырывалась иногда странная безудержность. Например, она мне писала в одном письме какие-то не долженствующие быть в ней, сниженные вещи о том, как у нее начиналась «большая дружба» с Эренбургом, как им «были сказаны все слова», но как Эренбург предпочел ей другую («плоть!») женщину. Это были вульгарные (для Цветаевой) ноты. Но Адамович-то был неверен в своей грубости, ибо писал о Цветаевой-поэте. А в творчестве своем Цветаева, наоборот, была, я бы сказал, мужественна. Женственные ноты в ее лирике прорывались не часто, но когда прорывались, то прорывались прекрасно. Я больше всего люблю лирику Цветаевой, а не ее резко-ритмические, головные ритмы (хотя Белый восхвалял именно ее «непобедимые ритмы»).

Ну вот. Конец. Осталась у меня в памяти Цветаева как удивительный человек и удивительный *поэт*. Она никак не была *литератором*. Она была каким-то Божьим ребенком в мире людей. И этот мир ее со всех сторон своими углами резал и ранил. Давно, из Мокропсов она писала мне в одном письме: «Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила, в особенности – людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними я бы сумела». Да, может быть.

«Ледяной поход»

Конец «Жизни» для меня был финансовым крахом. Гроши, что получал за статьи в «Голосе России» или «Времени» у милейшего Григория Наумовича Брейтмана (бывшего редактора киевских «Последних новостей» и автора потрясающих бульварно-детективных рассказов), – были грошами. Но голенький ох, за голеньким Бог. В «Архив русской революции», выходивший толстенными томами под редакцией И. Б. Гессена, я продал свои воспоминания о Киеве – «Киевская эпопея» (см. том 2). Русские издательства тогда прилично платили, и это была передышка. А засим издательству С. А. Ефрона продал «Ледяной поход», Семен Абрамович Ефрон, приятный, пожилой, с сильной проседью, тяжеловатый (по весу) человек был издателем еще в России. И, став эмигрантом, начал издавать книги в Берлине. Другого ничего делать не умел. Тогда в Берлине было около тридцати русских издательств.

Когда я пришел к С. А. с «Ледяным походом», он принял меня любезно и, взяв рукопись, сказал, чтоб я зашел за ответом недели через две. Две недели я жил в «тревожном ожидании». Мне было двадцать пять лет. Будучи по природе человеком (по-моему) скромным, я просто не верил, что *у меня выйдет книга!* Через две недели придя за ответом, я, разумеется, волновался. Сели. С. А. говорит:

– Знаете что, Роман Борисович, рукопись ваша, конечно, интересна, и я бы ее издал, но есть одно «но».

– Какое же?

– Видите ли, у вас очень много неприличных слов.

Я обмер.

– Ну, Семен Абрамович, – говорю,– они же обозначены многоточиями?

– Да, многоточиями, но читатель все-таки понимает, что это за слова, и читателю это неприятно. Вот, например, я дал прочесть нашей секретарше, Марии Абрамовне Шайкевич, так она, представьте себе, не могла даже дочитать, было шокирована.

Разумеется, и Семен Абрамович, и тем более Мария Абрамовна никакой гражданской войны не видали и не знали, что этот «неприличный» язык (а он действительно неприличен!) был обиходным языком гражданской войны. На этом языке мы говорили и в мировую, и в гражданскую. Но С. А. был по-своему, очевидно, прав. К тому же он – «капиталист», он сильнее.

– Знаете что, Р. Б., – сказал Ефрон, – возьмите-ка вы рукопись и попробуйте выправить именно в этом смысле, а тогда приносите.

Я взял рукопись, Но духом пал: не издаст, думал я. Выправлял я недели две, удаляя все «скверные многоточия», кое-где лишь оставил. И через две недели принес С. А. Он обещал дать быстрый ответ. Через несколько дней вызвал меня. На столе лежал – договор, приятный уже тем, что был *первым договором на книгу,* и тем, что я получал аванс, кажется, в тысячу марок. Для меня это было целое состояние. И книга, и деньги. Я был неописуемо радостен.

Вскоре «Ледяной поход» вышел. Книга имела (скажу без скромности) большой успех, но особый. Многие бывшие военные отнеслись к ней неприязненно. Я-де сгустил краски, я-де слишком много пишу о темных сторонах и т.д. Это были круги РОВСа (Русского общевоинского союза). Но я этого и ждал. Эти круги я хорошо знал и многого в них не любил. Я уважал таких генералов, как Головин, Врангель, Деникин, Кутепов, Миллер, были и офицеры, с которыми дружил. А не любил я те круги, из которых вышла пресловутая «Внутренняя линия», они-то и верховодили в РОВСе.

Были и приятные отзывы. Как-то мне сказали, что приехавший в Берлин Максим Горький будто читал «Ледяной поход» и хорошо отозвался. Я написал Горькому, спрашивая, действительно ли он читал мою книгу? И быстро получил ответ, очень краткий: «Уважаемый г-н Гуль, я действительно читал Вашу интересную книгу...» и еще несколько слов. Меня эта «интересная книга» очень обрадовала. Я – мальчишка, первая книга, а тут – *сам Максим Горький,* мировая знаменитость, «всероссийский гигант», автор всяких Буревестников, Челкашей, Мальв, песен о Соколе и прочее, пишет – «интересная книга».

Был и такой факт. Встретился я как-то с издателем З. И. Гржебиным. Он тогда в Берлине начал грандиозное издательское дело в уверенности, что книги пойдут в Советскую Россию. Там он ворочал «Всемирной литературой». Ему ворожили Горький, Луначарский, кто-то еще. Гржебин был вхож в сановные советские круги. И вот, когда я с ним здоровался, он с улыбкой говорит: «А я ведь вашу книгу в России еще видел».– «Где же ее видели?» А Гржебин, улыбаясь: – «На столе у В. И. Ленина». Я онемел, ибо не ожидал, чтоб моя книга попала на стол к самому псевдониму № 1. Правда, в газетах я читал, в интервью с каким-то иностранным корреспондентом на вопрос, чем он сейчас занимается, Ленин с усмешкой сказал; «Читаю книги господина Шульгина, – и добавил. – Надо изучать своих врагов». Вероятно, после «изучения» Лениным Шульгина его «1920 год» и был переиздан Госиздатом в Москве. А о книге Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» Ленин даже высказался публично, и какую-то книгу Аверченко тоже переиздали с предисловием Ленина. Стало быть «изучалась» и моя скромная книга. Это неплохо.

О «Ледяном походе» было много отзывов (и устных, и печатных). Но самым приятным был отзыв Юлия Исаевича Ай-

хенвальда. Произошло это так. Айхенвальд, автор в свое время известной книги «Силуэты русских писателей» (и автор несправедливого отзыва о стихах Валерия Брюсова – «преодоленная бездарность»[15]) приехал в Берлин среди высланных из России сорока четырех известных ученых, писателей и журналистов (всего выслали больше ста!). В Берлине уже существовал тогда русский «Дом искусств», председателем коего был эдакий старичок-живчик поэт Николай Максимович Минский. Сначала «Дом искусств» собирался еженедельно в кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, потом в кафе «Леон» на Ноллендорфплац. Я бывал там всегда. В этот раз пришел почему-то рано, но там уже сидела некая поэтесса Татида, в свое время приятельница Макса Волошина. С Татидой все мы дружили – Офросимов, Иванов, я, Корвин-Пиотровский. Как всегда Татида сидела у входа – члены «Дома Искусств» проходили бесплатно, а с «фармацевтов» бралась плата. И вот в зал первыми входят два человека. Татида хочет взять с них как с «фармацевтов». Я же сразу узнал Айхенвальда, которого запомнил еще по лекциям в России, и бросился к Татиде предотвратить неприличие. «Татида, – говорю, – это же Юлий Исаевич Айхенвальд!» Татида стала извиняться. Айхенвальд, улыбаясь, повернулся ко мне: «А откуда вы меня знаете?» – «Как откуда? Вас, Юлии Исаевич, вся Россия знает!» – Айхенвальд засмеялся: «А, простите, как ваша фамилия?» Я назвал и вдруг Айхенвальд удивленно;

---

[15] Как многие писатели, Брюсов был злопамятен и этого отзыва, оказывается, не забыл. В эмиграции Ю. И. Айхенвальд писал Влад. Ходасевичу: «О Брюсове. И сам я меньше всего склонен его идеализировать. Он сделал мне немало дурного и, когда сопричислился к сильным мира сего, некрасиво, т.е. экономически, мстил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей. Самая высылка моя – я это знаю наверное, из источника безукоризненного – произошла при его содействии» (письмо от 5 авг. 1926 г. см. «Некрополь» Ходасевича).

«Роман Гуль? Автор «Ледяного похода»? Я в Москве читал вашу книгу – прекрасная книга!» Я что-то благодарно промямлил, а он: «Книга там имеет успех, но *они, наверху,* ее тупо расценивают как какое-то разоблачение белого террора, по сути же она против гражданской войны вообще, а это вода вовсе не на их мельницу!»

В Берлине Ю. И. Айхенвальд сотрудничал в газете «Руль» как литературный критик. Писал под псевдонимом «Кременицкий». Но Ю. И. недолго прожил. Он был очень близорук, и однажды, неудачно пытаясь перейти улицу, попал под колеса трамвая. Так, на берлинской улице, погиб русский известный писатель, выброшенный на чужбину «псевдонимами».

Отзыв Ю. И. был приятнее всех других потому, что он прочел мою книгу *так,* как я ее писал. И Ю. И, был прав о воде и мельнице. Когда «Ледяной поход» переиздали в Советской России, у читателей он имел успех, но власти скоро сообразили, на чью мельницу эта вода, и «Ледяной поход» исчез с книжного рынка и из библиотек, попав в «запретные фонды» как не соответствующий «генеральной линии» партии. Эту «линию» компартии по вопросу о войне совершенно точно выразил Сталин в письме к Максиму Горькому (Соб. соч. Сталина, т. 12), когда тот предложил начать издание журнала «О войне». В то время советская печать была занята пропагандой о воинственности Франции и Англии и о том, что война вот-вот может вспыхнуть. Горький предлагал издание журнала, в котором хотел рисовать *ужасы* войны. Известный литературный критик А. Воронский, редактор «Красной нови», идею Горького поддерживал. Но вот что Сталин ответил Горькому: «На книжном рынке фигурирует масса художественных рассказов, рисующих «ужасы» войны и внушающих отвращение ко *всякой* войне (не только к империалистической, но и ко всякой другой). Мы против империалистической войны, как войны контрреволюционной. Но

мы за освободительную антиимпериалистическую войну, несмотря на то, что такая война, как известно, не только не свободна от «ужасов кровопролития», но даже изобилует ими <...> Мне кажется, что установка Веронского, собирающегося в поход против «ужасов войны», мало чем отличается от установки буржуазных пасифистов». В 1936 году Сталин отравил Горького. Примерно в те же годы Сталин расстрелял Воронского.

После Второй мировой войны, в 1950 году, я получил из Германии, от советского перебежчика майора Бориса Ольшанского[16] письмо, которое начиналось так: «Многоуважаемый г-н Гуль, прошу простить за мое обращение к Вам, но, во-первых, Вы являетесь для меня одним из немногих русских людей в эмиграции, имя которых привык уважать давно, живя еще в Советском Союзе. Там мне пришлось прочесть вашу книгу «Ледяной поход» (с Корниловым), появившуюся в 20-х годах в советском издании...» Этот отзыв мне был ценен.

«Новая русская книга»

Прожив гонорар за «Ледяной поход», я раздумывал: что же делать? Но опять подвернулся случай. Профессор А. С. Ященко предложил работать секретарем редакции в его библиографическом журнале «Новая русская книга». А. С. Ященко сначала издавал библиографический журнал «Русская книга» в издательстве книжного магазина «Москва» А. С. Закса. В писательских и интеллигентских кругах журнал имел успех. Дошел даже до Александра Блока, удивившегося:

---

[16] Б. Ольшанский на Западе выпустил книгу «Мы приходим с Востока». Через некоторое время попал в советскую ловушку и через Канаду был увезен в СССР, где и погиб. Он ехал в Германию на постоянную работу в НТС. Чемоданы его пришли во Франкфурт-на-Майне, а сам он очутился в СССР, где умер, якобы на операционном столе.

«Откуда они все знают?!» В журнале печатались сведения о судьбах и работах русских ученых и писателей, как российских, так и зарубежных, Тогда еще «железного занавеса» не было, и вести получались легко.

Но «Русской книги» Ященко выпустил всего девять номеров, и издание перешло к издательству И. П. Ладыжникова. Это было старое эмигрантское издательство. И. П. Ладыжников перепродал его Б. Н. Рубинштейну, русскому еврею, натурализованному немцу. Нам отвели удобное помещение на Аугсбургерштрассе. Это был какой-то склад книг, но для нас выделили и обставили хорошую комнату. Так началась «Новая русская книга». Редактор – А. С. Ященко. Я – секретарь.

Профессор международного права А. С. Ященко был колоритной фигурой. И полной противоположностью В. Б. Станкевичу, типичному интеллигенту, немного не от мира сего. Ященко – крепкий *жилец*, без всяких интеллигентских «вывихов». Среднего роста, крепко сшитый, физически сильный, с лысым черепом и невыразительным лицом, Ященко был уроженец Кубани. Не то казак, не то иногородний, не знаю. Но подошел бы к запорожцам, которые у Репина «пишут письмо султану». Ященко – грубоват и довольно бестактен («киндерштубе» у него не было), но – деловой. Он никогда не расставался с кривой трубкой и любил говорить о себе. Окончил семинарию, потом университет и в конце концов стал профессором международного права, сначала в Пермском университете, а потом, когда либеральных, независимых профессоров правительство «потеснило», Ященко заменил в Петербурге знаменитого философа права профессора Л. И. Петражицкого. Ященко был человек циничный и как-то сам мне рассказывал: «Знаете, что обо мне один раз написали? Что Ященко имел нахальство занять кафедру профессора Петражицкого!» И Ященко громко хохо-

тал. Про себя я думал, что написали довольно справедливо, ибо, обладая профессорскими знаниями, Ященко никаким талантом и идеями не блистал. И облик свой как-то в разговоре метко обрисовал сам. Он рассказал, что, когда был студентом-первокурсником, взял как-то словарь иностранных слов, открыл наугад и попал на слово «оппортунист» – «человек, приспособляющийся к обстоятельствам». Громко смеясь, Ященко говорил: «И вы знаете, я прямо чуть не закричал: эврика! так ведь это же я!». Это правда. Ященко был оппортунист. Так он не задумываясь сменил в Петербурге профессора Петражицкого. Так попал и за границу – очень рано, весной 1918 года – в Германию.

Официально это была «научная командировка за границу» от Пермского университета, а на самом деле, как он рассказывал, Ященко приехал с советской делегацией Иоффе для обсуждения с немцами каких-то дополнительных параграфов к Брест-Литовскому миру. В составе делегации были Менжинский, Красин, Ларин, кажется, Бухарин и еще кто-то. Но когда делегация должна была возвращаться восвояси, Ященко неожиданно «выбрал свободу», заявив, что остается в Германии. «На последнем заседании, – рассказывал он, – я Менжинскому прямо сказал: А все-таки русский народ вам когда-нибудь оторвет голову! – А Менжинский, – говорит, – повернулся ко мне и так презрительно процедил: До сих пор не оторвал и не оторвет». Увы, Менжинский, к сожалению, оказался прав и через шестьдесят лет.

В январе 1922 года в № 1 «Новой русской книги» А. С. Ященко писал: «Мы поставили себе задачей собрать и объединить сведения о русской и заграничной издательской и литературной деятельности. По мере сил своих мы стремимся создать из «НРК» мост, соединяющий зарубежную и русскую печать <...> Служить объединению, сближению и

восстановлению русской литературы ставит себе задачей «НРК».

Надо сказать, что «НРК», по-моему, была прекрасным журналом. А редакция ее – интереснейшим местом. К нам приходило множество писательского народа: и высланные из Советской России профессора и писатели, и писатели-эмигранты, ставшие берлинцами, и писатели, приезжавшие из Советской России на время. Помню, вскоре после приезда в Берлин высланных из Советской России профессоров в редакцию пришла их группа: Бердяев, Кизеветтер, Сергей Гессен, Айхенвальд и еще кто-то, Ященко принял их очень радушно, но у него был грех – любил говорить, не давая собеседнику вымолвить слово. И тут началось именно такое словоизвержение на любимую тему – об отношении к революции. Я эту рацею Ященки слышал раз двенадцать, ему она очень нравилась. Вставляя меж слов длительное «-э-», Ященко громогласным и безапелляционным басом говорил: «Революция – это как подхватившая тройка. И, по-моему, просто глупо пытаться эту тройку сдержать. Что же делать? А взять плеть и нахлестывать по всем по трем. Пусть скачет. Врет – умается. И когда тройке придет крышка, вы спокойно берете вожжи и выезжаете на дорогу...» Я видел, что высланным из России профессорам эти не очень блестящие речи о тройке были и неинтересны и даже могли восприниматься как бестактность. Из вежливости они молчали. Но вдруг Кизеветтер, как-то неловко ерзая на стуле, перебил Ященко знаком руки и вежливо говорит: «Простите, пожалуйста, скажите, можем ли мы видеть профессора Александра Семеновича Ященко?» Ященко, конечно, понял тонкий ход, и лицо, и лысина его покраснели, но он деланно захохотал, проговорив: «Так ведь это же я и есть Ященко!» – «Ах, это вы, извините, пожалуйста!», – мягко сказал Кизеветтер. Пришедшие засмеялись вместе с Ященко, но после интервенции

Кизеветтера красноречие Ященко кончилось и все перешли к делу. Оказывается, они пришли за информацией об ИМКА, к кому там обратиться и прочее. А Ященко был в курсе дел, ибо в ИМКА вел какую-то работу по заочным курсам и всех там знал.

Помню, как пришел в «НРК» только что приехавший из Советской России Владислав Ходасевич. Он был страшно худ, с неприятным лицом вроде голого черепа и с довольно длинными волосами. С Ященко они были хороши еще по Москве, по каким-то литературным сборищам у Брюсова. Встретились очень дружественно, разговор пошел о том о сем, потом, помню, Ходасевич говорит: «А знаете, Александр Семенович, я кажется опять сделал глупость». – «Какую?» – «Да вот женился опять». – «На ком же?» – «Да на поэтессе на одной, начинающей. Мы как-нибудь зайдем вместе». И пришли. «Поэтесса» была малоприятным, толстоватым существом с довольно злым лицом. Просидела не вымолвив ни слова.

Ходасевич заходил часто в «НКР». Один раз он меня крайне удивил, сказав Ященке: «Александр Семенович, только пожалуйста… если будут у вас рецензии о моих книгах, чтобы никаких неприятных резкостей. Я же ведь хочу возвращаться». Ходасевич всерьез хотел вернуться в РСФСР, но из этого, помимо его воли, ничего не вышло. В Москве его разнес как «врага народа» какой-то казенный критик, а потом сам Лев Давыдович Робеспьер отозвался о Ходасевиче крайне презрительно. Так что, к счастью для русской поэзии (и для самого Ходасевича), положение в смысле «вернуться» пошатнулось. Вместо РСФСР Ходасевич из Берлина ездил по Германии, по Италии, а потом завалился гостить к Горькому в Сорренто, откуда в 1925 году – в Париж. И там, став настоящим эмигрантом, Ходасевич дал русской поэзии прекрасную «Европейскую ночь», а русской прозе – «Державина» и «Некрополь».

Очень часто в «НКР» приходил Алексей Толстой, переехавший в Берлин из Парижа. С Ященко они были старые, неразрывные друзья. Толстой называл Ященко Сандро, а Ященко его – Алешка иль Алексей. Душевно, натурно они были очень схожи, оба циники, оба «жильцы». Все, что Бунин в «Воспоминаниях» пишет о Толстом – «Третий Толстой», – верно. С Толстым в Берлине я довольно часто встречался, бывал у него и на Курфюрстендамм, и на Бельцигерштрассе. Надо сказать, художественно талантлив Толстой был необычайно. Во всем – в писании, в разговоре, в анекдотах. Но в этом барине никакой тяги к какой бы то ни было духовности не ночевало. Напротив, при внешнем барском облике, тяга была к самому густопсовому мещанству, а иногда и к хамоватости. Бунин верно отмечает Алешкину страсть к шелковым рубахам, роскошным галстукам, к каким-то невероятным английским рыжим ботинкам. А также – к вкусной еде, дорогому вину, ко всякому «полному комфорту». Помню, Толстой, рассказывая что-то смешное Ященке, сам говорил: «Признаюсь, Сандро, люблю «легкую и изящную жизнь» (это он произносил в нос, изображая фата), для хорошей жизни и сподличать могу...» – и он заразительно-приятно хохотал барским баритоном.

«Дольче вита» могла с Толстым сделать все что угодно. Тут он и рискнул вернуться в РСФСР, и халтурил там без стыда и совести, и даже лжесвидетельствовал перед всем миром, покрывая своей подписью чудовищное убийство Сталиным тысяч польских офицеров в Катыни. Je m'en fous – было любимой присказкой Толстого в разных трудностях жизни. Переводить по-русски его присказку не решаюсь – весьма нецензурна. Помню, как-то мы с Ященко шли по Курфюрстендамм к нашей редакции на Аугсбургерштрассе. Навстречу – Толстой. Ященко, смеясь, говорит: «Ну что, Алешка, выкинули тебя за «Накануне» из Союза писателей и журналистов?».

Толстой (он всегда был немножко актер, и хороший актер) удивленно уставился на Ященко, будто даже не понимая, о чем тот говорит. Потом харкнул-плюнул на тротуар, проговорив: Je m'en fous. Да что такое вся эта эмиграция?.. Это, Сандро, пердю монокль – и только...» Свое самарско-французское изобретение – perdu monocle – Толстой употреблял часто с самыми разными оттенками.

Как-то в редакции Ященко рассказал мне мелкий смешной эпизод из его дружбы с Толстым. Толстой собирал трубки, это была страсть. Ященко – тоже. У Толстого была какая-то трубка «Донхилл», которая нравилась Ященко, и Ященко наконец ее выпросил. В слабую минуту Алешка дал, но потом затосковал. И вот, говорит Ященко, как-то утром вдруг приходит ко мне Алешка ни свет ни заря. Я еще в постели. Вижу – начинает он по сторонам зыркать, я сразу сообразил, зачем он пришел. И только успел я вскочить с постели, как Алешка бросился к этой трубке. Но я, говорит, успел ее у него вырвать.

В Берлине Толстой издал много своих книг. Он был необычайно трудолюбив, работал каждое утро, писал сразу на пишущей машинке, потом редактировал и переписывал. Ященко говорил, что Толстой при работе повязывал голову «ментоловыми компрессами». Здесь он переиздал три тома прежних вещей («Хромой барин», «Лихие годы» и другие), издал «Избранные сочинения», «Повесть о многих превосходных вещах», «Хождение по мукам» (Ч. 1), «Аэлита», «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью», «День Петра», «Лунная сырость», «Утоли моя печали», «Китайские тени», «Любовь – книга золотая», «Горький цвет», «Нисхождение и преображение» и другие.

Расскажу, как в «НРК» Ященко мирил Толстого с Эренбургом. Эренбург бывал у нас часто. Я тогда с ним был в хороших отношениях. Встречался и в Прагердиле на Прагер-

плац, где он жил наверху в пансионе с женой Любовью Михайловной. Иногда бывали вместе в ресторане. Тогда Эренбург был совсем не то, что много позднее. Это был Эренбург «Хулио Хуренито». Этот роман он тогда закончил. Напомню о «Хуренито» хотя бы одной цитатой: «После длинных раздумий Хуренито решил – это было 17 сентября 1912 года – что культура – зло и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Сапаты, а ею же вырабатываемыми орудиями. Надо не нападать на нее, но всячески холить ее язвы, расползающиеся и готовые пожрать полугнилое тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуренито своей миссии – быть великим провокатором».

Насколько Эренбург тогда был свободомыслен, показывает хотя бы такой факт. Были мы как-то в ресторане «Шваннэк» большой компанией, был с нами и известный немецкий писатель Леонард Франк, очень милый человек. Кто-то завел разговор о «дон-жуанском» списке Ленина, об Инессе Арманд и прочее. Саркастически улыбаясь, Эренбург сказал: «Достаточно посмотреть на Крупскую, чтобы понять, что Ленин никогда не смотрел на женщин». Все рассмеялись. Тогда такое кощунство у Эренбурга было естественно. Впоследствии о «великом кормчем» он писал не иначе, как о «гении человечества».

Известно, что в довоенной эмиграции в Париже Эренбург часто встречал Ленина и, как говорится, терпеть его не мог. Ленин, в свою очередь, терпеть не мог «этого лохматого», как презрительно называл Эренбурга (о чем свидетельствует Крупская). Что Эренбург был всегда лохматый, грязноватый (да и к тому же без передних зубов) – сущая правда. В Париже во времена ленинской эмиграции Эренбург издавал собственный журнальчик под названием «Тихое семейство» и там писал о Ленине беспощадно. Однажды поместил даже карикатуру, изображавшую «великого кормчего» в фартуке с

метлой в руке, и с подписью: «Старший дворник», а о «великом труде» Ленина об эмпириокритицизме Эренбург писал: «Пособие, как в шесть месяцев стать философом». Журнал «Тихое семейство» Эренбург писал от руки и размножал на гектографе. Так что от авторства никак не отвертишься. В архиве Б. И. Николаевского (а теперь, наверное, в Гувер-лайбрери) был полный комплект «Тихого семейства», который я с удовольствием проштудировал. Но «Тихое семейство» выходило в «те баснословные года»... К позднему Эренбургу, ставшему не только панегиристом «старшего дворника», но, думаю, и просто порученцем НКВД (за что говорят некоторые факты), я еще вернусь.

В Берлине Эренбург издал много книг: «Хулио Хуренито», «Трест Д. Е.», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «13 трубок», «Неправдоподобные истории», «Шесть повестей о легких концах», «Звериное тепло», «Отреченья», «Золотое сердце», «Лик войны», «А все-таки она вертится» и другие.

А теперь – поучительная история, как Ященко помирил Толстого с Эренбургом. Помирил ловко, зная и того и другого и вообще недуги писательских душ. Толстой Эренбурга ненавидел, а когда-то были хороши. Помню, раз придя в редакцию, Толстой говорит мне: «Роман Гуль (он почему-то всегда меня так называл), зачем вы пишете хвалебно об этой сволочи? (Я напечатал несколько положительных рецензий в «НРК»). Вот так ведь и делается реклама, а он же и не писатель вовсе, а плагиатор и имитатор. Хотите знать, как он написал свой «Лик войны»? Попросту содрал всякие анекдоты, «пикантности» и парадоксы с корреспонденции французских газет – и получился «Лик войны». Это же фальшивка!»

Эренбург не оставался в долгу и о Толстом говорил не иначе как с язвительной иронией – старомоден. Для их примирения Ященко избрал такой метод. Приходит Толстой. То да се. Ященко вдруг так, к слову, роняет: «Вот, Алешка, ты ру-

гаешь Эренбурга, а он у нас вчера был и говорит: знаете, я Толстого не люблю, но последняя его вещь, должен сказать, превосходна! Ничего не скажешь!» – Я молчу, но вижу, что Толстой верит, и ему приятно, хоть для приличия и говорит: «Ты врешь, Сандро?» – «Да вот Роман Борисович свидетель». Толстой что-то хмыкает, но я вижу, что клюнул.

Заходит Эренбург. Разговор о том о сем, и в разговоре Ященко запускает другого ерша: «Вот, Илья Григорьевич, вы ругаете Толстого, говорите, что старомоден и все такое. И он это знает, а вот вчера он был здесь и говорил: «Ты знаешь, не люблю я твоего Эренбурга, но последняя его вещь – надо сказать – замечательна! «Хулио Хуренито» – это класс!»«. И я вижу, что Эренбург верит. И ему приятно.

В конце концов Ященко добился своего: у Толстого и Эренбурга отношения возобновились, и Ященко, хохоча, говорил мне, что у него это для писателей проверенный метод, ибо все слабоваты в «этом самом местечке».

В «Новой русской книге» я познакомился с Андреем Белым. Он приходил довольно часто, печатал в журнале статьи, дал свою автобиографию. Среднего роста, не худой, не полный, с полудлинными пушистыми волосами, раздуваемыми при его резких движениях, с большим лбом, переходящим в лысину, с какими-то блуждающе-разверстыми глазами, Белый производил странное впечатление, причем чувствовалось, что в эту «странность» он еще слегка и подыгрывает. В Советской России Василий Казин писал о нем:

Все жесты, жесты у него,
От жестов вдохновенно пьяный...

Это верно: в общении Белый держался «на жесте». Может быть, с близкими людьми он был и попроще, хотя вряд ли у Белого даже могли быть «действительно близкие» люди. Ка-

залось, что Белый из тех, кто рожден «одиночкой». Люди ему, может быть, вовсе и не нужны. Н. В. Валентинов (Вольский), в молодости очень близко знававший Белого, как-то, смеясь, говорил мне: «Белый ведь как ангел – голова, кудри, плечики, начало туловища, а дальше ничего нет!». При всем том Белый был, конечно, замечателен и «уникален». Интересно рассказывает о тогдашнем Белом Марина Цветаева. На Белого все «смотрели, верней: его смотрели, как спектакль, сразу бросая его одного, как огромный Императорский театр, где остаются одни мыши». Вот в Берлине они залетели куда-то, на какую-то большую высоту, на какую-то башню. «Стоим с ним на какой-то вышке, где – не помню, только очень, очень высоко, И он, с разлету беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

– Вас не тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка...) кувыркнуться?

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

– Ах! Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так, – сгибается под прямым углом, распластывая руки... – И еще лучше (обратный изгиб, отлив волос) вот так...»

Страшный «потрясатель основ российской империи», славословящий буревую стихию революции, скиф, «левый эсер», Белый в Берлине, увидав у Марины Цветаевой на столе фотографию царской семьи, схватил ее, говоря: «Какие милые... милые, милые, милые!.. люблю тот мир...»

В Берлине тогда Белый был в особо взвинченном и трагическом душевном состоянии. Прежде всего он сам не знал, возвращаться ему в РСФСР иль оставаться в эмиграции. В припадке душевной и духовной затормошенности (это его выражение) он вызвал тогда из Швейцарии свою жену Асю Тургеневу, антропософку, рьяную последовательницу Рудольфа Штейнера, «доктора», как раздраженно Белый назы-

вал его впоследствии. Правда, Тургенева где-то напечатала, что никогда «женой Белого» не была, что это все создало воображение Белого, но в Берлин приехала, и их встреча обернулась для Белого пущей трагедией. Ася в Берлине увлеклась совсем уж не антропософом «ни с какой стороны», поэтом-имажинистом А. Кусиковым, тогда приехавшим из Москвы, ни на Штейнера, ни на Белого вовсе не похожим. Так, встреча с Асей лишь усилила неуравновешенность Белого.

Выразилось это странно: в сумасшедшем увлечении танцами. Тогда в Берлине в любой пивной молодежь танцевала шибер, яву, джимми – это все прародители рок-энд-ролла. И Белый на старости пустился в отчаянный пляс – по пивным, по танцулькам. Он, конечно, подвел под это некую «философическую» мистику, так что Марина Цветаева назвала танцы Белого «христопляской». По-моему же, это было просто обыкновенное несчастье необыкновенного человека. Я, слава Богу, не видел танцующего Белого. И не жалею. Те, кто его танцы видели, говорили, что это было весьма тягостное зрелище.

И в то же время Белый в Берлине очень много работал: он выпустил новые редакции своих знаменитых романов «Петербург», «Серебряный голубь» и «Глоссалолию. Поэму звуков» (правильно – «Глоссолалия») в русском издательстве «Эпоха». В издательстве «Геликон» – «Записки чудака», «Путевые заметки», в парижских «Современных записках» опубликовал «Преступление Николая Летаева», выпустил несколько стихотворных сборников: «После разлуки», «Стихи о России», толстый том своих старых стихотворений и замечательную поэму «Первое свидание» (в издательстве «Слово»), опубликовал и множество статей, всегда двоящихся, как, например, «Культура в современной России» («НРК» № 1): «Культурная жизнь современной России представляет собой пеструю смесь противоречий и крайностей; красота перепле-

тается с безобразием, головные утопии с конкретнейшими достижениями в области искусства, забота о куске хлеба, одежде, дровах переплетается с мыслями о Вечности и Гробе; смерть и воскресение, гибель и рождение новой культуры – все это столкнуто...»

Как-то раз мы вместе с Белым вышли из редакции «НКР», жили мы примерно в одном районе, недалеко от Виктория-Луизенплац. На Тауенцинштрассе Белый показал мне кивком головы на какого-то седовласого немца в черной крылатке, проговорив: «Взгляните, настоящий рыцарь Тогенбург!» Мне пришлось «более-менее» согласиться. Когда мы дошли до дома Белого, он неожиданно проговорил: «Зайдемте ко мне, я хочу подарить вам мои книги!» Я поблагодарил. Мы поднялись в какой-то пансион. Комната Белого была завалена книгами. «Что вы хотите, чтоб я вам подарил?» Я не был скромен, взял два тома «Петербурга» и «Серебряного голубя». Белый присел к столу и надписал по-русски преувеличенно: «Дорогому и т.д.», хотя никаким «дорогим» я ему не был, но русские писатели (в противоположность иностранным) любят такие гиперболы. Я поблагодарил и вскоре ушел, ибо видел, что этот «жест» не должен длиться. Жалею, что книги Белого пропали; я их (вместе с другими ценными) дал «в залог» в Тургеневскую библиотеку в Париже, ибо денег у меня не было. А во время войны вступившие в Париж немцы увезли всю библиотеку в Германию, и она погибла там при бомбежке.[17] А была замечательная, основанная еще И. С. Тургеневым.

---

[17] Когда этот текст был напечатан в «Новом журнале», я получил письмо от эмигранта «третьей волны», который весьма сомневался, что Тургеневская библиотека погибла в Германии при бомбежке. Сомневался он потому, что воочию видел в Минской публичной библиотеке книги со штампом парижской Тургеневской библиотеки. Сие вполне в нравах Советов. Если эта драгоценная библиотека попала им в руки, то вместо того,

В Берлине Белый выступал несколько раз с публичными докладами. Публики всегда было много. Но когда Белый касался политических вопросов, начиналась несусветная какафония. Он готов был и проклинать большевиков и восславлять. И ничего понять толком было нельзя. И все, думаю, потому, что он сам не знал, куда же ему, Андрею Белому, в этой мировой катастрофе деваться?

Россия, Россия, Россия,
Безумствуй, сжигая меня!

Она его и сожгла. По-моему, Белый был безволен как ребенок, как юрод. Он умолял Марину Цветаеву, уехавшую из Берлина в Прагу, устроить ему там правительственную стипендию для дальнейшей литературной работы. И как это ни странно, сама столь непрактичная, Марина через кого-то устроила Белому и квартиру, и стипендию и с радостью послала ему телеграмму. Но телеграмма опоздала: *в этот день Белый уехал... в Москву.* Его «убедила» приехавшая а Берлин из Москвы Клавдия Васильева, старый друг по антропософским увлечениям, ставшая в Советской России его женой. Конечно, большевицкой Москве Белый вовсе не нужен, даже обременителен (антропософов большевики всех пересажали в тюрьмы и концлагеря). Но *факт отъезда* Белого из эмиграции в Москву был, разумеется, большевикам нужен. И проведен ловко. В Советской России Белый был вынужден писать несвободно, искаженно, представлять себя каким-то революционером, «родственным марксизму», и все написанное им там носит эту печать внутренней несвободы, рабства. условия

чтобы возвратить ее в Париж как собственность их «союзника», Франции, они украли ее. Но, естественно, поместили книги не в Москве и не в Ленинграде, а в Минске, куда доступ иностранцам фактически закрыт. Письмо находится в моем архиве.

жизни заставили Белого писать письмо советскому «прокурору Катаняну». Дошел Белый и до унизительного письма Иосифу Виссарионовичу; «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, заострение жизненных трудностей и бесплодных хлопот вызвало это мое письмо к Вам, если ответственные дела не позволят Вам уделить ему внимание, Вы его отложите, не читая...» Незадолго до смерти Белый написал письмо и «в Совнарком», все в заступничестве за преследуемых друзей-антропософов (и в частности, за свою жену Клавдию Николаевну Васильеву).

В «Новой русской книге» я напечатал литературно-критическую статью о творчестве Белого, но сокращенную. Полностью она вышла брошюрой в берлинском издательстве «Манфред». Знаю, что Белый ее в Берлине читал и она ему не понравилась. Да и не могла. А вот Владислав Ходасевич, встретив меня на улице, сказал: «Прочел вашу работу о Белом. По-моему, вы там верно что-то в нем нащупали». В те дни я увлекался эротическим подходом к литературе. Но когда позднее я написал такую же работу о Ходасевиче и ему о ней пересказала, уже в Париже, его старый друг Нина Ивановна Петровская (с которой я тоже дружил, и об этой «Ренате» из «Огненного ангела» я еще буду говорить), Ходасевичу это вовсе не понравилось. Статью о нем я долго не решался публиковать и напечатал только в Нью-Йорке в 1973 году, в своем сборнике статей «Одвуконь», да и то в смягченном и расплывчатом варианте, изменив заглавие (неудачно, по-моему). Первоначально она называлась лучше, но уж очень как-то «медицински». Не хочу даже приводить.

В связи с моей статьей об А. Белом – вспоминаю. После собрания в «Доме искусств» сидели мы как-то в ресторане у стойки бара: я, Ю. Офросимов, Ф. Иванов и художник Лазарь Меерсон. Были в хорошем настроении. Вижу – в глубине ресторана встали и идут к выходу (в нашу сторону) А. Толстой и

А. С. Ященко. Возле нас остановились. Присели на высокие стулья. Толстой сел рядом со мной и говорит: «Только вчера прочел, Роман Гуль, вашу статью о Белом. Верно. Очень верно прощупали, Вообще весь подход – верный. Искусство, конечно же, в основе своей – эрос». Я поблагодарил. Завязался разговор. Толстой, по-моему, был подвыпивши, очень разговорчив. «Вот, – говорит, – Макс Волошин. Я ведь Макса как облупленного знаю. Талант. Большой талант. Но, заметьте, все – эпика или... так, беспредметная лирика. А почему? Да потому лее, что у Макса...» (и Толстой довольно нецензурно рассказал о якобы неком анатомическом недостатке Волошина, причем показал на свой мизинец и дважды на свою голову).

Рассказ его вызвал сдержанные улыбки... «Ну, да, ну, да, – продолжал Толстой, – в этом же ведь все дело: «В дождь Париж расцветает, как серая роза» – прекрасно, совершенно прекрасно, но *любовной-то лирики* у него нет ни строчки... и *все поэтому...*» Мне захотелось подразнить Толстого, я сказал: «А знаете, Алексей Николаевич, о ком я сейчас пишу?» – «О ком?» – «О вас». Толстой как-то даже смутился (чего я в нем не подозревал). – «Ну, это вы бросьте, Роман Гуль, бросьте, у меня ничего интересного на эту тему нет... бросьте...» Я засмеялся. И Толстой понял, что я его «разыгрываю». Но он был прав, в его творчестве ничего интересного для эротического подхода к литературе не было. В особенности уж в «Аэлите» и прочей «коммерческой» литературе, чем он тогда занялся. А на самом деле я писал тогда о поэзии А. Блока (в ней, конечно, острейший материал!), только так и осталась в черновиках эта статья. Я охладел быстро к этому *подходу,* хотя, думаю, что в нем есть какая-то *несомненная верность.*

Часто в «НРК» приходил тишайший Борис Константинович Зайцев. С Ященко они были хороши по Москве. Иногда он заходил со своей энергичной, остроумной женой Верой Алексеевной. В Берлине Зайцев издал три тома своих старых

рассказов и пьес («Тихие зори», «Сны», «Усадьба Ланиных»). В «НРК» мое знакомство с Зайцевым было поверхностным. Позже, во Франции, я узнал его ближе, когда после Второй мировой войны мы оба работали в парижском «Союзе русских писателей и журналистов»: он председатель, я – товарищ председателя. Но это относится к главе «Россия во Франции».

Заходил в «НРК» Алексей Михайлович Ремизов, на которого всякому любопытно было посмотреть и которого всякому стоило послушать. Вроде карлика, угловатый, «футуристический», весь «сделанный», как и его проза – с завитками и завитушками. Конечно, Ремизов своеобразный прозаик и в литературе занял свое место, но я никогда не был поклонником его таланта; нравилась мне только его «Взвихренная Русь» (Временник 1917–1921 гг.). Ремизов – хитрюга и ловкач. Любил, чтоб о нем писали (хвалебно, конечно). Посему, наверное, вскоре и Ященко и я получили из его Обезвелволпала (Великой Обезьяньей Вольной Палаты) превосходные грамоты, удостоверяющие, что мы возведены в кавалеры 1-й степени сего фантастического, придуманного Ремизовым, ордена. Ященко – с заяшными шариками. А я – с васильками. Грамоты эти Ремизов писал сам на плотной бумаге удивительной, старинной славянской вязью со всякими выкрутасами и росчерками и неизменно подписывал: скрепил забеглый канцелярист Обезвелволпала Алексей Ремизов. Когда я потерял грамоту, А. М. прислал мне, уже из Парижа, «взамен чудесно пропавшей грамоты» – новую, замечательную, с возведением меня уже в «берлинские полпреды Обезвелволпала», с подписями мексиканского полпреда Д. Святополк-Мирского, парижского полпреда П. Сувчинского, а скрепил, конечно, забеглый канцелярист Алексей Ремизов. Эта грамота ездила со мной по всему свету, пока я не передал ее (вместе с другими документами) в пре-

красный русский архив и музей моего Друга Томаса Витни в Америке (Вашингтон, Коннектикут). Ремизов любил прибедняться, хныкать, жаловаться на беды жизни, но всегда жил неплохо, умел находить и издателей и почитателей; в годы эмиграции он ухитрился выпустить сорок четыре книги и в зарубежной печати опубликовал больше семисот отдельных опусов.

В Берлине у Ремизовых на Кирхштрассе я был как-то всего раз. Но мои Друг, художник Н. В. Зарецкий, очень любивший Ремизова как великого забавника, бывал у него часто, крепко дружил с ним и много о нем рассказывал. Так, оказывается, Ремизов у себя устраивал выдумки-игры. С гостями. И вот как-то после обеда Ремизов объявил, что сегодня будет игра в ревком. И обращаясь к своей жене, богатырской женщине необычайно полных форм, Серафиме Павловне, рожденной Довгелло, – сказал: «Ну вот, Серафима Павловна, стало быть, вы будете у нас – ревком!»[18] На что Серафима Павловна, обидевшись, ответила: «Я не хочу быть ревком, я хочу быть царица!» Так «игра в ревком» и не состоялась.

Одно время в Берлине Ремизов редактировал (вместе с Н. М. Минским) шуточный листок (в несколько печатных страниц) «Бюллетень дома искусств» и в нем печатал всякие фантастические штуки о братьях-писателях. Но некоторые из писателей (например, Е. Лундберг) на него за них обиделись, и листок прекратился на втором номере. Помню из него только заметку, как Н. Бердяев почему-то проглотил сливовую косточку и что из этого вышло. А о приехавшем в Берлин Борисе Пильняке сообщалось, что какие-то люди на каком-то собрании – с криком «Пильняк начинается!» – бросились друг на друга. Ремизов был хорош с А. Белым, Н. Бердяевым, М. Горьким.

[18] А. М. Ремизов с женой были на «вы».

Заходил (но не часто) в «НРК» старичок-живчик, в былом декадент-символист Николай Максимович Минский. Тот самый, стихи которого – «Тянутся по небу тучи тяжелые» и «Я боюсь рассказать, как тебя я люблю» – были положены кем-то на музыку и до революции обошли всю Россию как мелодекламации. Их у нас декламировали всегда на гимназических вечерах. Минский был еврей, хотя вид у него был самый русейший. В свое время злой критик «Нового времени» Буренин, который, говорят, своими жестокими статьями ускорил смерть чахоточного Надсона, написал эпиграмму на Минского: «Я в храм вошел /Ив храме замер / Там Минскому / Поставлен мрамэр!».

Довольно часто заходил в «НРК» Михаил Андреевич Осоргин (Ильин). Он был выслан в числе сорока четырех ученых и писателей из Советской России. У Осоргина тогда, в 1921 году, вышла книжка «Из маленького домика», и о ней похвально написал в «НРК» Ф. Иванов. Но об Осоргине я тоже буду говорить в главе «Россия во Франции», ибо в Париже я его лучше узнал. Да и свои главные вещи в эмиграции Осоргин написал в Париже.

Бывали и сотрудничали в «НРК» П. Муратов («Образы Италии»), С. Юшкевич («Леон Дрей»). Помню, как Юшкевич, большой, полный, седой, громогласно восторгался Сергеем Есениным, говоря: «Чтобы навсегда остаться в русской литературе, достаточно всего вот этих двух строк: «Словно я весенней гулкой ранью / Проскакал на *розовом коне*. Юшкевич считал, что «розовый конь» навеки вомчал Сергея Есенина в русскую поэзию. Это стихотворение Есенина действительно прекрасно: «Не жалею, не зову, не плачу». Но думаю, что в нем есть и лучшие строки.

Бывали в «НРК» художники Г. Лукомский, Б. Григорьев, Н. Миллиоти (Г. Лукомский много писал в нашем журнале), Зинаида Венгерова (вечная спутница Минского), А. Ветлугин

(В. И. Рындзюк, хлесткий, циничный литератор, автор, к сожалению, неудавшейся автобиографической повести «Записки мерзавца»), приехавшие на время из Советской России Б. Пильняк (давший в журнал свою автобиографию), имажинист Александр Кусиков (тоже давший автобиографию и прославившийся одной строкой своего стихотворения: «Обо мне говорят, что я сволочь!» – Алексей Толстой был в восторге от этой строки и хохотал над ней до упаду). Бывал и бежавший тогда из Советской России от надвигавшегося на него ареста Виктор Шкловский, он выпустил в Берлине «Ход коня» и «Сентиментальное путешествие», обе книги в «НРК» были обруганы – одна мной, другая Ю. Офросимовым. Но Шкловский вскоре дал «задний ход коня» и вернулся в Советскую Россию, чтоб стать там настоящим сталинским подхалимом. Бывал приезжавший из Советской России профессор А. Чаянов, выдающийся ученый, во времена Временного правительства назначенный товарищем министра земледелия, при большевиках – член коллегии Наркомзема. Чаянов был и писателем-фантастом («Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» и многие другие). Через несколько лет по сфабрикованному ГПУ процессу Чаянова арестовали, а позднее расстреляли.

Бывали и сотрудничали в «НРК» профессор Ю. И. Айхенвальд, профессор Сергей Гессен (философ, педагог), профессор Г. Г. Швиттау (экономист, кооператор), профессор Б. П. Вышеславцев (философ, «Русская стихия у Достоевского» и многие другие), профессор Лев Карсавин (философ, автор многих трудов за рубежом, после Второй мировой войны схваченный КГБ и погибший в ГУЛАГе в 1952 г.). Бывали в «НРК» приезжавшие из Советской России – Борис Пастернак и Влад. Лидин. Приехавший в Берлин Вл. Маяковский дал свою автобиографию: «Я поэт – этим и интересен». Из писателей, живших в Советской России, в «НРК» присылали и

печатали статьи – Э. Голлербах, Андрей Соболь, Инн. Оксенов, Н. Ашукин, А. Яковлев и др. Приходили – старый бытовик-писатель С. И. Гусев-Оренбургский, профессор Н. Н. Алексеев, приват-доцент И. Пузино, высланный из Советской России известный архивист А. Изюмов, Наталья Потапенко (дочь известного романиста, сама беллетристка), профессор А. А. Байков, высланный, мой московский профессор по «Энциклопедии права», члены «Цеха поэтов» – Н. Оцуп и Г. Иванов. Заходил– высланный профессор Ф. А. Степун, тогда автор известных «Писем прапорщика-артиллериста», а позднее замечательных воспоминаний «Бывшее и несбывшееся», заходил левый эсер А. Шрейдер (тоже высланный, но этих «скифов» выслали как-то странно, они были скорее – полувысланные), заходила приезжавшая на время из Советской России поэтесса Мария Шкапская, выпустившая в Берлине книгу «Барабан строгого господина», приходил старый профессор С. Гогель (Ященко говорил, что в России о нем ходила острота: среднее между Гегелем и Гоголем), экономист Д. Лутохин (высланный). Часто бывали мои приятели – Ю. Офросимов, Ф. Иванов, Вл. Корвин-Пиотровский, совсем молодой А. Бахрах. Приходила беллетристка А. Даманская, А. Дроздов, Глеб Алексеев и множество других, всех не упомню. Раз – вот это я запомнил – пришла в «НРК» писательница Е. Выставкина, подлинная дама хорошего общества, недавно вырвавшаяся из Советской России, писавшая так же «легко», как Н. Лаппо-Данилевская («Русский барин»), которая тоже была в Берлине и я с ней встречался, Ященко знавал Выставкину по России, но принял ее почему-то грубовато и среди разговора вдруг спросил: «А скажите пожалуйста, сколько вам лет?» – На эту бестактность Выставкина с улыбкой ответила: «L'état – c'est moi». Такой элегантный дамский отпор понравился Ященке, и он разразился своим обычным громовым хохотом. В Берлине Выстав-

кина выпустила роман «Амазонка», который кто-то вдребезги разругал в «НРК».

Помню, как пришел в «НРК» Игорь Северянин со «своей тринадцатой». Глядя на него, я невольно вспомнил его вечер в Политехническом музее в Москве в 1915 году, когда я был студентом. Громадный зал Политехнического ломился от публики, стояли в проходах, у стен. Северянин напевно читал, почти пел (надо сказать, довольно хорошо) стихи из «Громокипящего кубка», из «Златолиры», и эти уже известные публике стихи покрывались неистовыми рукоплесканиями: аплодировала неистово молодежь, особенно курсистки. В Северянина из зала летели цветы: розы, левкои. Поэт был, как говорится, на вершине славы. И в ответ молодежи пел:

Восторгаюсь тобой, молодежь!
Ты всегда, даже стоя, идешь!
И идешь неизменно вперед!
Ведь тебя что-то новое ждет!

Еще сильнее – гром рукоплесканий, сотрясающий зал. А сейчас передо мной в кресле сидел Северянин, постаревший, вылинявший, длинное бледное лицо, плоховато одет. Его «тринадцатая» – серенькая, неприметная, тоже бедно одетая.

В тот страшный день, в тот день убийственный,
Когда падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Это «военные» стихи Северянина 1914 года. И вот «он привел нас в Берлин». Северянин в Берлине дал «поэзоконцерт». Публики было мало. Когда он читал свои старые, когда-то «знаменитые» стихи, это было еще туда-сюда. Но когда читал новые – было совсем нехорошо:

Народ, жуя ржаные гренки,
Ругает «детище» его:
Ведь потруднее сбыть керенки,
Чем Керенского самого!

Как раз в это время на побывку в Берлин приехал В. Маяковский. Они встретились. И даже выступали вместе на каком-то вечере Русского студенческого союза. С ними выступал и Кусиков. Но я не пошел, ибо эгофутурист превратился в ничто, а футурист, «наступив своей песне на горло», преобразился в сытого казенного пропагандиста. В 1914–1916 годах их можно (и даже интересно) было послушать. Но в 1922 в Берлине – трудновато. Все-таки, по старой знаменитости, Игорь Северянин издал тогда в Берлине в русском издательстве Отто Кирхнера книгу стихов «Падучая стремнина».

Кто бывал в «НРК» очень часто, почти ежедневно, так это Иван Сергеич Соколов-Микитов. Он скончался в СССР в 1975 году, и в каком-то советском журнале о нем писали как о «старейшем советском писателе». «Старейший» – возможно, он умер на девятом десятке. Но чтоб И. С. Соколов-Микитов был «советским» – опровергаю.

В Берлине 1920-х годов я его хорошо знал, часто встречал. Выше среднего роста, крепко сшитый (чуть-чуть горбился), лицо всегда густо заросшее темным волосом (но это не борода, а некая темная щетина), небольшие хитро усмехающиеся глаза, ушедшие в подлобье. В облике И. С. было что-то не славянское, а скорее татарское, хотя он был чистейший русак. Как писатель Соколов-Ми китов шел за Пришвиным: хороший кондовый русский язык, прекрасные описания природы, деревни, охоты, рыбной ловли, рек в разливе, лесной тишины, запахов полей. Но это и все. Круг внутренней темы И. С, был очень узок: людей в их душевно-психологическом разрезе у Соколова-Микитова не было. И здесь он сдавал

Пришвину. Пришвин был человек образованный. Соко-лов-Микитов – примитивный интуит. Образования у него, я думаю, никакого не было. По душе он был не только очень, но разочень русский: «Мы – русские, какой восторг!» Ни на одном нерусском языке он не читал и не говорил ни слова. (Вспоминаю Чехова: «Из всех иностранных языков владею только русским!») И за границей Микитов *увидеть* ничего не мог (да и не хотел). И правильно сделал, что в 1923 году вернулся на свою землю – в Смоленщину.

Из русских писателей Соколов-Микитов не просто любил, а обожал, боготворил, обожествлял Бунина, так же как Саша Черный. Бунин, мне казалось, это знал и в разговоре со мной, в Париже, как-то сказал: «Рад, что вы оцениваете его прозу, я ее тоже очень люблю, а многие ее не чувствуют», Константин Федин, с которым Соколов-Микитов в СССР был дружен, говорил мне в Берлине, что у Микитова в комнате всегда висит портрет Бунина. В Берлине И. С. очень дружил с Ремизовым, это по той же линии истого русизма. По Берлину я вспоминаю Соколова-Микитова почти всегда пьяноватым (вполпьяна). До эмиграции он служил матросом торгового флота, в эмиграцию попал по какой-то случайности и чувствовал себя тут как рыба на песке – вот и выпивал не в меру, хотя все мы тогда выпивали неплохо.

Был И. С. страшно хитер и наглухо скрытен, о себе говорил мало, почти ничего, о своих убеждениях (а они у него были!) и подавно помалкивал. Только раз, в сердцах, когда мы оба (в компании) здорово выпили, у него сорвалось, вероятно, заветное. Обращаясь ко мне, полупьяный, он резко, даже зло, вдруг проговорил: «Вот вы все о какой-то там своей свободе, о демократии талдычете, плетете, а на что она нам? Да ни на что! Нам что нужно? – и раздельно, как гвозди вбивая, произнес: – *Нам новый Иван Грозный нужен! Вот что нам нужно!*» Что у трезвого на уме – у пьяного на языке. Вырвалось

это у И. С. честно, из самого нутра. И сразу оборвался, как бы жалея, что высказался. Федин мне тоже о Микитове много рассказывал. Поэтому-то я ни в какого «советского» Соколова-Микитова и не верю. Знаю: коммунизм он ненавидел.

Как он продержался в СССР без репрессий? Это уж его умелость, мужичья хитринка. К тому же он держался все «на периферии», странствуя то с полярниками на Север, то в Сибирь, то родная глухомань Смоленщины, в столицы наведывался не часто. Повторяю, И. С. был хитер как лис, скрытен, как волчья яма, по-мужицки недоверчив ко всему. А описательный его талант был несомненен, к тому же без всякой социальности и политичности, он и держал его в так называемой советской литературе. Так я думаю.

В «НРК» Соколов-Микитов часто приходил потому, что был большим другом Ященко. Где и как они подружились, не ведаю. Только дружба была крепкая. И Ященко прощал Микитову всевозможные полупьяные шутки. Помню, раз пришел Соколов-Микитов вполсвиста. Ященки нет, он сел за его стол, чего-то там рылся, пересматривая корректуру и... ушел. А потом, уже перед печатью номера, Ященко вдруг увидел среди «книг, поступивших для отзыва» в последних, готовых к печати, сверстанных листах жирно набрано: А. Ященко. Астры. Мемуары. Берлин. 1922. Ященко просто взревел от негодования. – «Роман Борисович, что это такое?» – Я смотрю. – «Не знаю, говорю, когда я читал этого не было». А Ященко вдруг: «А Соколов-Ми китов тут был?» – «Был как-то, недавно». – «Ну, я знаю, это его дело! Я ему дам! Я ему покажу!» – И вдруг, как в театре, – звонок. Отворяю дверь: Иван Сергеевич собственной персоной и навеселе. Ященко на него, как зверь: – «Это ты, Иван Сергеевич? Ты?» – «Что я?!» – «Да эти «Астры» тут набраны!?» – Но в ответ Соколов-Микитов заливается хохотом, еле выговаривая: «Да разве это плохо?! «Астры»? Мемуары? Из красивого прошло-

го!» – И Ященко вдруг принялся вместе с ним хохотать. Так друзья и помирились на хохоте.

Из рассказов Федина в Берлине о Соколове-Микитове я знал, что в СССР он женился, что у него родилась дочь, знал, что жена психически заболела. Федин говорил, что злоязычная Ольга Форш удивлялась его дружбе с Микитовым: «Ну Константин Александрович, ну как вы можете с ним дружить? Не понимаю. Ведь он же... мерин...» И над этим форшевским «мерином» Федин смеялся.

Ященко в «НРК» очень рекламировал Соколова-Микитова, о нем печаталось, что он что-то готовит, что-то выпускает: повесть «Заря-заряница», повесть «Нил Мироточивый», повесть «Прорва» – но никаких этих повестей в природе так и не оказалось. Было издана книжка для детей в издательстве «Грани» в 1922 году – «Кузовок», потом очерки «Об Афоне, о море, о Фурсике и прочем» и «Сметана», северные русские сказки по записи Ончукова. И это все. Я о его «Афоне» писал, хваля. А в 1923 году И. С. Соколов-Микитов был уже не в Берлине, а у себя на Смоленщине. Из возвратившихся и занявших положение в советской литературе писателей-эмигрантов только он и Толстой, кажется, умерли естественной смертью. Обычно писатели-возвращенцы кончали тюрьмой, концлагерем или самоубийством (М. Цветаева, Д. Святополк-Мирский, С. Лукьянов, Глеб Алексеев, Г. Бенус и другие). Правда, кое-какие журналисты-стукачи выживали.

В 1921 году а Берлин приехали меньшевики. Одни были высланы, другие – выпущены Лениным подобру-поздорову. До высылки кое-кто из них посидел в Бутырках. Приехали: Ю. Мартов (Цедербаум), Р. Абрамович (Рейн), Ф. Дан (Гурвич), Д. Далин (Левин), Б. Двинов (Гуревич), Г. Аронсон, М. Кефали (Камермахер – милейший человек), Б. Сапир, С. Шварц (Монозон), А. Дюбуа, Б. Николаевский и другие.

Меньшевики создали заграничную делегацию партии с. д, (меньшевиков). Очень скоро стали издавать в Берлине журнал «Социалистический вестник», просуществовавший за рубежом больше пятидесяти лет (в Берлине, Париже, Нью-Йорке), пока не умер последний меньшевик. Основать меньшевикам журнал в Германии было легко: они интернационалисты – и помогла братская германская социал-демократическая партия, которая (кстати сказать) тогда правила страной.

– Вот, Александр Семенович, – помню, как-то сказал я Ященке, – хорошо быть меньшевиками, не надо нигде искать никакого издателя, куда ни приедут – везде братская социалистическая партия.

– Да, только для этого надо сначала сидеть по тюрьмам и пребывать в ссылках, благодарю покорно, – засмеялся Ященко, – нет, я уж предпочитаю искать издателя.

В 1922 году к нам в «НРК» пришел Б. И. Николаевский. Он был очень высок, широк, крепок, тогда очень худ, в лице что-то как будто башкирское (он уфимец). Был Б. И. сыном священника, вообще кондового духовного звания, только вот он подгулял, став меньшевиком-начетчиком. Тогда у Б. И. была редкая русско-интеллигентская бороденка. Голос, не гармонирующий с ею мощной внешностью, – высокий тенор (особенно смех!). Впрочем, и у железного канцлера Бисмарка голос (говорят историки) был такой же. Только-только вырвавшийся из Бутырок Б. И. по виду был *типичнейший* русский революционер (хоть позируй для передвижников: «Не ждали...»).

Б. И. повел с Ященко разговор о возможности его сотрудничества в «НРК». Ященко – с удовольствием. И сразу договорились, что Б. И. будет давать обзоры советской литературы. Это была, конечно, ерунда, ибо для художественной литературы у Б. И. «уха» не было. Но и Ященко ли-

тературно не был чуток. И Б. И. стал давать в «НРК» эти самые обзоры, подписываясь Б. Н-ский (и еще как-то).

Позднее я понял, почему пришел в «НРК» Б. И. Конечно, не для «обзоров». Тогда русская эмиграция (а ее насчитывали два-три миллиона душ или больше), рассыпавшись по всему миру – в Европе, Северной Америке, в Южной Америке, в Австралии, в Азии (на Дальнем Востоке), везде сразу же стала издавать русские газеты и журналы (и строить православные церкви). Все эти газеты и журналы приходили в «НРК». Думаю, не совру, сказав, что русской печати выходило тогда двести-триста названий[19]. Почта заваливала нас,

Я бегло просматривал, вырезал кое-что для «НРК» и охапками выбрасывал остальное в мусорный ящик. Раз это увидел Б. И. Не преувеличу, сказав, что на лице его изобразился *ужас.* – «Роман Борисович, что вы делаете!? Бы все выбрасываете!?» – «Ну, да, а что же с этим делать?» – «Да что вы! Что вы! Это же неоценимая вещь! Ради Бога, не выбрасывайте ничего, все оставляйте для меня, я буду приходить и все забирать!» Я был так глуп, что чистосердечно не понял, зачем это все Борису Ивановичу.

Дело в том, что во мне нет (а уж в молодости и подавно не было!) архивных страстей. У Бориса же Ивановича это была всепожирающая, главная страсть всей его жизни. Он уносил из «НРК» вороха русских газет. И позже (когда я работал в архиве Николаевского над своими книгами «Азеф», «Бакунин», «Дзержинский», «Тухачевский» и другими) я увидел, что Б. И. из этих охапок газет сделал. Я в восторг пришел от множества ценнейших папок с газетными вырезками. Кого и чего тут только не было! Конечно, не из одних этих газет Ни-

[19] Желающим установить точную цифру рекомендую обратится к ценному библиографическому труду М. В. Шатова в 4-х томах «Half a Century of Russian Serials». Russian Book Chamber Abroad. New York, 1972.

колаевский создал *уникальный* русский архив, единственный в мире. Он тащил все отовсюду. И сколько людей – писателей и политиков – впоследствии пользовались архивом Б. И. Николаевского, который с удовольствием предоставлял свой архив для работы. Недаром, когда немцы вступили в Париж, они в первые же дни бросились на розыски «архива Николаевского» и захватили почти все. Замечательный архив Б. И. пошел в Германию и погиб там при бомбежках Германии союзниками. Только небольшую часть, зарытую Николаевским где-то во французской провинции, он, приехав во Францию после Второй мировой войны, отрыл, а потом ездил по Германии в поисках остатков своего архива. Но в Америке Б. И. создал вновь замечательный русский архив, который в последние годы его жизни перешел в Гуверлайбрери, в Калифорнии.

Я не встречал ни у кого такой архивной страсти и понимания архивного дела, как у Б. И. Николаевского. Причем в добывании архивных материалов у Б. И. было, так сказать, – «все позволено». Как-то уже в Нью-Йорке я и Б. И. пили чай в скромной квартире на Бродвее у И. Г. Церетели. И И. Г., любивший всякие «остроты», говорил: «Бот, Р. Б., вы, конечно, знаете архивную страсть Б. И. и то, что некоторые обвиняют его даже в возможности приобретения им чего-нибудь для архива путем похищения?» И Церетели продолжает, смеясь (и мы оба смеемся!): – «Но если даже так, то ведь это же – *страсть.* А если страсть, то что же вы хотите? Почему похитить любимую женщину можно, а похитить книгу нельзя? Страсть всегда есть страсть... и с ней ничего не поделаешь...» Пошутили, посмеялись.

Но в «НРК» я был свидетелем такой вспышки страсти Б. И. Я говорил, что под редакцию издательство Ладыжникова отвело нам одну комнату в квартире на первом этаже, где были сложены какие-то старые, уже непродающиеся книги и

какие-то большие пакеты. Два таких пакета лежали даже на кухне, где мы обычно мыли руки. Архивных страстей во мне не было, и на эти пакеты я не обращал никакого внимания. А оказывается, на пакетах кем-то было начертано «Мандельштам». И Николаевского эта фамилия сразу привела в волнение. Он предположил, что это может быть архив умершего эмигранта эсдека Мандельштама, которого он по меньшевицким святцам, конечно, превосходно знал. И оказался прав. Я не видел, как Б. И. аккуратно вскрыл пакеты, и – о боги! – он увидел подбор книг по революционному движению, да таких, что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Б. И. вошел ко мне в редакционную комнату с двумя книгами в руках. Ященко не было. «Роман Борисович, – сказал Б. И., – там на кухне в двух пакетах книги социал-демократа (Б. И. произносил по старинке – «социаль») Мандельштама. Никому они тут не нужны, только пропадут зря. Я возьму эти две книги?» – «Борис Иванович, – сказал я, смеясь, – вы у меня спрашиваете? Но книги же не мои, и я ни разрешения дать не могу, ни запретить вам не могу». – «Ну и ладно, вы только помалкивайте». И я увидел Бориса Ивановича – «в страсти». В течение недель двух-трех пакеты Мандельштама все худели, худели, а потом перестали существовать. В кухне стало просторнее. По существу это было, конечно, похищение. Но по сути дела – правильное. Тут в кухне пакеты бы пропали, ушли бы, может быть, в мусор. А в архиве Николаевского – книги пошли во всеобщее пользование, к радости создателя архива (и, быть может, даже к радости покойного Мандельштама: в настоящие, хорошие руки попали).

О Б. И. Николаевском я буду еще много говорить во всех трех частях книги, ибо дружески общались мы и в Берлине, и в Париже, и в Нью-Йорке (пока здесь не оборвались все наши отношения, но по мотивам не человеческим, а политическим). Б. И. мне очень помог своим архивом, да и не только

архивом, он мне много помог и в жизни, и потому я вспоминаю его только добром (несмотря на разрыв в Америке).

Из общения же с Б. И. в «НРК» вспоминаю еще только одну сцену. Пришел как-то к нам Николаевский. Ященко был в веселом расположении духа и, оглядывая богатырскую фигуру Николаевского, говорит: «Ну и здоровенный же вы экземпляр! Я меньшевиков таких что-то никогда и не видел. Они все какие-то дохлые». – Б. И., улыбаясь: – «Имеются и не дохлые». – «Да вот вижу, – и Ященко вдруг встал из-за стола. – Ну, давайте-ка поборемся, кто сильнее». И они схватились. Стол был опрокинут, стулья отлетели в стороны, лицо и лысина Ященко побагровели. И все-таки Николаевский грохнул его на диван. Ященко поднялся. «Ну и здоровенный же вы бык! Вот вам и Второй Интернационал!» – смеялся он, тяжело дыша. И Николаевский задохнулся: победа над Ященко была нелегка, кубанец был тоже здоровенный, и уфимцу пришлось с ним поднатужиться.

Письмо Максимилиана Волошина

Этот случай из бытия «НРК» я выделяю, ибо он не только литературно, но исторически важен. Был январь 1923 года. Во второй половине дня в дверь редакции позвонили. Я отворил. Передо мной – скромно одетая женщина с удивительно приятным, строгим лицом. Она спросила, здесь ли профессор Ященко? – «Да, пожалуйста». И она вошла. Ященке она была незнакома. Поздоровавшись, он предложил ей сесть (у нас было хорошее, большое кресло для посетителей) и спросил, чем может служить.

Я сидел за своим столом. Женщина эта – явная интеллигентка, правильное хорошее лицо, красивые карие глаза. И во всем ее облике – какое-то удивительное спокойствие. В руках у нее – кожаный портфель. Глядя на Ященко, она сказала не-

громким грудным голосом: «Я к вам от Максимилиана Александровича Волошина». От неожиданности Ященко даже удивленно-вопросительно полувскрикнул: «От Макса?!». – «Да, от Максимилиана Александровича». – «Значит вы из Крыма?» – «Я была у него в Коктебеле. И он просил меня передать вам письмо и рукопись в собственные руки». – «Очень, очень рад...» – бормотал несколько пораженный Ященко (он с Волошиным был дружен еще по России).

Женщина вынула из портфеля тетрадку и довольно толстую рукопись на отдельных листах. «В тетради – личное письмо вам, а это – стихи Максимилиана Александровича, которые он просит вас опубликовать за границей, где вы найдете возможным». Ященко все взял. Стал расспрашивать, как Волошин живет, давно ли она его видела, остается ли она за границей или возвращается назад. «Нет, я не остаюсь, – с легкой улыбкой сказала она, – я скоро уеду назад... может быть, я еще зайду, если разрешите». – «Конечно, конечно, буду очень рад...» – забубнил Ященко. Она встала, простилась с Ященко и кивнула мне. Я проводил ее до входной двери.

В редакции наши письменные столы были приставлены один к другому спинами. Так что мы сидели друг против друга. Конечно, стихи Волошина, переданные из рук в руки, меня заинтересовали. Но Ященко погрузился в чтение письма, оно было страниц в сорок-пятьдесят. А я – в какую-то редакционную работу. Но вскоре читать спокойно Ященко уже не мог, он то и дело восклицал: «Ужас!.. Черт знает что!..» И вдруг, прервав чтение, сказал: «Р. Б., это что-то невероятное, я прочту вам...» И стал читать письмо вслух. Волошин сначала писал, что посылает письмо и стихи с очень верным человеком. «Стихи о терроре» просит опубликовать там, где Ященко сочтет правильным, так как «здесь» они опубликованы быть не могут. Дальше Волошин описывал свою жизнь в Коктебеле во время гражданской войны и после нее, когда в Кок-

тебель приехал «очищать Крым» важный посланец Кремля Бела Кун, поселившийся в доме у Волошина.

Известно, что Бела Кун, венгерский еврей, коммунист, в гражданской войне руководитель интернационалистических отрядов, ходил в Кремле на самых верхах. И вот – после занятия Крыма красными прибыл туда, чтобы произвести жесточайший террор. Перед отъездом в Крым Бела Кун цинически заявил: «Товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым, пока там останется хоть один белогвардеец». Бела Кун приехал не один. С ним «на руководящую работу» (как официально выражаются большевики) приехала «Землячка», псевдоним-женщина (Розалия Семеновна Залкинд), большевичка с 1903 года, фурия большевизма, не имевшая никакого отношения ни к «пролетариату», ни к «беднейшему крестьянству», а происходившая из вполне буржуазной еврейской семьи. Эта гадина была кровава и беспощадна так же, как и Бела Кун, и Троцкий.

В Крыму верховный руководитель террора Бела Кун и его напарница Землячка расстреляли больше ста тысяч (!) бывших военнослужащих (белых), которым сначала была «дарована амнистия». Для процедуры расстрела составлялись списки, но они были недостаточны, и «остряк» Бела Кун приказал всем, всем, всем бывшим военнослужащим под угрозой расстрела зарегистрироваться «для трудовой повинности». И вот по этим-то спискам для «трудовой повинности» Бела Кун с Землячкой и повели массовые расстрелы. Спаслись единицы из незарегистрировавшихся и сумевших бежать из Крыма. Впоследствии такие марксистско-ленинские массовые убийства людей перешли в Китай, в Камбоджу, во Вьетнам, в Эфиопию. И к Гитлеру. По свидетельству Раушнинга, «фюрер» среди близких людей говорил, что он «многому научился у марксистов».

Макс Волошин в письме к Ященко необычайно сильно описывал эти кровавые крымские дни. Волошин писал, что он и день и ночь молился за убиваемых и убивающих. Дальше шло что-то – «потустороннее». Он писал, что они много и долго разговаривали с Бела Куном и у них установились какие-то «дружеские» отношения. Чем Волошин покорил Бела Куна? Вероятно, душевной чистотой. По письму, Бела Кун сошелся с ним настолько, что разрешал Волошину из «проскрипционных списков» вычеркивать одного из десяти. Волошин описывал, каким мучением для него было это вычеркивание «десятого», ибо он знал, что девять будут зверски убиты. Волошин писал, что в этих кровавых проскрипционных списках он нашел и свое собственное имя, хотя ему и не надо было регистрироваться, как человеку штатскому и не белому. Но его имя вычеркнул сам страшный новый друг – Бела Кун. Боюсь утверждать, но, по-моему, Волошин писал, что Бела Кун иногда присутствовал при молитвах Волошина за убиваемых и убивающих.

Письмо было потрясающее, больше чем страшное и какое-то метафизическое. Оно произвело сильное впечатление и на Ященко и на меня. Мы пропустили время обычного окончания работ. И когда я пришел домой, мама взволнованно сказала: «Почему так поздно? Я уж волновалась...» Моя мать, Ольга Сергеевна, вместе с нашей няней Анной Григорьевной Булдаковой в 1921 году бежали из Советской России (пешком). Но о ее побеге я расскажу особо.

А сейчас – два слова о судьбе исторического письма Волошина. Ященко читал его многим, почти всем, кто приходил в редакцию: Толстому, Соколову-Микитову, Эренбургу, Николаевскому и другим, кому бы я на его месте никогда бы не стал читать. В редакции он его не оставил, а взял с собой. Но однажды, придя в «НРК», Ященко стал взволнованно рыться в папке с корреспонденцией, в ящиках стола, везде. И

наконец проговорил: – «Вы представляете себе, письмо Макса пропало!» – «Как пропало?! Ведь вы же его взяли с собой?» – «Да, взял, а вот не нахожу: ни у себя (все перерыл), ни здесь... украли...» – мрачно добавил Ященко. В этом виновато было, конечно, легкомыслие Ященки. Копии он не снял и чересчур уж рекламировал письмо Макса. Так это письмо и кануло в Лету. Страшно грустил об этом Б. И. Николаевский, говоривший: «Ведь это же совершенно уникальный исторический документ! И как мог Александр Семенович так легкомысленно его потерять!»

«Стихи о терроре», переданные одновременно с письмом, Ященко опубликовал в очередном, февральском, номере «Новой русской книги» (НРК, февраль, 1923). Позднее «Стихи о терроре» вышли книгой в берлинском русском «Книгоиздательстве писателей», основанном типографщиком Евгением Гутновым и редактировавшемся Глебом Алексеевым.

В СССР в так называемой «Библиотеке поэта» (М. Волошин. Стихотворения. Изд. 3-е. Л., 1977) стихов Волошина о терроре, конечно, нет и никогда не будет. Приведу хотя бы два стихотворения М. Волошина о терроре, переданных тогда из рук в руки А. С. Ященке:

Терминология

«Брали на мушку», «ставили к стенке», «списывали в расход» –
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» –
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «кроили лампасы»,

«Делали однорогих чертей».
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,
Чтоб разорить и поднять на ножи
Армии, царства, народы.
Всем нам стоять на последней черте
Всем нам валяться на вшивой подстилке
Всем быть распластанным – с пулей в затылке
И со штыком в животе.

Террор

Собирались на работу ночью. Читали
Донесения, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку,
Вечером при свече
Вызывали по спискам мужчин, женщин,
Сгоняли на темный двор,
Снимали с них обувь, белье, платье,
Связывали в тюки.
Грузили на подводу. увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голодных
По оледенелой земле,
Под северо-восточным ветром
За город, в пустыри.
Загоняли прикладами на край обрыва,
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы,
Приканчивали штыком.
Еще не добитых валили в яму,
Торопливо засыпали землей,
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город, домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам

Жены, матери, псы,
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть.

Через много лет в Нью-Йорке, когда я работал в «Новом журнале», ко мне пришел поэт и журналист Александр Браиловский и передал для печати рукопись поэмы Волошина «Дом поэта», написанной уже в 1926 году. В поэме есть некое косвенное упоминание о пребывании Бела Куна в доме Волошина и о том, что имя Волошина было в проскрипционном списке.

И *красный вождь,* и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, зашиты и совета.
Я ж делал все, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять.
И сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках *собственное имя.*

Я рассказал Браиловскому историю получения «Стихов о терроре» и письма Волошина о пребывании у него Бела Куна и предложил, что все это добавлю к его краткому предисловию к поэме. Он согласился.

Остается сказать об убийцах. Не знаю, приезжал ли Троцкий в «очищенный для него» Крым. Кажется, нет. Его очень скоро, с полным позором для такого Робеспьера, Сталин выбросил на Принцевы острова, а потом в Мексике убил ледорубом сталинский агент, испанец Меркадер. Злом злых погублю. Троцкий вполне заслужил такую смерть. Так же кончил и Бела Кун. В ежовщину Сталин его «шлепнул» в каком-то чекистском подвале. Только Розалия Семеновна расцвела: при Сталине с 1939 года по 1943 была заместителем

председателя Совнаркома СССР и членом ЦК ВКП (б). Да к тому же удостоилась награждения двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. Вот так Розалия Семеновна Землячка-Залкинд! А отдала черту душу только в 1947 году, семидесяти одного года от роду.

Бегство матери из Советской России

Где-то я читал, что знаменитый итальянец Джузеппе Гарибальди всегда носил с собой портрет своей матери. Портрет этой красивой женщины он иногда вешал над своей кроватью. Однажды вошедший в комнату с удивлением спросил его: «Кто это?» Гарибальди с улыбкой ответил: «Mamma mia». Вот так же я и брат любили свою мать.

О том, что мы внезапно увезены из Педагогического музея, мать узнала из газет. В чужом Киеве она осталась одна. Правда, жила она у близких людей, у Высочанских. В небольшом домике на Лукьяновке жили; моя тетка Е. К. Высочанская (старшая сестра отца), ее муж милейший А. Г. Высочанский, полковник артиллерии в отставке, их единственная дочь Валерия (Леруся, как мы ее с детства звали) и старый друг Высочанских А. Д. Похитонова, дочь в былом известного генерала. Никаких заработков у жителей этого домика не было. А это был страшный 1919 год военного коммунизма, террора и полного разорения всей страны.

Диктатор Украины (председатель Совнаркома), бывший долголетний эмигрант, социалист-интернационалист, болгарин из румынской Добруджи, никак не связанный с Россией Христиан Раковский в Киеве жил во дворце бывшего миллионера Могилевцева, и на его парадной лестнице стояли пулеметы. Перед зданием ЧеКи, в которой «работали» Лацис и Португейс, часовые, развалясь, сидели в национализированных «буржуазных» креслах.

Киевские школы были без учителей, больницы без лекарств, дома без отопления, магазины без товаров, у жителей были хлебные карточки, но хлеба не было, и обитатели многоэтажных домов стояли в очередях во дворе к единственному водопроводному крану, чтобы получить немного воды. В киевских садах и парках деревья рубили на дрова. Изнуренный террором, голодом, сыпняком Киев превратился в великую коммуну нищих. Жизнь этих нищих управлялась декретами, мандатами, ордерами, мобилизациями, реквизициями, уплотнением, выселением и... расстрелами. Списки расстрелянных «в порядке красного террора» печатали в органе ЧеКи «Красный меч», газетке, никогда еще не виданной в мире; чекисты за всякое противление грозили усилением террора.

Голод, бездровье, безводицу, солдатские постои и все испытания, которым властвующая чернь подвергала русскую интеллигенцию, – мать, тетя Лена, А. Д. Похитонова, Леруся и престарелый Алексей Григорьевич в домике на Лукьяновке переносили достойно. Жили тем, что выменивали на еду не Бог весть какие еще оставшиеся вещи.

Продрогшая, полуголодная, в туфлях, сшитых из лоскутов какого-то старого ковра, моя мать ежедневно шла на Еврейский базар, чтоб у приезжих окрестных крестьян выменивать скатерть, простыню иль полотенце на какую-нибудь еду. На Еврейском базаре шла теперь древняя меновая торговля. Сытые краснощекие бабы из подкиевских сел и скупые на слова их мужики у голодных горожан за картошку, за хлеб, за молоко брали – юбки, обивку с кресел, зеркала, гардины, графины, стулья, ножи, столы, даже ночная посуда шла в деревню как горшки для каши. Так, чтоб просуществовать, «торговал» весь когда-то богатейший город, так торговала вся Россия. И какой-то остроумец пустил словцо, что это и есть «национализация торговли», когда вся нация «торгует».

Но когда у обитателей маленького домика на Лукьяновке почти уже ничего не оставалось для меновой торговли, все они (кроме Алексея Григорьевича) разошлись на работу по чужим людям. Мать пошла в услужение к жившей неподалеку старухе. У старушки оставалась еще всякая заваль на мену, а главное, был сад с огородом, что в великую эпоху коммунизма было несметным богатством.

Став прислугой за все мать, носила на базар яблоки, стирала белье, мыла полы, убирала дом, работала в огороде и готовила на восьмерых буденновцев, стоявших постоем у тихой старушки. Эти удалые, нахрапистые парни тоже помогали жить. С кладбища, разрушая жилища мертвых, они воровали деревянные кресты и могильные ограды и, распиливая их, создавали дрова. В эту лютую зиму киевляне так спасались от замерзания.

Тогда, в 1920 году, я жил в Берлине, а брат под Берлином, работая на каменоломне. На воскресенье он приезжал ко мне. Мы, естественно, говорили о матери и судьбы ее не знали. Жива ли? Киев раз шесть, кажется, менял власть: петлюровцы, большевики, белые, опять большевики, поляки, опять большевики. В разговорах о матери у меня с братом были разногласия. Сережа был импульсивный и говорил, что мы должны бросить все и попытаться пробраться к матери в Киев. – «Чем же, ты думаешь, мы маме поможем? Тем, что нас – если даже и пустят! – арестуют или расстреляют как белых?» – «А что же ты хочешь делать?» Я отвечал, что хочу прежде всего установить письменную связь с мамой. В те времена это было, конечно, не просто, ибо регулярного почтового сообщения не существовало. Еще из Гельмштедта я послал первое письмо – с оказией – через Швецию.

Мое письмо, из которого мать узнала, что ее сыновья живы, старший – шахтер на соляной шахте, а младший – дровосек в брауншвейгском лесу, – мать читала и перечитывала на

своей работе в нетопленом детдоме. Счастье этой вести было велико, но смешивалось со страхом и даже ужасом: а вдруг из этих немецких шахты и леса вздумают возвращаться к ней, в мертвый Киев? И в одну из зимних ночей, когда плакали некормленые ребятишки детдома, мать решила: уйду к ним, к сыновьям. Как? Пешком из Киева в Германию? Да. И это решение стало жизнью матери, благодаря ему она как будто даже жила уж не в затерроризированном, голодающем Киеве, а где-то гораздо ближе к сыновьям.

В Берлине почтальон принес мне наконец первое письмо матери от 16 августа 1920 года. Она писала: «...родные мои, только мысль, что вы живы, дает мне силы тянуть жизнь. Ради вас все мне кажется легким, и то, что вы живы, сторицей вознаграждает меня за эти два года <…> много пережито, но все ничто в сравнении с тем, что наступит день, когда я вас увижу <...> В декабре нас очень обокрали – все ваше платье, которое я так берегла, украли <...> В прошлом году была больна два месяца, и день, в который получила ваше письмо, был первым днем моего выздоровления, температура с этого дня стала нормальной...»

После первого письма (хоть и не часто) ответные письма матери стали приходить. Эти письма были в чудовищно грязных конвертах, склеенных клейстером то из каких-то бумаг киевской консистории, то из бумаг окружного суда. Почтальон-немец со страшным удивлением смотрел на самодельные конверты и неведомые марки, и раз от имени заведующего почтовым отделением попросил подарить их для почтового музея. Я подарил.

Мать писала: «...я жила у одной старушки, теперь пришлось уйти от нее, так как нет теплой обуви и одежды, и я опять поселилась у Высочанских. Работаю иглой, хожу по домам и беру работу к себе <...> только мысль о вас привязывает меня к жизни, если б я могла вас увидеть <...> но об этом

нельзя даже мечтать <...> Обо мне не волнуйтесь, как-нибудь проживу. Господи, что бы я дала и какие бы муки перенесла, лишь бы вас увидеть...». И в другом письме: «...живу по-прежнему, зарабатываю тысячу в день, и едва-едва хватает, чтоб не быть голодной. Работаю все – и шубы, и платья, и белье, и шляпы, все, конечно, приходится шить из старья <...> Нынешний год зима не холодная, но очень ранняя, в сентябре начались уже морозы. От холода в комнатах тяжело <...> но все ничего, лишь бы дожить до встречи с вами <...> мысль встретиться с вами заняла все мои помыслы, жду весны с нетерпением, по предсказаньям, весна будет ранняя...»

У Анны Даниловны Похитоновой от отца генерала осталась военная семиверстка со всеми дорогами, реками, селами, хуторами, лесами, местечками. Ежедневно, приходя с работы, мать заучивала наизусть путь своего побега из Киева до польской границы, выбрав, как верующая, направление на Почаевскую Лавру. Оставалось только ждать тепла.

Майским вечером, когда все уже на Лукьяновке зазеленело и в заглохших садах пели невесть откуда залетевшие соловьи, в калитку сада неожиданно вошла моя старая няня Анна Григорьевна Булдакова. Несмотря на теплынь – в валенках. В родном пензенском Вырыпаеве, получив письмо матери, Анна Григорьевна сразу поняла немудреный шифр и правдами и неправдами, с палкой и котомкой, добралась до Киева.

После первых слов радости Анна Григорьевна сразу сказала, что одну мать в этот побег не пустит, а пойдет с ней. И тут же стала разуваться и отпарывать подметки валенок, в которых принесла деньги. Из стоптавшихся за дорогу валенок к всеобщему огорчению керенки вынули до того промокшие и порыжелые, что мать, няня, все тут же принялись разводить плиту, сушить и разглаживать их утюгами. Принесла няня кое-что из остатков «буржуазного прошлого»: кое-какие кольца (с изумрудом в бриллиантах, с опалом в

бриллиантах, с бриллиантом в платине и другие), брошки (одну еще бабушки Марии Петровны, золотую старинную-престаринную) и довольно большой бриллиантовый кулон. Все это няня хранила в избе в Вырыпаеве.

И наконец в 1921 году пришло для нас самое радостное и самое тревожное письмо мамы: «...дорогие, родные мои, в субботу, 15 по старому стилю, я двигаюсь в путь к вам, вместе с Анной Григорьевной. Не предпринимайте ничего – вот моя к вам просьба. Если что-нибудь случится по дороге, не горюйте: ваша мать видела много счастья. Отправляюсь в путь с верой и надеждой на Бога. Когда вы получите это письмо, я буду уже в пути<...> сердце переполнено надеждой увидеть вас...»[20]

Девять-десять недель от мамы не было писем.

Небо, ветер, облака. Длинными волнами рябится пшеница. Мать и Анна Григорьевна идут от Бердичева по большой дороге, пылят по ней веревочными самодельными туфлями. В полдень под березами, обставшими шлях, набрали сучьев, со спины отвязали чайник, на костре вскипятили чай и, подкрепившись, зашагали дальше на село Чернобыль, скорачивая по проселочнику заученный матерью путь.

Странницы идут с палками, с мешками за спиной. Чтобы расплачиваться за еду, за ночлеги, за перевод через границу, в мешки натолкали отовсюду собранные полотенца, кофты, салфетки, простыни.

– Замучились? – говорит Анна Григорьевна, глядя на мать, – вон девки с поля идут, попросим мешки донесть, по полотенцу дадим.

И странницы садятся на придорожный пригорок, поджидая девок, ситцевыми пятнами вышедших с межи. Девки по-

---

[20] Все письма матери до сих пор хранятся в моем архиве в Йельском университете.

ют пронзительными голосами. Только подойдя оборвались, с любопытством рассматривая сидящих у обочины странниц. За полотенце, смеясь и давя друг дружку, девки кинулись к мешкам. И порожняком Анна Григорьевна и мать легко ступают за ними. На сельской тихой улице мать развязала мешок, расплатилась двумя полотенцами. В закате темнеет сельская пузатая церковь с высокой звонницей. «Может, просвирня аль церковный сторож пустят?» – говорит Анна Григорьевна и палкой постучала в дверь двухоконного, присевшего на бок дома.

– Кто там? – небыстро ответил за дверью женский голос, и на порог вышла женщина с гладко зачесанными волосами и закаченными рукавами на жилистых мокрых руках. – Входите, входите, – сказала просвирня, – странных как не пустить, только горе у меня, дочь хворая, в горницу-то не зову, тут уж разбирайтесь.

В горнице на деревянной кровати, надрывая грудь, кашляла девушка. Просвирня взялась раздувать самовар, и вскоре в темноватой прихожей, освещенной светом лампады, мать засыпала на лавке, и этот сон у просвирни был как никогда отдохновенен. «Мам... а мам... кто пришел... а?» – «Странные, Лиза, странные», – слышит, засыпая мать.– «Мам... а куда они идут?» – заливается легочный клокочущий кашель больной девушки. – «Далеко, Лиза, далеко...».

Звон к ранней обедне разбудил странниц. По церковному двору прошел священник. Зевая и крестя рот, на крыльцо кормить кур вышла просвирня. Застив ладонью глаза, глядит вслед уходящим странницам. Несмотря на шестьдесят четыре года Анна Григорьевна идет легко, отдохнула и мать. Проселочник стелется меж пшеничных полей, с них налетает духмяный ветер, а в полях тишина, только высоко трепыхается, словно не могущий улететь, утренний жаворонок. Знаток духовных стихир, Анна Григорьевна неестественным кре-

стьянским наголоском на ходу поет тропарь покровителю плавающих и путешествующих Николаю Угоднику, «Правило веры, образ кротости», как всегда певала тоненько-тоненько, по-монашечьи, странствуя по святым местам. Где только няня не побывала: в Сарове, в Троице-Сергиевой лавре, в Киево-Печерской лавре, в Иерусалиме.

Мать наизусть знает, что, пройдя Романов, им надо сворачивать на Миргород. Но – до Миргорода не дойти, устали. В Романове мать постучала в крайнюю хату, окошко приподнялось, выглянула повязанная платком баба с бельмом на глазу.

– Ночевать пустите?

Недружелюбно одним глазом оглядывая странниц, кривая баба не отвечала.

– Мы полотенце дадим.

– Идите, – сказала равнодушно, и слышно, как прошлепала к сеням, с шумом сняв щеколду, – только в хате-то местов нет, самих пятеро, под навесом переспите.

На рассвете баба хозяйски осмотрела полотенце и рассказала, как идти на Миргород.

Полями, лесами, межами, проселочниками, большими трактами уже давно идут странницы, делая в переход верст по тридцать. Растертые ноги лечат подорожником, недаром он и растет по обочинам дорог; иногда за день не встретят живой души, иногда от верховых, от подозрительных пеших, хоронясь, бросаются в хлеба. Раз испугались в поле двух вахлаков, один, оборванный, взлохмаченный, приостановился и с сиплым хохотом закричал: «Сёмка, а одна-то ще годится!» Молча, испуганно, не оглядываясь, уходили от них странницы.

После многих ночевок мешки поопростались, За долгий путь люди встречались разные, кто совсем не пускал ночевать, говоря: «Много вас теперь шляется, может, буржуи какие беглые скрываетесь», кто запрашивал и кофту, и

полотенце, с ними торговались, а многие ничего не брали, кормили и указывали дорогу.

В полевой тишине Анна Григорьевна поет: «Волною морскою скрывшего древле», а мать идет с думами о своих детях. После многих недель пути, подходя к Полонному, мать волновалась: тут надеялась узнать, где лучше перейти границу. Но за неделю жизни в Полонном ни у кого не узнала, годно ли для перехода заученное ею по семиверстке направление. А задерживаться нельзя, в волнении и бездействии только падают силы, и мать решила все же идти на авось по зарубленному в памяти пути, жившему в мозгу ломаной линией, уводящей из России.

Перед уходом пошли на реку искупаться. Медленная река дремала на солнце. У мостков бабы полоскали белье, колотя его вальками. С мостков, завизжав, в реку бултыхнулась баба и поплыла, Купаясь, баба перекликалась с товарками и наконец, выскочив, схватив одежду, согреваясь, побежала по траве. Возле поодаль раздевавшихся матери и Анны Григорьевны она приостановилась и, присев на корточки, стала одеваться.

– Ох, тут глыбко, не суйтесь, у нас прошлый год тут парень утонул, – проговорила баба, останавливая пошедшую было в воду мать. – А вы нездешенские?

– Нездешние, мы на богомолье идем, – и под влияньем все того же томящего страха за правильность взятого пути мать неожиданно для самой себя вдруг добавила: – В Почаев хотим, да вот не знаем, как границу-то перейти.

– Ааа, – таинственно протянула баба и, сделав значительное лицо, подсела поближе. – А я вам вот что, я вам человечка найду, через границу водит, – зашептала, – брат мой, если хочете, проведет и дорого не возьмет.

Прямо с реки мать пошла к бабе. Бабина хата темная, в красном углу смуглая божница с картинками святых. У печи

что-то стругает хмурый солдат, бабин брат, контрабандист, ходящий за товарами в Польшу. Выслушав зашептавшую сестру, он не изменил хмурости лица и, исподлобья оглядев мать, пробормотал, что раньше чем через неделю не пойдет. Но с ним мать и не согласилась бы идти, уж очень жуток, и мать сказала, что неделю ждать не может.

– Как хочете, ступайте сами, только востреи глядите, у границы-то там не милуют, – проговорил солдат и опять застругал, взвивая фуганком стружки.

Веря в свои молитвы, которыми горячо молились на ходу по лесам, по дорогам, по ночам в чужих хатах, мать решила завтра же идти на Шепетовку по заученному по карте пути. Последнюю ночь к Полонном мать молилась как никогда. А в желтоватой мути рассвета, с полегчалыми мешками странницы уже шли в даль новой дороги. Но чем ближе к границе, тем путь опаснее, состояние томительней, иногда пугались случайного крика, подозрительно глянувшего встречного, часто бросались в хлеба, скрываясь от пеших, конных, от проезжавшей телеги.

Когда дошли до лесного железнодорожного пути на Шепетовку и пошли по шпалам, вздохнули свободнее: встречных нет, тишина; только раз издалека показалась дрезина и на ней будто вооруженные. Что было сил странницы сбежали под откос, залегли в чащобе. Были слышны голоса, гул колес, и опять все напоено лесной тишиной. За день увидели только один перегруженный пассажирский поезд, из которого какой-то ребенок замахал им белым платком.

К вечеру, дойдя до железнодорожной будки, решили попроситься переночевать у старика сторожа. Старик принес сена, настелил на полу, и, осмелев, странницы рассказали, что идут в Почаев на богомолье, да боятся пограничников.

– На Шепетовку ни-ни, упаси Бог, не идите, – проговорил старик, – в каждой хате солдаты, вы полотна держитесь и ле-

сом на Славуту берите, а на Шепетовку ни-ни, пропадете, верное дело.

Мощные славутские леса ревут под натиском ветра; сосны, ели ушли в поднебесье. Приостанавливаясь, странницы собирают ежевику, костянику, на полянах не раз кипятили чайник, закусывали и снова идут по ревущему, многовековому лесу. В отрочестве мать мечтала вместе с набожной теткой Варварой (сестрой отца, Сергея Петровича) пойти богомолкой по России, но пошла вот только так на Почаев, в революцию.

В лесу Анна Григорьевна поет: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», а мать полна смятенных воспоминаний. То увидит на керенском балконе отца за чаепитием и словно услышит его ласковый голос: «Ольгунюшка» – и слезы позднего умиления подступают к горлу; то вспоминает рано умершего мужа, жизнь с ним в пензенском доме, в именье, как каждый год вот этой же дорогой через Варшаву ездили в Германию в Бад-Наухейм, а потом, после лечения мужа, ехали всегда в Париж на несколько дней, а из Парижа в Пензу возвращались через Италию, Вену, с непременным заездом в Москву, чтоб в Художественном увидеть новые постановки, в Большом послушать Шаляпина и вечером с друзьями семейно заехать к цыганам в загородный «Яр». Теперь – вокруг матери стонет славутский лес. На груди у нее, под кофтой, еще бабушкин медальон с выцветшими фотографиями мальчиков трех и четырех лет, и она никак не может представить себе их шахтером и дровосеком; и горло сжимается ощущением близких слез.

Когда в Славуте странницы вошли на базар, матери стало не по себе от пестрого базарного гомона. Ржанье лошадей, крикливые бабы, красноармейцы, мычанье коров, евреи в лапсердаках, еврейки в париках. Странницы решили не оставаться тут, а пересечь Славуту. На окраинной славутской улице, играя в чижик, бегали ребятишки. уж виднелись поля,

когда из проулка на странниц вдруг вышел скуластый, толстоплечий человек в рыжем френче. «Комиссар», – пронеслось у матери, и сердце захолонуло, а френч остановился, коротко крикнув:

– Документы есть?!

– Есть, – ответила мать и от взгляда скуластого стала снимать со спины мешок. Мгновения ужасные, документов никаких, кроме киевских ничего не значащих бумажек. Стараясь сдержать овладевавшую телом дрожь, сама не представляя, что сейчас будет, мать хотела лишь дольше рыться в мешке, оттягивая ужасную минуту ареста. Комиссар хмуро покуривал, пытливо взглядывал то на мать, то на Анну Григорьевну, и вдруг из того же проулка стремглав выбежал молоденький красноармеец, бешено закричав:

– Да иди же ты! Готово!

Наотмашь отбросив бычок, выпустив стаю соленых ругательств по адресу матери, что не может найти документы, комиссар бросился бегом, и в проулке они оба скрылись. Только тогда Анна Григорьевна увидела, до чего бледна еле державшаяся на ногах мать, завязывавшая дрожащими руками мешок.

– Заарестовал бы, Бог нас хранит, – зашептала Анна Григорьевна.

Почти бегом женщины заспешили из Славуты и в вечернем поле на пшеничной меже затерялись. Вечер, ветер, тишина. Кругом та же бесконечная Россия, безразличные к человеку жестокие вечерние поля, сине-черные леса и катящаяся дорога. Только чем ближе к границе, тем сильнее гудят телеграфные провода, тем напуганней люди и страшнее идти, словно подошвы пристывают к земле.

Под селом Панора дорогу пересекла ржавая, мутная речушка, вместо моста перекинуто бревно, и на берегу валяются две слеги для перехода. Ими опираясь о дно, мать и Анна

Григорьевна перебрались через темную речку, и в улице, у крайней хаты заметив у завалинки копавшуюся девочку, мать спросила ее, не знает ли, где б пустили переночевать?

Девочка повела их вдоль темной улицы, доведя до хаты, где возилась в сенях простоволосая баба. Чтоб расположить хозяйку, мать в сенях же развернула перед ней оставшиеся юбку и платок, и, взяв за ночевку эти драгоценности, баба даже растрогалась.

– Вы мене слухайте, – шептала она, сидя на лавке со странницами, – у мене крестник есть, парень тихий, все тропы знает, вы ему заплатите, он и переведет вас через границу. – И баба тут же послала девочку за крестником, а пока его ждали, хозяйка все хвалила юбку, все примеривала ее к себе, поглаживая ладонями.

– Сама бы в Почаев пошла, жизнь-то какая, – завздыхала вдруг баба. – У мене вон зять маво мужа убил. Сам курицы не зарежет, а вот поди ты, попутал сатана, поссорились, схватил ружье да и убил враз, – и вдруг неожиданно, длинно, ручьисто баба заплакала, утираясь подолом.

В хате родилось молчание, но в сенях кто-то завозился. Мать обрадованно подумала, что пришел крестник, но вместо него в хату вошел низкорослый мужик какого-то забитого, несчастного вида, и мать почему-то сразу поняла, что это и есть убийца. Оглядев странниц, мужик поздоровался даже как-то застенчиво. Баба тут же отвела его вглубь хаты, заговорив с ним полушепотом, но мужик сразу же отмахнулся.

– Я таких делов не делаю, – сказал строго, – за такие дела нонче пропасть можно, пускай Сенька хочет и переводит. И вдруг непреодолимый ужас охватил мать; болтливая баба, убийца-зять, какой-то крестник, все стало страшно в полутемной избе; выдадут, донесут, захотят ограбить. Зять стал возиться у печи, что-то доставая из темной бочки, а баба все

расспрашивала мать, лезя в душу, кто, да откуда, да к кому идут, да когда вернутся?

Тощий квелый паренек лет семнадцати с рано выцветшим лицом вошел в хату в сопровождении девочки. Выслушав мать, он деловито помолчал, потом сказал, что пробраться через границу можно, только с опаской, пограничники в хлебах залегают, ловят и арестовывают.

– Да мы ночью прокрадемся, – проговорила Анна Григорьевна.

– Ночью ни-ни, убьют, иттить середь дня надо, – со знаньем дела произнес паренек, – когда солнце высоко, солдаты на обед уходят, вот и надо иттить.

За пятьсот рублей керенками и две оставшиеся в мешке Анны Григорьевны простыни паренек согласился вести через границу России. Эту последнюю в России ночь нужно было выспаться, собраться с силами, но несмотря на усталость от четырехсотверстного пути мать заснуть не могла. То стонал на печи убийца-зять, то, переворачиваясь с боку на бок, чешась от блох, кряхтела баба. В темноте сеней мать лежала переполненная волненьем, все молилась Богу, и какими-то обломками громоздились воспоминания счастья прожитой жизни, с которыми прощалась, ужас возможного ареста, лица сыновей, все наплывало жестоко изнуряющей смесью бодрствования и сна и опять уходило в темь ночи.

Еще только свежел восток, а тихий паренек уже вошел в хату. С сильно бьющимся сердцем, подрагивая от холода рассвета и от волнения, мать вышла. «С Богом, с Богом», – шептала в сенях заспанная баба. Паренек проворно пошел шагов на двести вперед. Странницы еле поспевали за ним, все боясь упустить из глаз его пеструю рубаху. Как только он оборачивался, делая условный знак, мать и Анна Георгиевна бросались в пшеницу, залегая в ней, а когда раздавался его

далекий свист, выходили и опять шли за его мелькающей, удалявшейся рубашкой.

Мать все чаще взглядывала на поднимающееся солнце, оно уже высоко, стало быть, и граница близко. Сейчас, собрав все силы, надо решиться на самое страшное – перейти границу России.

Паренек манит, подзывает к себе; странницы заспешили.

– Нельзя мне дальше, теперь одни ступайте, – зашептал он, – вон луг, видите, за лугом хата под новой крышей, там и стоит польский кордон. Да вы не бойтесь, идите спокойно, быдто вы никуда и не бегёте и никакой границы тут нет, а луг – луг он и есть, – и взяв уговоренные керенки, паренек заспешил от странниц.

Зеленый луг в полевых цветах на опушке леса – это и есть та заветная граница России, о которой, изучая карту, думала мать. Вот она дошла, она перед цветущим лугом, за которым уж Польша, поход кончен, но нужно еще самое страшное усилье: среди бела дня, у всех на виду перейти этот зеленый в белых ромашках, в кашке, в желтом зверобое, простои и словно заколдованный луг. Это – жутко. Кругом лесная тишина, никого. А матери чудится, будто каждый куст, дерево, рытвина, поросль – все живое и все стережет ее каждый шаг.

Как сказал паренек, мать и Анна Григорьевна по лугу стараются идти «быдто спокойно», но ноги не слушаются, почти бегут, сердце их торопит. Мать чувствует, что это нехорошо, что это может стать подозрительным, но удержаться уж нет сил. Сейчас луг кончится, с ним кончится и Россия. Еще каких-нибудь пятьдесят шагов, и они за границей, и надежда увидеть сыновей будет настоящей. Кругом знойная полуденная тишина, ни звуков, ни голосов, только лесной звон в ушах. И вдруг где-то совсем рядом, с русской стороны: «Эй, тетки, тетки, куда вы, кудааааааааа?!» Мать и Анна Григорьевна бросились бегом, а вслед все летит длинный крик и хохот.

Это посмеялся сидевший у дерева на русской стороне дуралей-пастух.

Но они уже бежали по Польше, хоть им все и не верилось, что это не Россия. И только когда навстречу раздались польские голоса и из кустов вышли человек шесть пограничников, женщины поняли, что они уже не в России.

– В комендатуру! – проговорил старший, и от польского языка, чужой формы, чужих лиц повеяло чем-то, от чего беспомощно сжалось сердце.

Пограничники вели их к той хате под новой крышей, что показывал паренек с русской стороны. В хате их оставили наедине с хитроглазым пожилым хуторянином. «А вы, чтоб в комендатуру-то не вели, заплатите им, тут завсегда так делается», – подмигнул хуторянин. У него мать и обменяла керенки на злоты, он их и передал старшему команды; на границе двух держав хитроглазый хуторянин был и адвокатом, и маклером, и менялой. Но как только женщины вышли из дома, молодой солдат с отталкивающим лицом куницы двинулся за ними.

– Он вас до дороги проведет, – проговорил старший.

Увешанный винтовкой, револьвером, гранатами, одетый с иголочки солдат повел женщин напрямки по чаще; они еле продираются, а чащоба березняка все гуще, глуше. Мать замечает, что поляк сворачивает туда, где продраться почти нет уж возможности, и обеих женщин все уверенней охватывает страх. Еще в Киеве рассказывали, что пограничники убивают и грабят перебежчиков. Издали слышен только стук топоров да голоса дроворубов, и будто от этих голосов солдат и сворачивает все глубже в чащу.

Анна Григорьевна с матерью переглянулись.

– Где же дорога? – остановившись, проговорила мать.

– Идите! – яростно закричал солдат.

Но женщины не идут. Мать видит разгоряченное, хищное лицо мальчишки, узкие рысьи глаза словно ощупывают ее, словно ищут, где на ней спрятаны деньги,

– Я к сыновьям иду! – проговорила мать. – У вас тоже мать есть, куда вы нас ведете? Отпустите! Я вам все отдам! – и мать полезла за деньгами под кофтой.

Это движение могло их только погубить, ободрив еще не решавшегося на убийство мальчишку. И словно поняв это, Анна Григорьевна вдруг с палкой рванулась к нему и, как сердитая старуха ругает на деревне хулигана, закричала, замахиваясь палкой: Подлец ты! Креста на тебе нет! Деньги взяли, ограбили, а ты еще, негодяй, хочешь! Нехристь ты окаянный! – наступала с палкой вне себя от ярости Анна Григорьевна.

От ее ли криков, от донесшихся ли совсем недалеко звуков топоров, но солдат оторопел и, выхватив у матери из рук деньги, бросился в чащу. Женщины с испугом ждали: будет стрелять иль уйдет? Но бегущими, замирающими шагами солдат ломил кусты. И им вдруг стало слышно пенье птиц, которого раньше будто не было. Из последних сил продираясь сквозь кусты и мелколесье, странницы пошли на стук дроворубов...

На двенадцатой неделе полной неизвестности о судьбе матери я в Берлине наконец получил ее письмо... с польскими марками: «...вот уже две недели, как мы в Почаевской Лавре, куда пришли пешком... путь был труден, но он позади... даже думать боюсь о минуте встречи, так страшно, что после трех лет она вдруг не исполнится, когда уж так близко...»

Таким эмигрантам, как мать и Анна Григорьевна, из Польши в Германию в 1921 году переехать было трудно. Я ездил в Полицайпрезидиум, все объяснял, просил, но чиновники есть чиновники, получал ответ, что мать может приехать временно и только если на въездных бумагах будет

польская виза «с поворотом», то есть «с поворотом» назад в Польшу. «Закон есть закон, и ничего в законе изменить нельзя», – сказал мне наставительно толстый чиновник. Но мы закон обошли: помогли Станкевичи, самые близкие мне люди, я обо всем с ними советовался, и не раз Наталья Владимировна плакала над письмами моей матери.

Владимир Бенедиктович вдруг вспомнил, что в Варшаве в министерстве иностранных дел у него есть приятель (помоему, Лукасевич, точно не помню) и он заведует восточным департаментом. В. Б. написал ему частное письмо о побеге матери, обо мне, о нашей дружбе, прося поставить на бумагах матери это волшебное «с поворотом», заверяя, что мать никогда в Польшу не вернется. Благодаря этому письму матери обещали поставить «с поворотом». Но оно и не потребовалось, ибо «закон» был обойден с другой стороны.

Тут помогла Наталья Владимировна. В Берлин из Рима как раз к ней приехала близкая подруга – Белобородова, сестра известного художника-архитектора А. Белобородова, жившего в Риме. Когда Белобородова была у Станкевичей, Н. В. рассказала ей о побеге матери и о наших хлопотах. Белобородова приехала не одна, а со своим другом – итальянцем. И на отчаяние Н. В. сказала: «Знаешь, по-моему, Умберто может помочь, он очень дружен с вашим полицай-президентом. Пусть Гуль заедет к нам и все расскажет Умберто, а я его подготовлю».

Наутро я уже был у Белобородовой и Умберто в каком-то дорогом отеле, кажется, в «Адлон». Умберто был совсем не похож на обычный, в нашем представлении, тип итальянца. Это был некрасивый блондин, широченный, вероятно, человек страшной силы, походил на борца иль боксера. Причем – очень приветливый и веселый. Он попросил рассказать о всех бедах моей матери. Я рассказал. По его коротким вопросам и кивкам головы я понимал, что он уже все знает от Белоборо-

довой. Когда я кончил, он попросил написать имена и фамилии матери и няни, Я написал. Он взял листок, потом взял телефонную трубку, и начал говорить с... полицайпрезидентом. Конечно, разговор друзей пошел не о визе для моей матери. В трубку Умберто хохотал, они что-то вспоминали, от чего, вероятно, смеялся и полицайпрезидент. Умберто называл его на «ты». Наконец стали уславливаться об общем обеде в ресторане – на завтра. И только под самый конец Умберто сказал: «Да, у меня к тебе есть одна просьба». И Умберто очень кратко изложил дело моей матери. «Можешь ты это для меня устроить? Это очень хорошие и много пережившие люди». Ответа полицайпрезидента я не слыхал. Но Умберто проговорил: «Данке шён», – и они простились до завтрашнего обеда. Положив трубку и весело улыбаясь, Умберто повернулся ко мне: «Ну, вот, все сделано, послезавтра можете ехать в Полицайпрезидиум, и вам подтвердят, что виза вашей матери будет послана в Варшаву».

А дней через десять мать и няня сидели в моей крохотной комнате на Мейнингерштрассе, 11. Хочу рассказать об одном *чуде.* Оказывается, в Киеве мать долгое время страдала кровотечениями. Возможности пойти к врачу нет, бинтов нет, на бинты шли старые рваные простыни. А кровотечения такие, что «матрац промокал».

Перед бегством мама молилась (она была подлинно религиозна), чтоб Бог дал ей сил дойти до сыновей здоровой: ведь если в дороге кровотечения откроются – побег сорвется. Беря в свои молитвы, несмотря на отговоры родных, мать все-таки пошла. И произошло *подлинное чудо.* Во всем четырехсотверстном походе кровотечений не было. Но как только мама *дошла до цели* – до Берлина, – открылись страшные кровотечения. Известный петербургский хирург профессор Яковцов (ставший эмигрантом) сказал, что операция нужна немедленно. Сделал. Опухоль оказалась очень большой, но не злокаче-

ственной. Яковцов не понимал, как с такой опухолью мать могла пройти четыреста верст? А вот прошла!

Вспоминаю, на Страстной к заутрене мы пошли с матерью на Хауптштрассе в протестантский храм. Протестанты предоставили свой большой храм нашей православной церкви; тут, в Шёнеберге, жило много русских.

Храм был переполнен. Недалеко стояли Алексей Толстой с женой (Натальей Крандиевской) и сыном Никитой. Толстой несколько раз оборачивался, взглядывая на нас. А дня через три встречаю его на улице. Не успел поздороваться, как он, даже с каким-то восторгом: «Ну, Роман Гуль, видел в церкви вашу матушку, какое у нее замечательное лицо! Ну вылитая моя тетка Татаринова! Кто она рожденная?» Я сказал. «Ну ни дать ни взять моя тетка Татаринова!» В моей матери не было ничего от «дамы», тем более от «буржуазной». Она была – женщина, мать, человек. Красивой она не была, но в ней было нечто большее, чем «красота», в ней было благородство облика. У мамы были прекрасные карие глаза. Вот это-то благородство своим острейшим глазом и увидал Алексей Толстой. И мне это было приятно. О побеге мамы знали многие, в ежедневной газете «Голос России» о нем было подробно рассказано. Ко мне приехал репортер Б. Шенфельд-Россов, он все и написал.

Посольская церковь

Я не пишу историю русской эмиграции. Не мое дело. Хотя жаль, что она еще не написана. Но хочу, чтоб моя книга все-таки была неким *справочником* по истории зарубежной России. Разумеется, *мой* справочник будет субъективен. Это неизбежно, как почерк. Ведь я пишу о том, что *я. видел,* что *я чувствовал,* что *я пережил.* Но я дам не только (зарубежную) биографию мою и моей семьи, но и общий, чисто фактиче-

ский *фон*, который показал бы *декорации* зарубежной России, Расскажу, чему «недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил».

Каков же был русский Берлин? Начну с православных церквей. По числу их Берлин не мог сравниться с Парижем и Нью-Йорком, где православных церквей было множество.

В Берлине в 1920-х годах была домовая посольская церковь на Унтер ден Линден (пока в старинное здание русского посольства не въехал первый советский представитель, большевик А. А. Иоффе – тогда церковь уничтожили).

В посольскую церковь я ездил каждое воскресенье к обедне. Церковь всегда была полна молящимися. И в ней я впервые увидел бывшего члена Государственной Думы, «легендарного», крайне правого и крайне эксцентричного в своих думских выступлениях Н. Е. Маркова II-го. По лицу и фигуре он был очень схож с Петром Великим, увы! Роста столь же громадного, на голову выше всех стоявших в церкви, лицо энергичное, волосы подстрижены словно в кружалы. В эмиграции он был членом Высшего монархического совета и одним из тех, кто сразу поверил в чекистскую провокацию «Треста», что по всей Советской России будто бы уже раскинулась «мощная сеть» монархических организаций. Другую историческую личность я встречал часто после обедни. После литургии я обычно шел обедать в русский пансион фрау Бец. Фрау Бец, полнотелая, высокая, типичная немка, прекрасно говорившая по-русски, в двух шагах от Унтер ден Линден в своей квартире держала пансион. По воскресеньям за ее большим «табльдотом» сходилось много эмигрантов. Обеды были русские, вкусные, недорогие.

Среди обедавших я невольно обратил внимание на пожилого, с проседью, крепкого человека, с заклиненной седоватой бородкой, по-военному выправленного так, что если бы обедавшие и не обращались к нему «ваше превосходитель-

ство», я сразу бы определил его как военного. Штатский костюм сидел на нем, как мундир. Но генерал привлек мое внимание не внешностью, а сужденьями. Разговоры за столом шли, конечно, о политике. К «его превосходительству» обращались с вопросами. И всегда все, что говорил это генерал, было умно, остро, было видно, что генерал политически весьма ориентирован и со своим мнением. По войнам (мировой и гражданским) я знавал русский генералитет, и надо честно сказать, что наши генералы в подавляющем большинстве были политически невежественны (в противоположность иностранным военным). Недаром во время революции сам глава генерального штаба генерал М. В. Алексеев, ища патриотической поддержки среди левых, однажды обратился к социалисту-патриоту Г. В. Плеханову: «Георгий Валентинович, ваше слово, как старого социалиста-революционера, было бы...» Плеханов поправил генерала, и, думаю, на лице Плеханова отобразился «ужас» – чтоб его, «отца русской социал-демократии», назвали «старым социалистом-революционером»!.. Поэтому-то своей политической осведомленностью и удивлял меня кушавший со мной у фрау Бец генерал. Под конец я не выдержал и, уходя, спросил фрау Бец: «Фрау Бец, скажите, пожалуйста, кто этот генерал?» «А вы разве не знаете? – удивилась она. – Это же Александр Васильевич Герасимов!» Тут я (внутренне ахнув) понял, почему так умен и политически образован этот солидный генерал. Это – бывший начальник Охранного отделения генерал А. В. Герасимов, правая рука бывшего премьер-министра П. А. Столыпина, тот, кто мертвой хваткой схватил двустороннего предателя Азефа, заставив работать *только* на Охранное. И тот, кто спас Азефа от убийства эсерами после разоблачения, дав ему подложные документы и деньги.

Вскоре Б. И. Николаевский познакомился с А. В. Герасимовым. Оба они были великие знатоки русского революци-

онного движения, но... с разных сторон баррикады. Они стали встречаться и беседовать (очень интересно). Дома Б. И. записывал рассказы А. В. для себя. Но давал их читать мне. Эти записи мне очень пригодились при писании мной исторического романа «Азеф», в котором я вывел и генерала Герасимова. Герасимов опубликовал свои воспоминания по-немецки и по-французски. Жаль, что до сих пор они не вышли по-русски.

Из политических рассказов Герасимова Николаевскому я запомнил особенно один. Герасимов был близок к Столыпину в задачах внутренней политики. И вот Герасимов рассказал, что он и Столыпин разрабатывали законопроект о легализации всех русских политических партий, за исключением тех, которые прибегают к террору. По этому законопроекту (если б он осуществился) в России оказался бы такой политический спектр: Союз русского народа, октябристы, конституционные демократы (кадеты), народные социалисты, социал-демократы (меньшевики). История указывает, что если б подобный законопроект воплотился в общественной жизни, социалисты-революционеры отказались бы от применения террора. За это говорит их отказ от террора после объявления манифеста 17 октября 1905 года. Вне легальности остались бы лишь большевики-ленинцы с своими «эксами» банков. Думаю, что это был политически мудрый путь успокоения и нормализации общественной жизни России. Но... Николаевский спросил Герасимова: почему же проект не осуществился? На что Герасимов, махнув рукой, коротко проговорил: «Камарилья в зародыше удушила...» Эта тупая дворцовая камарилья, вершившая дела у трона, более всех виновна в страшной беде России. Она отстранила Витте (и не только его), убила Столыпина, создала распутинщину и сухомлиновшину и привела к катастрофе революции...

Кроме посольской православной церкви в Берлине был синодальный собор на Фербеллинер-плац, Свято-Владимирская церковь на Находштрассе и кладбищенская церковь при Александерхайм (построенная, кажется, императором Александром III). Вот – о церквах.

Книжное дело

Теперь о русском книжном деле в Берлине. Не моя задача давать какие-то *исчерпывающие сведения.* Я не библиограф. Дам, что могу – некий набросок общей картины. Начну с самого удивительного. Оказывается, один год в Германии русских книг вышло больше, чем немецких. Об этом мне рассказал мой берлинский издатель (и приятель) А. С. Каган («Петрополис»). Он издал в Берлине русских книг больше тысячи названий. Под маркой – «Петрополис», «Парабола», «Обелиск», «Гранит» (правда, этот «Гранит» был придуман только для книг «гранитного» Троцкого, вышвырнутого Сталиным на Запад).

А. С. Каган был выслан в числе первых сорока четырех ученых, писателей, журналистов. Он был проректор Петроградской сельскохозяйственной академии (бывший Лесной институт). Вместе с Я. Н. Блохом в Петербурге он вел издательство «Петрополис». «Петрополис» выпускал переводы иностранной классической литературы, из русской же – сборники стихотворений тогдашних выдающихся поэтов (петербуржцев): Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой, М. А. Кузмина, Ф. К. Сологуба, О. Э. Мандельштама, Г. Иванова и других, Гумилев, Мандельштам и Георгий Иванов даже литературно увековечили Я. Н. Блоха в «купно» ими написанной шутке;

На Надеждинской улице

Жил один
Издатель стихов

По прозванию
Господин
Блох.
Всем хорош,
Лишь одним
Он был плох
Фронтисписы очень любил
Блох.
Фронтиспис его и сгубил.
Ох!

И т.д.

Так вот, однажды в Берлине близкий знакомый А. С. Кагана – Я. Г. Фрумкин (петербуржец, адвокат, народный социалист, приятель Станкевичей, у которых я его часто встречал)[21] сказал, что один год в Германии русских книг вышло больше, чем немецких. Фрумкин работал в грандиозном немецком издательстве Ульштейн и мог быть в курсе. Но Каган не поверил ему и они заключили пари. Пари выиграл Фрумкин, показав соответственный номер «Börsenblat der Deutschen Buchhändlers». Думаю, об этом эмигрантском «рекорде» я сообщаю впервые.

Но чтобы читатель представил себе полный размах русского книгоиздания за рубежом, добавим: кроме Берлина русские книги выходили в Париже, Праге, Белграде, Риге, Софии, на Дальнем Востоке, в Южной Америке. Общую цифру «океана» книг русского Зарубежья назвать затруднительно. Желающих попробовать это сделать отсылаю хотя бы

---

[21] В связи с упоминанием Я. Г. Фрумкина вспоминаю рассказ Станкевича: в Петербурге в каком-то обществе Фрумкин как-то сказал, что П. А. Столыпин человек, конечно, *государственный*, а П. Н. Милюков, при всех своих качествах, *партийный* деятель. Это, говорят, дошло до П. Н. Милюкова и доброго чувства к Я. Г. Фрумкину не вызвало, хотя, по существу, Я. Г. был, вероятно, прав.

к двухтомной (толстенные тома!) «Библиографии русской зарубежной литературы (1918–1968). Составитель доктор Л. Фостер. Бостон, 1970». Работа эта никак не безгрешна, в ней пропущены ценные книги, есть неверности в именах, ошибки в псевдонимах.[22] Но общую картину «бушевания» русской зарубежной книги эта библиография все-таки дает.

Для России (если Россия когда-нибудь *будет*, в чем я далеко не уверен) зарубежная библиотека русских книг – беспримерная культурная ценность. Да это ценность и мировой культуры! Как же этот вклад удался, как произошел? Полагаю, *по легкомыслию*. Ведь в 20-е годы (главный размах книг) в эмиграции никто не думал – ни монархисты, ни социалисты, ни сменовеховцы, ни евразийцы, ни либералы, ни консерваторы, – что пресловутая ленинская РСФСР превратится в страшный тоталитарный бестиарий, который захватит полмира. Русские политики, мыслители, писатели все (по-разному) веровали, «большевизм не вечен», и надеялись, что в какое-то прекрасное утро что-то такое произойдет, что воскресит свободную Россию.[23] Поэтому *страшность* эмиграции

---

[22] Нет, например, ценнейшего труда генерала ген. штаба Н. Н. Головина «Российская контрреволюция в 1917–18 гг.», вышедшего в 12 книгах как приложение к журналу «Иллюстрированная Россия» (Париж); нет «Воспоминаний» С. Ю. Витте, нет В. Б. Станкевича «Судьбы народов России», нет М. Волошина «Стихи о терроре», нет Г. Ландау «Сумерки Европы», Б. Вышеславцева «Философия преображенного эроса», Г. Плеханова «Год на родине», Б. Пильнякя «Красное дерево», нет Н. Соколова «Убийство царской семьи», М. Горького «О русском крестьянстве», нет книг левых эсеров Штейнберга и Шрейдера. Много пропусков. Есть ошибки в именах, отчествах, псевдонимах. Например, если б я когда-нибудь подписался столь роскошно – «Менестрель», я бы позднее удавился с тоски. Мне же это приписано, но «Менестрель» (он же «Старый Театрал») это, увы, Борис Яковлевич Шнейдер, писавший в берлинской газете «Голос России», в журнале «Сполохи» и др.

[23] Когда я думаю об этом теперь, мне кажется, что из видных политических деятелей-эмигрантов, пожалуй, только П. Б. Струве, став правым

(о чем когда-то хорошо писал Герцен) так остро не ощущалась.

В этом смысле *легкомысленны* были все, А в особенности, эмигрант-обыватель. Он был каменно убежден в своей «чемоданной философии» – « в этом году нет, но в будущем обязательно вернемся!». Так этот обыватель и просидел всю эмиграцию «на чемодане». Ницше говорил: «Чтобы быть мудрым, надо быть легкомысленным». Вот неожиданно русские эмигранты и оказались «ницшеанцами».

Самым важным в русском зарубежном книгоиздании было то, что Зарубежье издавало книги, которые запрещались и даже изничтожались в ленинском царстве-государстве. Известно, что после Октября дело *просвещения Руси* Ленин отдал в руки своей жены Надежды Крупской. Эта духовно и интеллектуально весьма ограниченная «первая советская леди» (грубее – партийная дура-начетчица) издала один за другим три циркуляра, исключительно замечательных тем, что они ясно говорили всякому, что «бестиарий начался».

8 ноября 1923 года из Сорренто Максим Горький писал Влад. Ходасевичу, своему соредактору толстого журнала «Беседа», начатого Горьким в 1923 году в Берлине под редакцией М. Горького, В. Ходасевича, А. Белого, профессора Адлера, профессора Брауна: «Из новостей, ошеломляющих разум,

---

контрреволюционером, не верил ни в какое «прекрасное утро». Но это только потому, что автор первого Манифеста РСДРП в России в 1898 году, Струве работал с Лениным и лично *изнутри* знал эту, по его позднейшему определению, «думающую гильотину». «Властолюбие было у Ленина подлинной стихией его существа. Вся его личность была объята этой похотью <...> Большевизм есть система милитаристического террора, абсолютно несовместимая с самой ограниченной дозой свободы», – писал в 1920-х годах П. Б. Струве. Оттого же после октябрьского переворота, уже смертельно больной Г. В. Плеханов, лежа в постели, часто повторял своим близким: «...пропала Россия... погибла Россия...»: он тоже *изнутри* слишком хорошо знал Ленина.

могу сообщить, что <...> в России Надеждой Крупской <...> запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Л. Толстой, Лесков <...> и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать антирелигиозные книги». Все сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя». Сверх строки мною вписано «будто бы» – сему верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель». Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой».

В РСФСР, уже начавшей превращаться в орвелловский «Скотский хутор», это зверство оказалось *сущей правдой*. Но Максим Горький никакого заявления о «выходе из подданства» не подавал. Его журнал «Беседа» оборвался. Вскоре Горький воспел почившего Ленина, потом – «золотое сердце» почившего Дзержинского. «Нет, как неожиданна, несвоевременна (!) и бессмысленна смерть Феликса Эдмундовича! Черт знает что!» А в 1929 году по настойчивым приглашениям Сталина шумно, как мировая пролетарская ведетта, въехал из Италии в СССР – на побывку. В 1931 же году переехал навечно.

В «стране победившего социализма» М. Горький похвалил Соловки (концлагерь), восхвалил и Беломорканал: «Черти драповые, вы сами не знаете, что сделали!..» Так обратился гуманист Горький к убийцам-чекистам Френкелю, Фирину, Берману, Когану, Рапопорту, Жуку, за которыми «за каждым тысяч по тридцать человеческих жизней».[24]

[24] *А. Солженицын*. Архипелаг ГУЛАГ. Т. II. Париж: ИМКА-пресс, 1975.

Но довольно скоро в путаной голове и путаной душе Алексея Максимовича произошла какая-то осечка. Обнаружилось некое «мелкобуржуазное бузотерство». Тогда его, естественно, заточили под своеобразный «домашний арест» под неослабным присмотром секретаря-чекиста Петра Крючкова. Виктор Серж пишет, что Горький «по ночам плакал». Возможно. Говорят, будто Горький отказывался писать книгу о Сталине и будто даже захотел назад, в солнечное Сорренто. Но тут уж разговор короткий – в 1936 году приставленные к Горькому чекисты отравили его. Заодно отправили на тот свет, и его сына Максима. Официально это называется: «Горький был чудовищно умерщвлен бандой фашистских предателей и шпионов».[25]

Зато post mortem Сталин разрекламировал Горького хоть куда, как мог! Сталин любил возвеличивать покойников (Фрунзе, Кирова, Маяковского, Горького и другие): *с покойниками спокойнее.* И улица Горького, и город Горький, и литературная премия имени Горького, и колхозы имени Горького, и заводы имени Горького, и памятники Горькому. Только острословие Карла Радека не было осуществлено, Радек предлагал именем Максима Горького назвать всю эпоху – Максимально-Горькой. Собраний сочинений Горького в СССР не перечесть, его переиздаваемых книг не перечислить, хоть в них кое-что и фальсифицировано, что установлено зарубежной русской печатью. Но эка важность фальсификация чего-то в Горьком, когда вся история России для советского гражданина фальсифицирована и ничего не случилось.

И все же в зарубежной России есть одна книга М. Горького, которая никогда не появится в СССР. Это – «Несвоевременные мысли», собрание статей М. Горького из «Новой

---

[25] Горький. Материалы и исследования. Под ред. В. А. Десницкого. М., 1941.

жизни», когда он отчаянно сопротивлялся большевизму. Горький писал: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти <...> Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт <...> Рабочие не должны позволить авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат...» («Н. Ж.» 7(20) ноября 1917). «Народные комиссары относятся к России как к материалу для опыта <...> Реформаторам из Смольного нет дела до России, они хладнокровно обрекают ее в жертву всемирной или европейской революции <...> Мне безразлично, как меня назовут за это мнение о «правительстве» экспериментаторов <...> но судьбы рабочего класса и России – не безразличны для меня. И пока я могу, я буду твердить русскому пролетариату: тебя ведут на гибель, тобой пользуются как материалом для бесчеловечного опыта, в глазах твоих вождей ты все еще не человек...» («Н. Ж.» 10 (23) декабря 1917).

От Горького в зарубежной России осталась эта книга,[26] «Книга о русском крестьянстве» (изд. И. П. Ладыжникова, 1922) и шесть томов малоудачного толстого журнала «Беседа».

Я, к сожалению, не читал циркуляры Надежды Крупской. Библиографически редки. Но убежден, что Достоевский тоже тогда попал в запретные писатели. Помню, Федин и я завтракали в Берлине у Марии Федоровны Андреевой (вторая жена М. Горького, бывшая актриса МХТ), и за завтраком М. Ф. рассказала (только нельзя было понять, одобрительно или нет, скорее просто – «для информации»), что однажды при ней

---

[26] *М. Горький*. Несвоевременные мысли. Составление и примечания Г. Ермолаева. Париж, 1971.

Ильич, говоря о «Бесах», сказал; «Омерзительно, но гениально!». Позже я видел этот интересный отзыв в печати.

Естественно, что большевикам есть за что не любить Достоевского: он их предвидел как «бесов». Но и у меньшевиков Федор Михайлович был не в чести. Когда парижский толстый журнал «Современные записки», ведшийся редакторами эсерами, праздновал выход 50-й книги, берлинский «Социалистический вестник», ведомый Ф. Даном (Дана Плеханов называл «полуленинцем»), «внес диссонанс в редкий праздник левой эмиграции», упрекая «Сов. зап.» в интересе к вопросам религии и в излишнем внимании к Достоевскому. Долголетний редактор нью-йоркской еврейской газеты «Форвертс» Каган (в молодости русский революционер) говорил: «Меньшевики это маленькие большевики». А Петр Струве – «Меньшевики это те же большевики, но в полбутылках».

В то время как в Советской России по завету Ильича «Бесы» и «Дневник писателя» за все 60 лет бытия комдиктатуры отдельными изданиями ни разу не выходили, а полное собрание сочинений Достоевского (частичная реабилитация!) началось изданием лишь в 1926 году, в русском Зарубежье уже в начале 20-х годов появилось полное собрание сочинений Достоевского (изд. Ладыжникова), а «Бесы» и «Дневник писателя» отдельными книгами издавались не раз.

Еще более существенно, что русские мыслители и русские писатели Зарубежья за годы эмиграции создали большую литературу о Достоевском. И не формального или текстологического порядка, а разрабатывая *вглубь* миросозерцание, мысли, идеи Достоевского. Перечислю книги и статьи (те, что знаю): митрополит Антоний (Храповицкий) – две книги: «Словарь к творениям Достоевского» и «Достоевский как проповедник возрождения»; Н. Бердяев – книга «Миросозерцание Достоевского» и статья «Откровение о человеке в твор-

честве Достоевского»; Б. Вышеславцев – книга «Русская стихия у Достоевского» и статья «Достоевский о любви и бессмертии»; А. Бем – книги «Тайна личности Достоевского», «К вопросу влияния Гоголя на Достоевского», «О Достоевском», сборники статей под редакцией А. Бема – «Достоевский – гениальный читатель», «Грибоедов и Достоевский», «Пушкин и Достоевский», «Гоголь и Достоевский», «Толстой и Достоевский. Толстой в оценке Достоевского», «Фауст в творчестве Достоевского», К. Мочульский – книга «Достоевский. Жизнь и творчество» и статьи «Положительно прекрасный человек у Достоевского», «„Повесть о капитане Картузове“ Достоевского»; А. Лясковский – книга «Достоевский»; Лев Шестов – книга «Достоевский и Ницше» и в книге «На весах Иова» две статьи – «Достоевский и блаженный Августин» и «Киркегард и Достоевский»; С. Франк – статья «Достоевский и кризис гуманизма»; Вл. Ильин – статьи «Трагедия Достоевского», «Сверхлогика любви у Достоевского»; протоирей Г. Флоровский – книга «Достоевский и Европа», статья «Религиозные темы Достоевского»; мать Мария (Скобцова) – книга «Достоевский и современность»; Е. Лундберг – статья «О Достоевском»; Г. Мейер – статьи «Баратынский и Достоевский», «Достоевский и всероссийская катастрофа»; Н. Лосский – книга «Достоевский и его христианское миропонимание», статьи – «Личность Достоевского», «Зло и добро в произведениях Достоевского», «Ермилов и Достоевский»; И. Лапшин – книга «Эстетика Достоевского», статьи «„Братья Карамазова“ Достоевского и „Красный кабачок“ Бальзака», «Достоевский и Паскаль», «Метафизика Достоевского», «Комическое в произведениях Достоевского»; Ю. Никольский – книга «Тургенев и Достоевский».

Это, конечно, совсем не полный список работ по (да простится мне это слово!) *достоевсковедению* за рубежом. Но и он показывает, как русская культура Зарубежья противостояла

антикультуре ленинизма. Пророчески верно сказал Д. С. Мережковский в 1921 году в Париже: «Мы не в изгнаньи / Мы в посланьи!». История это подтвердила.

В начале главы я сказал, что в Берлине 20-х годов было тридцать русских издательств. Я ошибся. Их было сорок. Многие без определенного политического лица, просто свободные издательства. А некоторые – «с лица необщим выраженьем». Например – «Скифы». Это – левые эсеры. О них стоит сказать.

«Скифы» прибыли в Берлин в 1921 году во главе с бывшим наркомюстом И. Штейнбергом и А. Шрейдером. Въехали они в Берлин шумно, с хорошими деньгами, и сразу – на широкую ногу! – открыли большое издательство, назвав его «Скифы». В этой группе, кроме Штейнберга и Шрейдера, был интересный писатель, критик Евг. Лундберг, был и человек без определенной профессии, по-моему, просто «л. с. р.» Бакал, какие-то две очаровательные грузинки, кто-то еще.

Штейнберга я никогда не встречал, о чем жалею, ибо я жаден до всяких людей. Но с Шрейдером, Лундбергом, Бакалом встречался довольно часто. Говорилось, что всех их выслали. Но я так и не понимаю, почему и как их выслали и почему они приехали с такими деньгами – после подавления большевиками левоэсеровского восстания в Москве в июле 1918 года левые эсеры ведь оказались «врагами народа». Штейнберг в своих воспоминаниях пишет, кажется, что он «бежал».

Теперь, из прекрасного далека времени, глядя на этих «скифов», надо сказать, что это были по-человечески хорошие, симпатичные люди (те, кого я знал – Шрейдер, Бакал, Лундберг), но политически, по своему «революционному романтизму» – какие-то несерьезные. Странно, что эта группа «скифов» состояла почти вся из евреев, которые по своему национальному характеру, я думаю, ни к какому «скифству»

не расположены. Больше того, бывший наркомюст И. Штейнберг был ортодоксальный, религиозный еврей, соблюдавший все обряды иудаизма. Как он это увязывал со «скифством» – его «тайна». Шрейдер же, которого я хорошо знавал, наоборот, был еврей, вдребезги испорченный Россией. «Россия» ведь – великая портильщица характеров. В старой России я знавал и евреев, и армян, и грузин, словно вылепленных по Мите Карамазову, вообще по образу российского Савраса без узды. Известный националист В. В. Шульгин осуждает эту стихию в русском характере, называя ее «душевным большевизмом», невозможным на Западе. Думаю, он в чем-то прав.

Александр Шрейдер и кончил в Париже именно так, по-карамазовски: без ума полюбил художницу Хентову (действительно интересную, «загадочную» женщину, я ее знавал), но, не получив на свою «безумную» любовь ответа, пустил себе пулю в лоб. Евг. Лундберг, с которым я впервые встретился у Станкевичей (он немного писал в журнале «Жизнь»), был, по-моему, интересным и умным писателем. В Берлине он издал несколько книг. На мой взгляд, лучшая – «Записки писателя». В ней Лундберг тогда рассматривал вопрос, кому в истории русской революции придется «подвинуться» – «плетню или Ленину?» То есть – марксисту ли Ленину или российскому крестьянству с его «плетнем»? И Лундберг приходил, конечно, к выводу, что мужицкий «плетень» вечен и нерушим, а Ленину (хочет он того иль не хочет) придется «подвинуться». Для того времени Лундберг писал очень убедительно. Но, увы, история революции показала, что «Ленин-то» остался недвижим, а «плетень» российского крестьянства просто смели пулеметами и снесли вооруженной силой, уничтожив при этом десятки миллионов людей.

Но перейдем к издательству. Во-первых, «Скифы» сразу же стали издавать левоэсеровский журнал «Знамя». И выпу-

стили множество книг, в большинстве со «скифским» уклоном: А. Блок «Двенадцать» и «Скифы», «Россия и интеллигенция», «О любви, поэзии и государственной службе», Иванов-Разумник «О смысле жизни», «Свое лицо», «Что такое интеллигенция», Н. Клюев «Песнь солнценосца», «Избяные песни», А. Белый и С. Есенин «Россия и Инония», С. Есенин «Триптих», А. Шрейдер «Республика Советов», И. Штейнберг «От февраля по октябрь 1917 года», Е. Лундберг «От вечного к преходящему», А. Кусиков «Аль Баррак», А. Ремизов «Чакхчыгыс Таасу», К. Эрберг «Красота и свобода», Лев Шестов «Достоевский и Ницше», сборник материалов о ленинском терроре – «Кремль за решеткой» и много другого интересного.

Но кончились «Скифы» очень быстро, по-скифски: деньги все пропустили[27], Шрейдер (как я сказал) застрелился, Лундберг возвратился, а Штейнберг уехал в Америку. Выпущенные Штейнбергом мемуары для политического деятеля странно несерьезны, но для левых ср., пожалуй, характерны. Вспоминая октябрьский переворот, Штейнберг пишет: «Тайной политической целью Ленина всегда была диктатура большевицкой партии, и ею никогда не был объединенный фронт». Зачем же тогда было идти с Лениным в коалицию, превратясь в «наркомюста»?! «Надо сказать прямо, – пишет

---

[27] Спустя десятки лет тайна «больших денег» «Скифов» выясняется. В заметке о Е. Г. Лундберге (КЛЭ. Т. 4. С. 453) сказано: «Изд-во «Скифы» – берлинский отдел Госиздата и Гостехизата». Так вот в чем дело! Стало быть деньги-то дала Москва. Но на свободе «скифы» начали «резвиться», издавая не «гостехиздат», а, например, полное собрание сочинений Льва Шестова, писания которого (так же как и Вл. Соловьева и Льва Толстого) были уже Надеждой Крупской изъяты из библиотек. Естественно, что деньги из Москвы прекратились и «Скифы» кончились, на прощанье издав ценную книгу о начальном ленинском терроре – «Кремль за решеткой». Из «скифов» только Лундберг вернулся в СССР в 1924 г. Был ли он «репрессирован», не знаю, думаю, что да, ибо его имя появилось в совпечати только в 1945–1946 гг., причем он писал исключительно о литературе «нацменов».

Штейнберг, – мы не сделали всего, что от нас зависело <...> Мы слишком часто во имя политических или общереволюционных задач (или согласия с большевиками, или престижа власти) отмалчивались, бездействовали. Софистикой «интересов революции», как тактическим плащом, мы накрывали больно задевавшие нас вопросы революционной этики и высшей целесообразности...» И объясняет все это Штейнберг для политического деятеля неподходяще: «Мы действительно жили в *мире экзальтации*». Он приводит даже фразу из своего выступления 31 января 1918 года; «Своей *моральной непорочностью* революция может взять штурмом весь мир!» Это, конечно, «экзальтация», даже больше чем...

Когда-то Ленин (не без издевки, по-моему) говорил о левых эсерах, что они поддержали октябрьский переворот, войдя в Совнарком, «чтобы не войти в историю дураками». Но судьбе было угодно показать как раз обратное. Левые эсеры вошли в историю *самыми большими дураками*. Ленин накоротке использовал их, а потом главных (да и неглавных) перестрелял почти всех. И партия левых эсеров приказала долго жить, оставив по себе только странное воспоминание о том, что такое «революционная экзальтация».

Других «партийных» издательств в Берлине не было. Меньшевики издавались в разных издательствах. Только группа правых меньшевиков (потресовцев, плехановцев), издававшая журнал «Заря», выпустила книгу Г. В. Плеханова «Год на родине» (собрание его статей против Ленина из газеты «Единство», 1917).

С «лица необщим выраженьем» были некоторые правые издательства: «Медный всадник», издательство О. Дьяковой, издательство Сияльского. «Медным всадником» руководил Сергей Алексеевич Соколов (Кречетов), в былом второстепенный поэт-символист, в мировую войну офицер, попавший в немецкий плен и сидевший в офицерском лагере вместе с Тухачевским. Когда я писал свою книгу о Ту-

хачевском, я воспользовался тем, что рассказал мне С. А. о Тухачевском в плену. С. А. я встречал у Владимира Пименовича Крымова (писателя, богатого человека, большого дельца), о нем будет особая речь. В «Медном всаднике» генерал П. Н. Врангель издал свои «Записки» (1916–1920). При участии П. Н. Врангеля, герцога Г. Н. Лейхтенбергского и кн. А. П. Ливена здесь издавались исторически ценные сборники воспоминаний под названием «Белое дело».

Издавал тут свою беллетристику бывший донской атаман генерал П. Н. Краснов, хотя свой эмигрантский бестселлер – трилогию «От двуглавого орла к красному знамени» – он выпустил в издательстве О. Дьяковой. Впрочем, П. Н. Краснов был плодовитейший писатель, за рубежом он выпустил около тридцати книг, так что не обижал ни «Медный всадник», ни Сияльского, ни Дьякову. Писал атаман размашисто и по старинке, но было бы неверно сказать, что его книги совсем не литература. Нет, П. Н. Краснов умел и мог прекрасно писать, но только о том, *что он знал*. Все его военные картины (бои, парады, военная жизнь) всегда ярки, свежи, живы и, конечно, с большим знанием дела. До сих пор помню его чудесную статью «Казачья лава» в каком-то военном журнале. Но когда П. Н. Краснов в своей трилогии писал о «мировом масонском заговоре» и выводил эмигранта Ленина-Ульянова под фамилией Бурьянова, это было плоховато.

Вспоминаю, зашел я как-то в «Петрополис». Петрополитяне – Я. Н. Блох и А. С. Каган – в веселом настроении. И Яков Ноевич говорит: «Жаль, что вы не застали, только сейчас тут был Анатолий Мариенгоф[28] и говорил, что прочел здесь Краснова «От двуглавого орла к красному знамени» запоем. С

---

[28] А. Мариенгоф издал в 1920-х годах в «Петрополисе» свой «Роман без вранья». Чтоб закрепить авторские права, многие советские писатели издавали тогда свои книги сначала за границей. В «Петрополисе» издавались: Пильняк, Федин, Никитин, Всев. Иванов, Слонимский, Мариенгоф и др.

большим интересом, говорит, читал. Мы ему сначала не поверили. Но он вполне серьезно сказал, что считает эту трилогию очень интересной. Я ведь, говорит, как Вольтер, из всех книг не люблю только скучные. Я его спросил, пошла ли бы трилогия Краснова в Советской России, если б ее выпустили? А он, смеясь, отвечает: покупали бы, как французские булки!»

Кстати, Мариенгофа я знавал по Пензе. Он учился в Третьей гимназии (весьма неважной), а я в Первой. Щеголял он по Московской улице в черной форме с красными петлицами, это была форма какого-то среднего учебного заведения в Нижнем Новгороде, откуда он приехал. Дружил он в Пензе с семьей с. д.-меньшевика В. Г. Громана, работавшего статистиком в Пензенском губернском земстве. Конечно, в те *допотопные* времена (потоп начался с революции) никто и не знал о каком-то Ленине, каких-то большевиках, меньшевиках. После революции выяснилось, что Громан был лично близок к Ленину. Одно время играл, как экономист, большую роль в ВСНХ. Потом его зверски убил Сталин. Думаю, что погиб и его сын (Сергей, кажется), с которым дружил А. Мариенгоф.

Подлинным художником слова из «правых» зарубежных писателей, издававшихся в «Медном всаднике», был, конечно, Иван Созонтович Лукаш. К сожалению, недооцененный в эмиграции. Думаю, именно потому, что всегда ходил «в правых». Но, на мой взгляд, под некоторыми его вещами вполне могли бы стоять подписи и Ив. Бунина, и А. Толстого. Из книг Лукаша наиболее известны – «Голое поле» (о Галлиполи), «Дворцовые гренадеры», «Бедная любовь Мусоргского». Всего Лукаш издал книг двенадцать. Многое осталось в журналах.

Из издательств без особого политического лица самыми большими были: издательство И. П. Ладыжникова, издательство З. И. Гржебина, «Слово», «Петрополис». Не знаю точных цифр. Думаю, что каждое из них выпустило больше тысячи

названий. Уже в 1924 году один библиографический справочник насчитывал семьсот одиннадцать названий только классиков, изданных за рубежом (Л. Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Чехов, Тургенев, Гончаров, Лесков, Лермонтов, Грибоедов и другие). В хорошем положении оказались писатели-эмигранты старшего поколения, уже имевшие имена в России. Их произведения (не могшие появиться у Ленина) переиздавались нарасхват: Мережковский, Бунин, Зайцев, Гиппиус, Ремизов, Саша Черный, Ходасевич, Тэффи, Бальмонт, Бердяев, Шестов и многие другие. Сразу же пошел в гору в эмиграции М. Алданов, выпустив в «Слове» свои исторические романы. Всего Алданов издал книг двадцать.

Кроме большого числа художественных произведений «Слово» выпустило ряд ценнейших мемуаров и документальных книг. Перечислять не могу, назову хотя бы несколько: «Воспоминания» гр. С. Ю. Витте, «Переписка Николая II с Александрой Федоровной», Н. А. Соколов «Убийство царской семьи». Кстати, Соколова я мальчишкой знавал по Пензе, он был приятелем моего дяди Сережи (судебного следователя при окружном суде). А Соколов был следователем по особо важным делам. Выдвинул его кандидатуру на расследование убийства царской семьи (и выдвинул очень удачно) тоже наш пензяк Юрий Яковлевич Азаревич, морской офицер, бывший тогда у белых в Сибири. Воспоминания Ю. Я. Азаревича напечатаны в «Архиве русской революции».

Кроме большого числа мемуарных и документальных книг редактор издательства «Слово» И. В. Гессен выпустил двадцать три толстенных тома большого формата «Архива русской революции», исключительно ценных для истории революции. Без множества подобных (сотен!) книг, вышед-

ших за рубежом, история революции так бы и осталась фальсифицированной большевиками.

Среди больше чем тысячи названий книг «Петрополиса» отмечу тоже только некоторые: первое полное собрание сочинений И. Бунина (с «Окаянными днями», конечно!), сборник посмертных стихотворений расстрелянного Н. С. Гумилева, сборники стихов Кузмина, Мандельштама, запрещенное в РСФСР «Красное дерево» Б. Пильняка, «Моя жизнь» высланного Л. Троцкого. Больше не перечисляю, оставляю библиографам. Скажу только, что «Петрополис» в Берлине начал издавать еще журнал «София» под редакцией Н. Бердяева, посвященный вопросам духовной культуры и религиозной философии. Сотрудниками были высланные из РСФСР профессора: Л. Карсавин, С. Франк, И. Лапшин, Н. Лосский, Б. Вышеславцев и другие. К сожалению, журнал скоро оборвался.

Издательство З. И. Гржебина выпустило множество книг художественной прозы и стихов (как классиков, так и современных писателей): М. Горький, А. Ремизов, Б. Шинский, В. Ходасевич, С. Есенин, Б. Пастернак, Ф. Сологуб, П. Муратов – обрываю перечень. Из политической мемуарной литературы: «Записки о революции» Н. Суханова в 7 томах, «Записки социал-демократа» Ю. Мартова, «Записки социалиста-революционера» Б. Чернова, «Годы побед и поражений» В. Войтинского, «Б дни революции» Ф. Дана, «Год интервенции» М. Маргулиеса, «Из моих воспоминаний» Н. Русанова, «Пережитое и передуманное» П. Аксельрода и другие. Кроме того, у Гржебина выходил исторический толстый журнал «Летопись революции», в котором большое участие принимал Б. И. Николаевский. Обрываю перечень.

Дам теперь список русских издательств в Берлине, о которых еще не упоминал: «Мысль», «Знание», «Грани», «Кооперативное издательство» (книги по русской кооперации),

«Русское художественное издательство (журнал «Жар-птица»), «Русское универсальное издательство», «Литература», «Геликон» (сборники стихов Цветаевой, Пастернака и других), «Манфред», «Эпоха» (первое собрание сочинений А. Блока, толстый журнал «Беседа» и другие), «Возрождение», «Русское творчество», издательство А. Г. Сыркина, «Огоньки», «Восток», издательство Е. Гутнова, «Аргонавты», издательство А. Ф. Девриена (книги по естествознанию и сельскому хозяйству), издательство Отто Кирхнера (Северянин, Бухов, Ершов и другие), «Детинец», «Нева», издательство С. Д. Зальцмана, «Книгоиздательство писателей» (М. Волошин «Стихи о терроре» и другие), «Век культуры», «Заря», «Сотрудник», «Вальтер и Ракинт» (художественные книги), «Русское творчество», «Политехничкое издательство» (техническая литература), «Пироговское издательство» (медицинские книги)... Что-то, вероятно, пропустил, но обрываю. Чтобы дать читателю хотя бы приблизительную картину русского книжного дела в Берлине 20-х годов – этого достаточно.

Добавлю перечень повременных изданий. Газеты. «Голос России», ежедневная беспартийная демократическая газета под редакцией С. Я. Шклявера, позже, ненадолго, перешла под редакцию В. П. Крымова, потом под редакцию С. Полякова-Литовцева (тогда с участием П. Н. Милюкова), и наконец ее купила группа эсеров, газета переменила название на «Дни», и редактором ее стал А. Ф. Керенский, сотрудниками – В. Зензинов, В. Лебедев, С. Постников, Н. Воронович, из писателей – М. Алданов, М. Осоргин и другие, Вторая ежедневная газета – «Руль» под редакцией И. В. Гессена, В. Д. Набокова, А. И. Каминка. Из сотрудников – Ю. И. Айхенвальд (псевдоним – Кременецкий), известный еще в России публицист Александр Яблоновскийй, который за ее «Любовь пчел трудовых» назвал Александру

Коллонтай «теткой русской проституции», Ю. Офросимов, Б. Сирин (будущий В. Набоков), из одной статьи которого я так навек и запомнил фразу, что Советскую Россию «надо презирать дрожаньем ноздрей»; я никак не мог понять, как это «технически» делается. Третья ежедневная газета была сменовеховская – «Накануне» под редакцией профессора Ю. В. Ключникова, Г. Л. Кирдецова при участии профессора С. С. Лукьянова, Б. В. Дюшена, Ю. Н. Потехина. О ней я расскажу особо, Еще выходила еженедельная бульварно-«желтая» газета «Бремя» под редакцией Г. Н. Брейтмана, большого друга и выручателя всей нашей кучки – Офросимова, Иванова, Корвин-Пиотровского, меня. Когда нужно было перехватить несколько марок, Г. Н. всегда выручал. Кроме эмигрантских газет в Берлине выходила тогда ежедневная коммунистическая русская газета «Новый мир» – зиц-редактором ее был немец Курт Керстен, а издавалась она советским полпредством.

Журналы. «Жизнь» (о ней говорил), «Новая русская книга» (говорил), «Социалистический вестник» (говорил), «Знамя» (тоже говорил), «Заря» под редакцией Ст. Иваноаича (Португейса), орган правых меньшевиков-плехановцев, историко-литературные сборники «На чужой стороне» (народные социалисты: С. Мельгунов, В. Мякотин, Т. Полнер и другие, позднее издание перешло в Прагу), «Рабочий путь», орган русских анархо-синдикалистов под редакцией Г. Максимова, М. Мрачного, А. Шапиро, Х. Ярчука, «Сполохи», литературный журнал под редакцией А. Дроздова, «Жар-птица» – литературно-художественный иллюстрированный ежемесячник, издатель А. Э. Коган (до революции издатель «Солнца России»), литературный редактор Саша Черный, художественный – художник Г. Лукомский, «Русский эмигрант», двухнедельник легкого чтения под редакцией Б. Оречкина и И. Грязнова, «Музыка», журнал, по-

священный вопросам музыки, редактор-издатель А. Р. Гурвич, секретарь Н. Д. Набоков, будущий композитор, «Вещь», журнал конструктивистов под редакцией художника Эль Лисицкого, «Эпопея», литературный ежемесячник под редакцией А. Белого, «Беседа», журнал литературы и науки, основанный М. Горьким (уже упоминал), «Русский экономист» под редакцией А. Гана, «Русская правда», национально-монархический орган под редакцией С. Соколова с участием П. Н. Краснова, «Вестник самообразования», «Русский инженер» (орган Союза русских инженеров)... Обрываю. Тоже, может быть, что-нибудь пропустил, но – достаточно. Да, конечно, пропустил один интересный иллюстрированный журнал – «Театр и жизнь» с подзаголовком: «Журнал, посвященный пропаганде русского сценического искусства за границей». Редактор-издатель Е. Ю. Грюнберг. В числе сотрудников указаны: «Н. Агнивцев, Д. Буховецкий, М. Н. Германова, барон Дризен, В. И. Качалов, О. Л. Книппер, А. Левинсон, А. Койранский, Г. Лукомский, С. Маковский, А. Моисси, В. Дм. Набоков, П. Пильский, А. Плещеев, Макс Рейнгардт, Лев Урванцев, А. Ксюнин, Ю. Офросимов и другие». Эмигранты тут густо перемешаны с москвичами и знаменитыми иностранцами. И еще забыл: «Историк и современник», историко-литературные сборники, под редакцией И. Петрушевского, издания О. Дьяковой. В них печатался ценный исторический материал. Например, работы Н. Г. Бережанского «П. Бермондт в Прибалтике в 1919 году», «Польско-советский мир в Риге» и другие.

Русская политическая периодика в эмиграции шла от монархистов справа до анархистов налево, через эсеров, эсдеков, энэсов, кадетов, сменовеховцев и других. А журналы по искусству – от «мирискусников» «Жар-птицы» до конструктивистов «Вещи».

Театры и музыка

Перейдем к русским театрам и русской музыке в Берлине 1920-х годов.

Постоянных русских театров в Берлине тогда было три: «Русский романтический балет», «Синяя птица» и «Русский театр Ванька-Встанька». Руководителем «Романтического балета» был известный артист Петербургского Мариинского театра Борис Георгиевич Романов. В Мариинском (с 1909 по 1920) в балетах он прославился ролями Пьеро, Колена, Базиля и особенно «половецкого воина». Б. Г. был талантливейшим танцовщиком и хореографом, но он был и интересным, остроумным человеком. Жалею, что познакомился с ним только в «третьей части этой книги» – в Нью-Йорке.

Помню, в Нью-Йорке как-то завтракали мы втроем в ресторане: А. Р. Гурвич, Б. Г. Романов и я. И за завтраком Б. Г. рассказывал, как в Париже в последний раз он был у Кшесинской и она сказала, что пишет мемуары, только не знает, как их назвать. – «А я вам помогу, Матильда Феликсовна». – «Ну?» – «Полвека под Романовыми». Она засмеялась и «отодрала меня за уши», – смеялся Б. Г. Знаменитая М. Ф. Кшесинская была замужем за вел. кн. Андреем Владимировичем, с которым они и делили годы эмиграции в Париже, в молодости же М. Ф. была увлечением государя Николая II, когда он был еще наследником. Свои воспоминания М. Ф. Кшесинская выпустила по-французски под заглавием «Souvenirs de la Kchessinska» (Париж, 1960).

Под руководством Б. Г. Романова «Русский романтический балет» в Берлине существовал до 1928 года, пользуясь большим успехом не только у эмигрантов, но и у немцев. Романов давал «Жизель», «Петрушку», «Любовь-волшебницу», «Шута» и другие. После Берлина Б. Г. работал в Париже у

Дягилева, потом – в Италии, в Южной Америке и в Нью-Йорке в Метрополитен опера.

Прима-балериной в его балетах в Берлине выступала Елена Александровна Смирнова, выдающаяся танцовщица Мариинского театра, жена Романова, умершая, к несчастью, очень рано, в Аргентине в 1935 году. Известный балетный критик Андрей Левинсон (тоже эмигрант), автор многих книг о балете на русском и французском языках, писал хвалебно о «Романтическом балете» Романова.[29] Кроме этой балетной труппы в Берлине жили тогда многие известные балетные артисты: Вера Каралли, Е. П. Эдуардова, Е. Девильер, В. Кригер, К. М. Горева, Клотильда и Александр Сахаровы, М. Н. Кузнецова (известная певица, выступавшая с испанскими танцами), Тамара Гамсахурдия, Александр Демидов, Эльза Крюгер и другие.

Вторым постоянным русским театром в Берлине была «Синяя птица» – директор Яков Южный. Этот театр по своему стилю и репертуару был схож с знаменитой «Летучей мышью» Никиты Балиева, ставшей эмигранткой, улетевшей из советской Москвы в Париж, где Балиев с огромным успехом вел свой театр. «Летучая мышь» гастролировала и в Лондоне, и в Америке.

В «Синей птице» ведущие актрисы были Валентина Аренцвари, Е. Девильер и Юлия Бекефи, «потрясавшая» зрителей в «Рязанской пляске». В труппе были: режиссер И. Дуван-Торцов, сам Я. Южный, знаменитый эстрадник Виктор Хенкин, музыкальной частью ведал М. М. Попелло-Давыдов, художественное оформление – три талантливых молодых художника: А. Худяков, Г. Пожедаев и П. Челищев, сделавший позже международную карьеру.

---

[29] A. Levinson. La Dance d'aujourdhui. Paris, 1929. P. 91–98.

Репертуар «Синей птицы» включал множество милых и остроумных музыкальных безделок – «Стрелочек», «Полночная полька», «Русский танец», «Вечерний звон», «Бурлаки», «Повариха и трубочист», «Рязанская пляска», «Крестьянские песни», «Лубки», «Как хороши, как свежи были розы», «Песенки кинто» – коронный номер Виктора Хенкина:

На одном берегу
Ишак стоит.
На другом берегу
Его мать плачит.
Он его любит,
Он его мать,
Он его хочет
Обнимать…

Кстати, о Хенкине. В гражданскую войну он был в расположении белых и пользовался (как и всегда до революции) оглушающим успехом. В Париже мне рассказывал однополчанин-корниловец, что – не то в Харькове, не то в Киеве (я уж не помню), занятом белыми, – Хенкин с неизменным успехом выступал в каком-то большом ресторане-кабаре, заполненном, конечно, белыми офицерами. Зал горячо его приветствовал. И Хенкин в ответ на овации предложил с эстрады конкурс – стихотворение-экспромт, в котором последняя строка состояла бы из его имени, отчества и фамилии. Под общее веселье офицеры занялись экспромтом. В зале был и генерал Шкуро («Над Кубанью белошумною Шкуро / Ставит суд – святые не спасут!»), тоже занявшийся сочинением экспромта. Но выиграл игру поручик П. Фатьянов, написав:

Кумир блондинкин и шатенкин,
О Виктор Яковлевич Хенкин!

Спустя много, много лет в «Новом журнале» в Нью-Йорке я напечатал одно стихотворение П. Фатьянова, скончавшегося во Франции:

Воспоминания... кому нужны?
Воспоминаниям не верьте.
Так, разве для себя...
Так, разве для тебя:
Вновь растревоженные сны
За несколько минут до смерти?
Воспоминания... кому нужны?
Воспоминаниям не верьте...

Театр «Синяя птица» с успехом существовал несколько лет, гастролировал и в Америке...

Душой третьего «Русского театра Ванька-Встанька» был известный поэт-эстрадник Николай Яковлевич Агнивцев, автор вышедших в Берлине стихотворных сборников «Мои песенки» и «Блистательный Санкт-Петербург». Агнивцева я встречал, но мало. Очень высокий, очень худющий, с некрасивым, но выразительным лицом, очень выпивавший, он был воплощение бескрайней русской театральной богемы. И крутился все время среди актеров. По природе был, по-моему, очень талантлив. Но что такое талант? По-моему, в таланте непременно должна быть способность некого гипноза. И если есть гипноз, есть и талант. Разумеется, гипноз не для всех, но хотя бы для некоторых. Пушкин – это массовый гипноз. А рядом Денис Давыдов с чудесным: «Не пробуждай, не пробуждай / Моих безумств и исступлений / И мимолетных сновидений / Не воскрешай, не воскрешай...». Давыдов – это гипноз ограниченного действия. Агнивцев, конечно, не Вячеслав Иванов. И хорошо, что так. Если б на свете были только Вячеславы Великолепные, было бы, пожалуй, скучновато.

Спесивые эстеты, разумеется, найдут в Агнивцеве и мелкотемье, и даже «пошлость». Но хорошо в свое время ответил Александр Блок о пьесах Леонида Андреева: «Пусть это пошлость, но это пошлость, которая меня волнует!» Вот и у Агнивцева есть такие (не пошлости, а скорее) «легкости», сквозь которые чувствуется несомненный талант милостью Божьей. Ну хотя бы такая ностальгия по любимому, обожаемому городу, который он так хорошо знал и которым «жил»:

План города Санкт-Петербурга

В Константинополе у турка
Валялся, порван и загажен,
План города Санкт-Петербурга
(«В квадратном дюйме – 300 сажен»).
И вздрогнули воспоминанья!
И замер шаг! И взор мой влажен!
В моей тоске, как и на плане,
«В квадратном дюйме – 300 сажен».

Мило, мастерски сделаны многие агнивцевские шутки, ну хотя бы:

Между статуй прямо к Леде
Шла по парку гордо леди.
А за нею чинно следом
Шел лакей с шотландским пледом.
И сказала строго леди,
Подойдя вплотную к Леде:
«Шокинг!» И за этим вслед
Завернула Леду в плед.
О, заботливая леди!
Плед совсем не нужен Леде.
Уверяю вас: для Лед
Нужен лебедь, а не плед!

Все это – «легкости». Но свои отдельные строки Агнивцев мог бы с чистой совестью подарить и Есенину, и даже Блоку. Хотя бы эту: «Ведь это юность из тумана мне машет белым рукавом!».

Театр Агнивцева «Ванька-Встанька» просуществовал недолго. В нем (как и в «Синей птице») давались разные интересные, талантливые безделки – «Русь эмигрантская», «В старой Москве», «Хоровод виз», «Бродячие комедианты». Некоторые постановки ставил известный актер МХТ Р. Болеславский. Музыкой ведал Г. Фистулари. Художественной частью – художник из МХТ А. Андреев. А постановка «Санкт-Петербург» шла наполненная стихами Агнивцева:

И в ночь, когда притихший Невский
Глядит на бронзовый фронтон,
Белеет тень Комиссаржевской
Меж исторических колонн...
…………………………………..
Декабрьских улиц белизна,
Нева и Каменноостровский,
И мерный говор Куприна,
И трели Лидии Липковской...
…………………………………..
И стариков своих не выдав,
Неколебимы средь толпы
Варламов, Ходотов, Давыдов
– «Александрийские столпы»...
…………………………………..
Александр Сергеич, вы ли?
Вы ли это? Тот, чье имя
Я в своих стихах не смею
До конца произнести...
…………………………………..
Белой мертвой странной ночью,
Наклонившись над Невою,

Вспоминает о минувшем
Странный город Петербург...
……………………………………..
Ах, Петербург! Как страшно просто
Подходят дни твои к концу:
Подайте Каменному мосту!
Подайте Зимнему дворцу!
……………………………………..

«Ванька-Встанька» пользовался успехом. Но в Агнивцеве, сильно пившем, видимо, была какая-то неуравновешенность: в 1923 году он вернулся в РСФСР. Может быть, даже по пьяному делу, Бог его знает. Там у него сначала будто что-то пошло, выпустил более-менее «соответственный» сборник стихов – «От пудры до грузовика», в издательстве «Радуга» выпустил две книжки «для юношества», стал сотрудником «Крокодила». Но вскоре власти поняли, что этот Божьей милостью богемьен – не подходящ. Из «Крокодила» его ушли. Двери издательств для него закрылись. Агнивцев опустился. Сидел в дешевых пивных, где за бутылку пива писал стихотворения, ноги были обуты в калоши, обмотанные веревками. И под конец умер, как босяк, – как говорится, «под забором». Но «забор» был не чужой, не бусурманский, конечно, а свой, расейский «забор», под ним, говорят, и умирать гораздо приятнее.

Из драматических театральных постановок в Берлине были выступления так называемой «пражской группы» артистов МХТ, не возвратившихся в РСФСР, оставшихся за границей. Среди них – гениальный Михаил Чехов, Варвара и Лев Булгаковы, чудесный Николай Колин, Вера Греч и Павлов, Массалитинов, Вырубов, Егорова, Краснопольская, Вера Соловьева, М. Н. Германова, М. А. Крыжановская; прославившаяся в «Хозяйке гостиницы» Гольдони Ольга Гзовская и

ее муж В. Гайдаров; выступали и другие известные в России актеры – Степан Кузнецов, А. И. Долинов, бывший режиссер и актер Александрийского. Ненадолго задержались в Берлине известные театральные режиссеры Н. Н. Евреинов и А. А. Санин, первый стал работать в Париже, второй – в Италии, там же, в Италии, успешно работал как режиссер актер МХТ Шаров. Мое перечисление актеров-эмигрантов, разумеется, не полное. Перечисляю, кого помню.

Теперь несколько слов о музыке в русском Берлине, Она была на большой высоте. Здесь были известные композиторы – Николай Карлович Метнер, Александр Константинович Глазунов, Александр Тихонович Гречанинов, дирижеры – Э. Купер, Ю. Померанцев, В. Бердяев, О. Заславский, наезжал Сергей Кусевицкий, позднее «завоевавший» Америку; из пианистов концертировали – А. К. Боровский, А. И. Зилоти, Орлов, Крейцер, Арсеньев; из скрипачей – известная Цецилия Ганзен с пианистом профессором Борисом Захаровым, Лея Любошиц; виолончелисты – профессор Е. Я. Белоусов, профессор Н. Граудан, Рая Гарбузова, Григ. Пятигорский. Ненадолго в Берлине были пианисты Вл. Торовиц, А. Китаин.

Из певцов – известная камерная певица Полина Доберт, Анна Эль-Тур, Мейчик, О. Слободская, Лисичкина, баритон Большого театра Г. А. Бакланов, бас Касторский, Н. С. Ермоленко-Южина (из Мариинского и Большого), наезжал из Прибалтики знаменитый тенор Дмитрий Смирнов (в былом из Большого), наезжал и Федор Иванович Шаляпин. Но кто завоевал немецкий музыкальный мир – это Зинаида Юрьевская, изумительное сопрано, ставшая певицей немецкой оперы и любимицей публики. Благодаря таким певцам, как Юрьевская и Смирнов, на немецкой сцене вскоре появились и русские оперы; «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Царская невеста». В Дрездене оперой «Борис Годунов» дирижировал известный Исай Александрович Добровейн, декорации

сделал Андрей Худяков. К сожалению, З. Юрьевская кончила жизнь трагически, бросилась в горах Швейцарии с моста – вниз, в ущелье.

Будучи эмигрантом, в Берлин приезжал с своими песенками Александр Вертинский, автор известного «На смерть юнкерам», теперь он пел: «И российскую горькую землю узнаю я на том берегу...». Через много лет он возвратился в СССР, где был принят – как это ни странно – с распростертыми объятиями. Свой первый публичный концерт он дал в апреле 1944 года. Но самый первый *закрытый концерт,* как мне говорили, он дал «для работников НКВД» где-то чуть ли не на Лубянке. Тут он мог петь все что угодно. Для публики же главрепертком наложил вето на многие его «упадочности». И правильно сделал, какой-нибудь «лиловый негр» иль «креольчик с Антильских островов», разумеется, могли сотрясти все основы «победившего социализма». Приезжала в Берлин из Парижа знаменитая исполнительница русских народных песен Надежда Васильевна Плевицкая, кончившая жизнь довольно страшно: умерла в каторжной тюрьме в Ренн, куда была заключена по суду за соучастие в похищении в Париже генерала Миллера советскими чекистами. Главным предателем генерала Миллера был ее муж, белый генерал Скоблин, бежавший в СССР и канувший там в небытие. Перед смертью Плевицкая во всем покаялась,

Отмечу выступления замечательного украинского хора Кошица, имевшего оглушительный успех не только у украинцев и русских, но и у немцев, а также сводивший немцев с ума Хор (с плясками) донских казаков Сергея Жарова. Как видите, в русском эмигрантском Берлине 1920-х годов музыки было сколько угодно – от Н. К. Метнера и А. К. Глазунова, Ф. И. Шаляпина и З. Юрьевской до хора донских казаков и балалаечных оркестров.

Кстати, о балалаечниках. После отъезда А. Толстого в РСФСР мне предложили редактировать «Литературное приложение» к газете «Накануне». Я согласился. И всегда сам его верстал в типографии, иногда с помощью В. Корвин-Пиотровского, служившего тогда в «Накануне» метранпажем и печатавшего в газете свои стихи. И вот как-то кто-то из редакции приводит в типографию человека в кожаной куртке, с пушистыми светлыми усами, с усталым лицом типично русского рабочего. По одежде и лицу я понял, что это «московский товарищ». Приведший сказал, что человек этот недавно из Москвы, он не то председатель, не то зампред (не помню) Полиграфического треста и хотел бы осмотреть типографию. Немецкая типография, где печаталась «Накануне», было большая – с линотипами, монотипами, печатными машинами, прессами и всяким другим оборудованием. Пиотровский взялся показать москвичу типографию. А потом они подошли ко мне, где я верстал. И по виду, и по разговору «москвич» показался мне симпатичным. Спросил, давно ли я живу в Германии? Я ответил. «Из белых?», – спросил (но не враждебно). – «Из белых». – «Понятно...» – Потом москвич стал жаловаться, что языка не знает, города не знает, сидит в своем пансионе, «выйтить некуда», «немецкая еда осточертела». – «Тут, говорят, какие-то русские рестораны есть?» – «Есть». – Я понял, что москвич хочет посмотреть город, поесть в русском ресторане, вообще «отдохнуть» от официального путешествия по типографиям. Я предложил, что могу как-нибудь заехать за ним и свозить в русский ресторан. – «Бот, вот, очень бы хотел, а то я тут как немой...»

В Берлине были всякие русские рестораны: и фешенебельные, и поскромнее. Были: «Стрельня» (цыганский хор кн. Б. А. Голицына, солистка М. Н. Бемер), кавказский ресторан «Алла верды» (капелла Ионеску), ночной кабак «Тихий омут», «Медведь» («борщ с гречневой кашей во всякое вре-

мя», цыганские романсы в исполнении К. Л. Истоминой), «Русско-немецкий ресторан» (капелла И. Ф. Гилль, солиста бывшего придворного оркестра), но это все были дорогие. И в условленный день я повез москвича обедать в скромный русский ресторан «Тары-бары» на Нюренбергерштрассе.

Я москвича не расспрашивал ни о чем, но из разговора понял, что он бывший типографский рабочий, теперь наверняка партиец, какая-то «шишка» в тресте «Полиграф».

Вошли в «Тары-бары». Зал небольшой, но приятный, играет оркестр что-то очень русское – «Ухарь-купец», что ли. Музыканты – человек восемь – русская молодежь, даже не белые офицеры, а скорее белые юнкера по виду. Все в красных сафьяновых сапогах, синих шароварах, белых широких русских рубахах, талии обмотаны красными кушаками. Инструменты – балалайки, гитары, домры, а один ударяет в бубен.

К нашему столику подошла молодая интересная русская женщина, которую я хорошо знавал еще по Гельмштедтскому лагерю.

– Здравствуйте. Хорошо, что зашли к нам. Что прикажете? Из закусок, напитков? У нас сегодня борщ хороший и барашек с кашей.

Заказали все, что полагается: и водку, и закуски, и борщ, и барашка с кашей, конечно. А женщина, записав заказ в блокнотик, отошла к какому-то окошку, профессионально крикнув в него: «Борщ два! Барашек с кашей два!»

А красносапожные так аполлоно-григорьевски стонут: «две гитары, зазвенев, жалобно заныли», что за самую душу берут. Русские же. Вижу по москвичу, что и он доволен – и водкой, и закуской, и русской музыкой, вообще – «отдыхает душой» трудящийся товарищ. А оркестр вдруг с цыганского переходит на «барыню». И крайний юноша с бледным, тонким лицом в бешеном такте то гладит бубен большим пальцем, то бьет в него. А центральный музыкант вдруг отбросил

домру, сверкнул ладонями и такую присядку мечет красными сапогами, что кое-кто из посетителей (немцы) даже повскакивали с мест: что такое?

Оборвался оркестр отчаянно. И весь зал зааплодировал. А мой москвич, отпивая пиво, покачивая головой и одобрительно усмехаясь в усы, говорит:

– Здорово дворяне дуют!

И сказано это было хорошо, по-русски, с каким-то национальным восторгом и с каким-то даже, как мне показалось, соболезнованием.

За этот русский вечер москвич меня благодарил, прощаясь у дверей дома его пансиона, куда я его проводил.

Общественная и культурная жизнь эмиграции

В 1920-х годах в Берлине было множество русских общественных и культурных организаций. Попробую перечислить (конечно, не полно) и о некоторых рассказать: Русский научный институт, Русская гимназия, «Русское научно-философское общество», «Союз русских журналистов и литераторов», «Общество русских инженеров в Германии», «Союз русских преподавателей в Германии», «Союз русских торгово-промышленных и финансовых деятелей», «Союз русских издателей», «Религиозно-философская академия», «Союз русских сценических деятелей», «Русский академический союз», «Союз русской присяжной адвокатуры», «Общество русских врачей», «Русский студенческий союз», «Союз русских переводчиков в Германии», «Русское общественное собрание», Народный университет, «Русский общевоинский союз», два писательских объединения – «Клуб писателей» и «Дом искусств», литературные содружества молодых писателей «Веретено», «Круглый стол» (вероятно, что-то пропустил,

но и этого достаточно, чтоб представить себе общественную и культурную жизнь эмиграции в тогдашнем Берлине).

Председателем Русского научного института был профессор В. И. Ясинский (высланный). Организационный комитет – профессора Ю. Айхенвальд, Н. Бердяев, Б. Бруцкус, Е. Зубашев, А. Кизеветтер, И. Ильин, А. Каминка, Л. Карсавин, Б. Одинцов, С. Прокопович, В. Стратонов, А. Угрюмов, А. Чупров, С. Франк (большинство профессоров – высланные). На открытии Института 17 февраля 1923 года первую речь произнес последний ректор Московского Императорского университета М. М. Новиков на тему «О работе русских биологов», потом говорил профессор И. Ильин – «Проблема современного правосознания». На заседаниях Русского научного института с докладами выступали (кроме перечисленных выше) – Г. В. Вернадский, Б. П. Вышеславцев, С. И. Гессен, С. К. Гогель, П. П. Муратов, В. А. Мякотин, К. Н. Соколов, П. Б. Струве, М. А. Таубе, Н. С. Тимашев, А. А. Эйхенвальд, А. А. Боголепов, И. И. Гинзбург, А. П. Марков, Л. М. Пумпянский, П. Н. Савицкий, В. Э. Сеземан, А. М. Кулишер и другие. Лекции читались такие: А. Кизеветтер «Русская история XVIII и XIX веков», И. Ильин «Учение о правосознании», И. Стратонов «Церковь и государство в России», С. Франк «Введение в философию», Н. Бердяев «История русской мысли», Ю. Айхенвальд «История русской литературы», П. Струве «История хозяйственного быта России», И. Стратонов «История русского права», Н. Тимашев «Семинарий по изучению советского строя», А. Каминка «Русское торговое право», Б. Мякотин «Русская история», Л. Карсавин «Россия и Запад», Б. Вышеславцев «История русского искусства», П. Муратов «История русского древнего искусства», В. Сеземан «Семинар по философии», С. Гессен «Русская педагогика», К. Соколов «Русское государственное право», М. Таубе «Международное положение России», П. Савицкий

«Экономическая география России», С. Гогель «Русские судебные уставы», А. Боголепов «Местное самоуправление в России», Б. Бруцкус «Аграрная политика России», С. Прокопович «Хозяйство советской России», М. Бернацкий «Денежное обращение», А. Марков «финансы России», Л. Пумпянский «Положение рабочих в России», И. Гинзбург «Минеральные богатства России». Может быть, что-нибудь я пропустил. Но и приведенного достаточно, чтоб увидеть, какую русскую интеллигенцию выбросили из России большевицкие псевдонимы. Эти русские ученые могли бы оказать честь любому университету любой страны. Подчеркну, что Русский научный институт был создан на русские же эмигрантские деньги. В финансовый комитет по изысканию средств для него вошли: Н. Белоцветов, Н. Беляев, П. Бурышкин, кн. И. Васильчиков, А. Каминка, И. Коган, И. Парамонов, С. Смирнов, М. Липман, Ф. фон Шлиппе, А. Форштеттер и А. Хрипунов.

Хочу сказать несколько слов о русских художниках. В тогдашнем Берлине их было много и разных. В 1922 году издательство «Русское искусство» устроило в Берлине замечательную выставку работ «всех видных русских художников за рубежом». Выставка была великолепна. В прекрасном каталоге было шестьдесят цветных репродукций. Из зарубежных художников были представлены работы: И. Я. Билибина, Н. С. Гончаровой, Б. Д. Григорьева, М. Ф. Ларионова, Н. К. Рериха, С. А. Сорина, Д. Стеллецкого, С. Н. Судейкина, В. И. Шухаева, А. Яковлева, А. Бенуа, М. Добужинского, К. Коровина, К. Сомова и других.

Кроме того, в Берлине часто бывали (как теперь называют) «персональные» выставки живших тут русских художников: Бориса Григорьева, Ивана Пуни, Георгия Лукомского, Эль Лисицкого, Н. Миллиоти, Ксаны Богуславской, Павла Челишева, сделавшего позже международную карьеру. Кон-

стантин Терешкович в Берлине, по-моему, не выставлялся (был очень молод и нищ), но зато позже «завоевал» Париж. Выставлялись в Берлине: Марк Шагал, Л. Зак, В. Боберман. Не помню, были ли «персональные» выставки А. Худякова, Г. Пожедаева, А. Андреева, Любича, Л. Бермана, Г. Гликмана. Одним словом, русские художники за рубежом – как и русские ученые и писатели – были на высоте. И внесли свой вклад в мировую живопись.

Не говорю уж о том, что Василий Кандинский «гремел» тогда на всю Германию (да не только «на Германию», его знал весь «живописный мир»). В городе Дессау по его проектам, говорят, строились какие-то особые дома («абстрактные», наверное?! Жалею, что не видел!). Вместе с Кандинским видное место в живописи Германии заняли Алексей Явленский (бывший поручик русской армии) и Марианна Веревкина (в былом дочь генерала, коменданта Петропавловской крепости). Еще в 1909 году в Мюнхене они создали «Новое художественное общество», куда входили: братья Давид и Влад. Бурлюки, В. Денисов, В. Бехтеев, М. Коган, А. Могилевский и Вл. Издебский, которого я встречал в Париже 30-х годов. Большинство этих русских художников были либо беспредметники, либо сторонники полупредметного символизма. В нацистской Германии их картины были запрещены как «декадентские». Такая же судьба ждала бы их и в ленинской РСФСР. «Люблю все, чего нет», – писала в дневнике Марианна Веревкина, как бы перекликаясь этим с Зинаидой Гиппиус – «Хочу того, чего нет на свете». В 1920-х годах все русские художники (разных направлений) за рубежом образовали один свободный «живописный» поток большой силы.

1 декабря 1922 года при американской ИМКА открылась (как продолжение петроградской «Вольфилы») «Русская религиозно-философская академия в Берлине». Речь на открытии произнес Н. Бердяев – «О духовном возрождении России

и задачах Религиозно-философской академии», Кроме него говорили С. Франк, Л. Карсавин. Курсы при Академии были: Н. Бердяев «Философия религии», ф. Степун «Средневековое миросозерцание», Ю. Айхенвальд «Философские мотивы в русской литературе», И. Ильин «Миросозерцание и характер» и «Философия искусства», С. Франк «Греческая философия», В. Сеземан «Этика», Н. Арсеньев «Античный мир и раннее христианство», Б. Вышеславцев «Курс истории новой философии» и другие. Устраивались в Академии и отдельные выступления. Так, Бердяев читал доклад «Демократия и социализм как проблемы духа». В прениях участвовали С. Гессен, Ю. Ключников, И. Ильин, Ф. Степун, Б. Вышеславцев, С. Франк и другие. Б. Вышеславцев выступил с докладом «Русская стихия у Достоевского». В те годы в Берлине устраивалось много публичных лекций. Упомяну хотя бы некоторые.

Ф. Степун – «Освальд Шпенглер и закат Европы», известный монархист Евгений Амвросиевич Ефимовский – «Пути России». Ефимовский был прекрасный оратор, подстать Степуну, только иного (адвокатского) стиля. В прошлом – известный московский адвокат, член «Общества славянской культуры», член к. д. партии (ее правого крыла), в эмиграции Е. А. стал бесповоротным монархистом-националистом. Я его хорошо знавал еще по Москве, когда был студентом. Он меня даже пригласил однажды быть его секундантом на долженствующей состояться дуэли (он влюблен был в девицу, которую я с детства хорошо знал и в их доме мы оба бывали). Дуэль, увы, не состоялась, а мне очень хотелось «быть секундантом» («Теперь сходитесь...»). Монархисты в Берлине редко устраивали публичные выступления, одно «О февральской революции» я помню, выступали «знаменитый» Н. Е. Марков 2-й, Д. Б. Кузьмин-Караваев, С. С. Ольденбург, А. М. Масленников и Н. Н. Чебышев. Не монархисты, в смысле открытых выступлений, были гораздо плодовитей. В

«Союзе русских журналистов и литераторов» выступали: Е. Д. Кускова с докладом об истории «Помгола» (Комитета помощи голодающим), о том, как большевики членов «Помгола» разогнали, а кое-кого и арестовали, пришив «фантастические» обвинения; выступал известный социолог Питирим Сорокин, престарелый Вас. Ив. Немирович-Данченко, ненавидевший всю революцию до остервенения. В «Союзе русских присяжных поверенных» выступали с докладами на темы права А. Гольденвейзер, Фальковский, Б. Гершун, Г. Бемме и другие. И. А. Ильин читал публичную лекцию «Родина и гений» (о Пушкине). В «Клубе еврейской национальной молодежи из России» известный лидер сионистов Владимир Жаботинский читал доклад «Бялик и юность». Артисты МХТ, не вернувшиеся в РСФСР, – Массалитинов, Краснопольская, Егорова и другие выступали с чтением Достоевского – «Вечер образов и мыслей Достоевского». Часто с публичными лекциями на философские темы выступал некий «приватгелертер» М. Шварц, давний берлинский эмигрант. Выступал Семен Юшкевич с чтением своих вещей. В «Обществе русских врачей» (где насчитывалось 139 членов) читались медицинские доклады. В еврейско-русских кругах нашумел доклад выдающегося мыслителя и писателя, автора книги «Сумерки Европы», написанной раньше Шпенглера, но не опубликованной в России из-за революции, Григория Ландау – «Россия и русское еврейство». Помню, после этого доклада в «Петрополисе» Я. Н. Блох мне, смеясь, сказал: «Знаете, как теперь называется Григорий Ландау?» – «Как?» – «Ответственный еврей!» – «Почему?»– «Да ведь он же считает евреев в большой мере ответственными за революцию...» Ландау писал: «Когда грозный бунт в эпоху непосильных военных напряжений потряс страну и сбросил всю государственную иерархию – к власти подошли единственные организованные силы, оказавшиеся созвучными тенденциям

развала, именно идеологии и партии революционные, социалистические. В них огромное место занимали евреи; тем самым евреи приблизились к власти и заняли различные государственные «высоты» – пропорционально не их значению в России, а их участию в социалистических организациях. Но далее, заняв эти места, естественно, что – как и всякий общественный слой – они уже чисто бытовым образом потащили за собой своих родных, знакомых, друзей детства, подруг молодости... Словом, попытка ввести социализм не только выдвинула на верхи еврейских отщепенцев, уничтожив органическую хозяйственную жизнь еврейства, она бросила его на милость и на поживу советовластия. Отсюда сугубое количество евреев в советском аппарате, отсюда реакция негодования и ненависти со стороны окружающих...» Ландау погиб в Прибалтике, в Либаве, от рук нацистов.

Было «поэтическое» выступление петербургского Цеха поэтов – Г. Адамович, Н. Оцуп, И. Одоевцева, Г. Иванов. Выступал Андрей Белый (о нем я уже говорил). Выступал Илья Эренбург.

Но касаясь писателей, я лучше расскажу о двух писательских объединениях – «Клуб писателей» и «Дом искусств». О «Клубе писателей» *изнутри* рассказать не могу, потому что там ни разу не был. Его основали «маститые», и молодежи там было мало.

«Клуб» создался в 1922 году. Инициаторами были: Б. Зайцев, П. Муратов, Ю. Айхенвальд, М. Осоргин, Н. Бердяев, С. Франк, А. Белый, А. Ремизов, Е. Кускова, В. Ходасевич. Собирались еженедельно.

Читали: И. Эренбург, В. Шкловский, П. Муратов, М. Шкапская, А. Ремизов, М. Осоргин, В. Ходасевич, Б. Зайцев и другие. Н. Бердяев прочел там доклад «Проблема любви у Достоевского». Выступал с докладом «О задачах Камерного театра» известный режиссер этого театра, приезжавший на побывку в

Берлин Таиров, в прениях участвовали Муратов, Вышеславцев, Бердяев и другие. В те годы еще не было «железного занавеса», и приезжавшие из РСФСР писатели, художники, актеры свободно общались с писателями, художниками, актерами – эмигрантами и высланными. Так, например, приехавший первым из РСФСР Борис Пильняк не только свободно общался с эмигрантами и выступал в «Доме искусств», но даже был на обеде у редактора газеты «Руль» И. В. Гессена, что в позднейшие времена каралось бы, вероятно, чуть ли не «высшей мерой наказания». В «Клубе» выступали: С. Рафалович – «О театре», приезжавшие из РСФСР – филолог П. Богатырев, Борис Пастернак. Ф. Степун прочел – «Стихия актерской души», в прениях выступали Б. Пастернак и А. Белый. А. Белый прочел – «О трагедии сознания».

«Дом искусств»

Но мне думается, что «Дом искусств» был и веселее, и интереснее. Он собирался тоже еженедельно, сначала в большом кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе, 75, потом на Ноллендорфплац в кафе «Леон». Основали его в конце декабря 1921 года по аналогии с петербургским «Домом искусств». И насколько еще нити, связывавшие «два берега» русской культуры («там» и тут), были не порваны, говорит хотя бы то, что в 1922 году «Дом искусств» послал приветствие «Дому литераторов» в Петербурге и получил в ответ дружеское послание, начинавшееся – «Дорогие друзья», за подписью самого председателя «Дома литераторов» Нестора Котляревского.

Первым председателем «Дома искусств» в Берлине был избран поэт-символист Н. М. Минский, товарищем председателя А. М. Ремизов, казначеем Зинаида Венгерова. Члена-

ми правления – А. Ященко, художник Иван Пунин, художник Н. Миллиоти, Ф. Гартман, А. Толстой и другие. Выступали в «Доме искусств» и «стар и млад», и маститые, и только что начавшие занятия литературой. Особенно импозантны были собрания «Дома искусств» в кафе «Ландграф». Зал – очень большой, лакеи сервировали еду, кофе, всяческие напитки. В кафе была хорошая эстрада, с которой читали выступавшие. Выступало тут много людей: А. Толстой, Н. Минский (поэма «Хаос», которая была действительным, но малоинтересным «хаосом»), Соколов-Микитов со своими «сказками» и «сказаниями», А. Ремизов – с «Взвихренной Русью» и всяческой «славянской вязью» и «мудренщиной», И. Эренбург завывал «Стихи о канунах» и хорошо читал «ядовитого» «Хулио Хуренито». Выступал, конечно, Андрей Белый с стихами о России («Россия, Россия, Россия / Мессия грядущего дня!»). Помню его одетым с некой претензией – черное жабо над широкой белизной воротника и большая желтая роза в петлице.

Помню, как именно в «Ландграфе» выступили только-только приехавшие из РСФСР Борис Пильняк и Александр Кусиков. Позднее я с обоими довольно близко сошелся, особенно с Сандро Кусиковым. На их выступление собралось много самого разнообразного народа. И вся редакция газеты «Руль» во главе с И. В. Гессеном, и меньшевики, и левые эсеры с Шрейдером, Лундбергом и очаровательными грузинками. Пильняк читал прекрасно написанный (я вообще очень ценю этого прозаика, лет через пятнадцать – шестнадцать угробленного Сталиным в каком-то концлагере) «Съезд волсоветов». Читал он выразительно и сильно. И по заслугам пожал аплодисменты всех – без различия «политики». После Пильняка выступил Александр Кусиков. Читал свои стихи тоже неплохо. Начал, конечно, с знаменитого «Обо мне говорят, что я сволочь!», что в зале вызвало некий легкий шелест

сдержанного смеха. Но и ему аплодировали, не так, как Пильняку, который действительно «захватил зал», а так – из приличия.

Этот вечер я запомнил и еще по одному обстоятельству. Мы, молодежь, не садились в ту часть зала, где сервировали еду (дороговато было нашему брату), а садились ближе к эстраде, где можно было отделаться кружкой пива. Но я видел, что в «привилегированной» части Б. И. Николаевский сидит с какими-то неизвестными мне господином и дамой. Я не обратил на это внимания. А когда через несколько дней встретился с Борисом Ивановичем, он, улыбаясь, спрашивает: «Вы меня в «Ландграфе» видели?» – «Видел». – «А вы знаете, кто со мной был?» – «Понятия не имею». И, улыбаясь, Борис Иванович говорит: «Со мной сидели Алексей Иванович Рыков и его жена». Я ахнул: «Да что вы?» – «Да, да сами захотели пойти, и, знаете, жена Рыкова все меня просила: Б. И., покажите, который Гуль? Она ваш «Ледяной поход» в России читала, и ей очень хотелось на вас посмотреть». – «Ну, я надеюсь, вы показали ей?» – засмеялся я. «Конечно...» – «Ну и как? Одобрила?» – «А этого я уж не знаю», – засмеялся и Б. И. своим высоким сопрановым смехом.

Поясню: Николаевский был свояком Рыкова, брат Бориса Ивановича, Владимир, был женат на сестре Рыкова, и они жили в одной квартире. Думаю, что Владимир был большевик, вряд ли с меньшевиком в одной квартире мог жить «председатель ВСНХ», а потом «председатель Совнаркома» А. И. Рыков.

Вот какие были тогда – в 20-е годы – либеральные времена! Я спросил Николаевского: «А Рыкова никто не узнал в „Ландграфе“?» – «Никто». – «Ваши меньшевики могли узнать». – «Ну, это не страшно».

Думал ли, гадал Алексей Иванович Рыков, что лет через пятнадцать его потащат чекисты в подвал на Лубянке и

«шлепнут» там? А перед тем – на чудовищном, всенародном процессе бывший дворянин и бывший меньшевик Андрей Януарьевич Вышинский, кровавый «прокурор СССР», заставит его признаться на весь мир, что он, Рыков, – предатель, шпион и агент иностранной разведки. И Рыков все это (вероятно, не без пыток) публично признает, и, не то одурманенный наркотиками, не то опоенный алкоголем (Рыков был пьяница), признает, хохоча таким страшным хохотом идиота, что у слышавших его хохот иностранных корреспондентов «мороз пробегал по коже».

Вышинский *(Рыкову).* Стало быть, вы шпион?

Рыков *(со смехом).* Можно сказать, что да.

Вышинский. И Бухарин об этом знал?

Рыков *(продолжая хохотать).* Надо думать...

Нет, тогда, в «Ландграфе», слушая Пильняка, Рыков *этого* представить себе, конечно, не мог. Не мог представить себе эдакую «встречу с Марксом». Но Рыкову даже post mortem не повезло. Сталинские эпигоны ему так и не дали «реабилитанса», и в собрании стихотворений Маяковского, в строках «Эх, поставь меня часок на место Рыкова / Я б к весне декрет железный выковал» слово «Рыкова» так и не печатается до сих пор – оставлена зияющая прореха, от которой Маяковский наверняка перевертывается в гробу. Правда, теперь Рыков уже не считается «японским шпионом» или «агентом гестапо», «марксистски-научно» он называется – «агентурой кулачества». Это вполне мило.

Думаю, что сталинские чекисты «шлепнули» тогда и Владимира Николаевского как «врага народа». За долгую нашу дружбу я никогда не спросил Бориса Ивановича о судьбе его брата (считал нетактичным), а сам он никогда ничего о Владимире не сказал.

Когда «Дом искусств» перешел из кафе «Ландграф» в кафе «Леон», стало гораздо лучше и проще. Зал – отдельный от

ресторана, и на собраниях никто не ел, не пил, а занимались чем должно. Кто только не побывал в «Доме искусств»! Читал свои стихи и Вл. Маяковский, приехавший в Берлин на побывку с Лилей Брик. Впрочем, эта «дама» высшего коммуно-чекистского света в «Доме искусств» не появилась. Было бы чересчур... Коммуно-чекистского говорю потому, что ее пресловутый супруг Осип Брик начал свою карьеру как «юрисконсульт» Петроградской ЧеКа при Гришке Зиновьеве. Официально эта должность называлась «заведующий юридической частью» Петроградской ЧеКа. Какова могла быть «юрисконсультация»? Как расстреливать? В лоб или в затылок? Нет. Ося Брик занимался более тонкой «консультацией»: например, формулировкой обвинений против расстрелянного поэта Николая Гумилева, нахождением в его поэзии «контрреволюционности», «реакционности». Брик же был «литературовед», ну вот и работал в ЧК по специальности. Позже, в Москве, Брики были друзьями омерзительного, высокого ранга чекиста Якова Савловича Агранова, в «салоне» которого бывали писатели, поэты (Маяковский, Асеев, Пильняк, Бабель, Всев. Иванов и другие.). Ménage à trois – Бриков и Маяковского общеизвестен. Но, повторяю, в «Дом искусств» со своим зиц-мужем Маяковским «знаменитая» Лиля все-таки не пришла[30]. Б. Пастернак говорил: «Квартира Бриков была в сущности отделением московской милиции».

В Берлине с Маяковским я провел раз целый вечер – на обеде у Жени Манделя (вернувшегося в СССР), беспутного богемьена, вероятно, попавшего-таки на Архипелаг ГУЛАГ.

---

[30] В английской книге (I love: The story of Mayakovsky and Lili Brik, by Ann and Samuel Charters, 1979) есть рассказ, как Лиля Брик вербовала переводчицу Риту Райт (Rita Rait) в сотрудницы ОГПУ. Задачей Риты было давать сведения о русских эмигрантах в Берлине 20-х годов. Для этого Лиля устроила Рите встречу с агентом ОГПУ.

Но об этом расскажу позже. А сейчас хочу сказать о выступлениях Маяковского в «Доме искусств». Оговорюсь для ясности: я никакой не любитель этой «тяжеловозной» «ломовой» поэзии, а многие его бутербродно-пошлые агитки вызывали во мне всегда отвращение. Например:

Партия и Ленин –
                    близнецы-братья.
Кто более
                    матери-истории ценен?
Мы говорим – Ленин,
                    подразумеваем – партия
Мы говорим –
                    партия, подразумеваем –
Ленин!

Но выступления его в «Доме искусств» были великолепны. Маяковский понимал, с чем здесь выступить, это не комсомольское собрание, чувствовал аудиторию. И читал старые вещи. И это было чудесно. Во-первых – голос. Превосходный, отчетливо-бархатный баритон, как какой-то инструмент, а не голос. Во-вторых, манера чтения обрывистыми строками, но все-таки с совсем легким полунапевом – хороша. И аудиторию «Дома искусств» – писателей, поэтов, художников, актеров – он победил.

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
Было в Одессе.
Приду в четыре – сказала Мария.
Восемь.
Девять,
Десять.

И сразу чуть уловимый переход ритма и мелодии:

Вот и вечер в ночную жуть
Ушел от окон,
Хмурый,
Декабрый...

Чтение Маяковского было какое-то оркестровое. Будто читает не один человек, а стихотворение ведет какая-то оркестровая музыка. Это было по-настоящему хорошо. И запомнилось.

В «Доме искусств» я познакомился с М. А. Алдановым. Он был тогда молод, элегантен и красив просто «до невероятия», уж очень правильны черты лица, уж очень ясны, светлы глаза, уж очень он весь был изысканно-джентльменский. Не буду перечислять, кого я тут встречал, кто здесь выступал. Выступало множество людей: Толстой, Эренбург, Адамович, Георгий Иванов, Степун, Ремизов, тот же режиссер Камерного театра Таиров... Обрываю. Лучше расскажу, как тут я увидел Сергея Есенина. И – о встречах с ним в Берлине.

Сергей Есенин за рубежом

Это было летом 1922 года. В «Доме искусств» все уже знали, что в Берлин прилетел Сергей Есенин с Айседорой Дункан, и они придут в «Дом искусств». Народу собралось много. Шла обычная программа, но все явно ждали Есенина. И действительно, эти знаменитости приехали, но почти к концу вечера. По залу пробежали голоса: «Есенин, Есенин приехал».

Он вошел в зал впереди Айседоры. Она – за ним. Это пустяк. И все-таки характерный, муж с женой так не ходят. Есенин был в светлом костюме и белых туфлях. Айседора в красноватом платье с большим вырезом. Есенина встретили аплодисментами. Но далеко не все. Произошло какое-то замешательство, в публике были поклонники и противники Есенина. Во время этого замешательства и общего шума один

больше чем неуравновешенный (умопомешанный) эмигрант (крайне правых настроений) вдруг ни с того ни с сего заорал во все горло, маша рукой Айседоре Дункан: «Vive l'Internationale!». Это было совершенно неожиданно для всех присутствовавших, да, наверное, и для Айседоры. Тем не менее она с улыбкой приветственно помахала рукой в сторону закричавшего полупомешанного и крикнула: «Chantons la!». Общее замешательство усилилось. Часть присутствовавших запела «Интернационал» (тогда официальный гимн РСФСР), а часть начала свистать и кричать: «Долой! К черту!».

Н. М. Минский неистово звонил, маша председательским колокольчиком, Есенин почему-то вскочил на стул, что-то крича об Интернационале, о России, о том, что он русский поэт, что он не позволит, что он умеет и не так свистать, а в три пальца. И, заложив в рот три пальца, действительно засвистал как разбойник на большой дороге. Свист. Аплодисменты. Покрывая все, Минский прокричал:

– Сергей Александрович сейчас прочтет нам свои стихи!

Свист прекратился, аплодисменты усилились. Стихли. А Есенин, спрыгнув со стула, подошел к председательскому месту и встал, ожидая полного успокоения зала. Оно воцарилось не сразу. Айседора села в первом ряду, против Есенина. И Есенин зачитал. Читал он не так хорошо, как Маяковский. Во-первых, голос не тот. Голос у Есенина был скорее теноровый и не очень выразительный. Но стихи захватили зал. Когда он читал: «Не жалею, не зову, не плачу / Все пройдет, как с белых яблонь дым...» – зал был уже покорен. За этим он прочел замечательную «Песнь о собаке». А когда закончил другое стихотворение последними строками: «Говорят, что я скоро стану / Знаменитый русский поэт!» – зал, как говорится, взорвался общими несмолкающими аплодисментами. «Дом искусств» Есениным был взят приступом.

В этот вечер я вблизи не видел Есенина. Мы скоро ушли своей компанией. А Есенина и Дункан Н. М. Минский (как рассказывает в своей английской книге «Багаж» Ник. Дм. Набоков, будущий композитор, будущий приятель С. Дягилева, И. Стравинского, а тогда просто молодой человек) познакомил с Набоковым, который должен был стать их провожатым в какое-то гомосексуальное кафе, что для московского гостя было «берлинской диковиной». У Набокова об этом ночном путешествии рассказывается довольно подробно, но не очень убедительно, к тому же Есенина он почему-то называет Сергеем *Константиновичем* (видимо, производя это отчество от села Константиново – родины Есенина), а Минского – *Михайловичем* вместо Максимовича.

Вторично я увидел Есенина уже вблизи. Опять в «Доме искусств». Он пришел туда с Александром Кусиковым. В зале было много народа. Был перерыв. Все стояли. Я стоял с М. А. Осоргиным, И когда Есенин (а за ним Кусиков) протискивались сквозь публику, Есенин прямо наткнулся на Осоргина.

– Михал Андреич! Как я рад! – воскликнул он, пожимая двумя руками руку Осоргина.

– Здравствуй, Сережа, здравствуй, – здоровался Осоргин. – Рад тебя видеть!

– И я рад, очень рад, – говорил Есенин, – только жаль вот мне, что я – красный, а ты – белый!

– Да какой же ты красный, Сережа? – засмеялся Осоргин. – Посмотри на себя в зеркало, ты же – *лиловый*!

Верно, Есенин был *лиловат* от сильной напудренности. И Кусиков был «припудрен», но не так обильно. Конечно, в те времена парикмахеры после бритья слегка пудрили ваше лицо, но потом обтирали салфеткой. Имажинисты лее почему-то оба были не только не обтерты, но сами, видно, брились и пудрились. Это производило не очень приятное впечатление. Почему они этого не понимали – не ведаю.

Вот тут я Есенина разглядел. В письме к Ромену Роллану Максим Горький о Есенине пишет так: «... маленького роста, изящно сложенный, с светлыми кудрями <...> голубоглазый, чистенький <...> ему тогда было 18 лет, а в 20 он уже носил на кудрях своих модный котелок и стал похож на приказчика из кондитерской». Ничего схожего с этим портретом Есенина кисти Горького в Есенине я не увидел. Правда, ему было не восемнадцать-двадцать лет, а двадцать семь. Но «маленького» роста он не был. «Маленький» всегда нечто карликоватое. Есенин был «невысокого», но вполне нормального роста. Впечатления «маленького» никак не производил. «Изящного» в нем тоже ничего не было, и не знаю, было ли когда-нибудь? Был он сложен как-то по-крестьянски, хоть и одет в модный дорогой костюм. «Голубоглазого» тоже не было. Глаза были какие-то тускловатые (может быть, семь-восемь лет тому назад он и был «голубоглаз»). Все лицо какое-то измученно-бледное (поэтому, может быть, и пудрился). «Светлые кудри» были, но тоже без яркости, а просто блондинистые волосы. Что мне показалось в лице неладным – низкий лоб, на который были приспущены волнистые волосы. От «приказчика из кондитерской» ничего в нем, конечно, не было. Это Горький от «социал-демократичности», наверное, написал. А котелок он, по-моему, никогда не носил, в Москве носил – «знаменитый» цилиндр («сын ваш – в цилиндре и в лакированных башмаках»). Об истории «цилиндров» рассказал Мариенгоф в «Романе без вранья».

На замечание Осоргина о «лиловости» Есенин ничего не ответил, помахал рукой, прощаясь, и они с Кусиковым ушли. С Кусиковым я был хорош, мы поздоровались.

Вскоре Есенин – через Кусикова – передал свою автобиографию в «Новую русскую книгу». Она была написана рукой, на небольших листах, с отставленными друг от друга буквами и падающими вправо строками. По-моему, эта была *первая* написанная им автобиография. В ней Есенин писал: «В

РКП (б) никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее», а об имажинистах – «коммунисты нас не любят по недоразумению», Автобиографии в «Новой русской книге» печатались в отделе «Писатели о себе». Надо сказать, за ничтожными исключениями, все писатели в автобиографиях кривлялись как могли, стараясь выпендриться перед всем светом, каждый по-своему. Увы, это дурная болезнь всех «публичных мужчин» (выражение Герцена). Когда кончилась «Новая русская книга», я взял себе рукописи всех автобиографий: Маяковского, Есенина, Пильняка, А. Белого, Кусикова, Эренбурга и многих других и отдал переплести книгой, Книга вышла действительно литературно ценная и привела моего друга художника Н. В. Зарецкого в «расстройство нервов». Он стал ее выпрашивать: подари да подари, зачем тебе она, ты потеряешь, а я ее сохраню. Будучи человеком не архивным, я сдался и подарил ему рукописи автобиографий. Позднее Зарецкий передал эту книгу в знаменитый пражский эмигрантский архив, а во время войны этот архив захватили занявшие Прагу большевики. И весь архив – а в нем и книга автобиографий – ушел в Москву.

Итак, Есенин с Айседорой из Берлина – через Париж – отправились в Америку, взяв с собой, как переводчика «между ними», А. Ветлугина (В. И. Рындзюка), ибо Есенин ни слова не говорил по-английски, а Айседора коверкала два-три слова по-русски. Приехали «молодые» в Америку в начале октября 1922 года, в Нью-Йорк. Остановились – как и должно знаменитостям – в самом фешенебельным отеле «Валдорф-Астория» на Пятой авеню. У Айседоры был контракт – танцевать в ряде городов восточных и центральных штатов. А Есенину оставалось ее «сопровождать», что было, конечно, несколько унизительно, ибо возила его Айседора как некую «неговорящую знаменитость», после своих выступлений выводя на сцену и представляя публике как «второго Пушкина».

Неудивительно, что именно тут, в Америке, произошли самые буйные и безобразные сцены сего кратковременного брака. О них есть два рассказа – Вен. Левина, журналиста, стихотворца, левого эсера, имажиниста, ставшего в Америке эмигрантом, и Абрама Ярмолинского, переводчика на английский и литератора. Я бы обошел их, если б они не приоткрывали некую серьезную и страшную подробность в жизни Есенина.

По окончании турне Айседоры Есенину в Нью-Йорке удалось «разговориться». Он встретил прежнего приятеля Леонида Гребнева (Файнберга), который в Москве «ходил в имажинистах», а в Америке стал писать на идиш, сделав себе имя в еврейской печати. Встретил и другого «корешка» Вениамина Левина, бывшего левого эсера, с которым Есенин дружил в Москве 1918–1920-х годов. У еврейского поэта Брагинского, писавшего на идиш под псевдонимом Мани-Лейб, в скромной квартире собрались еврейские поэты приветствовать Айседору Дункан и Сергея Есенина. Ну, разумеется, пили. А что же собравшимся вместе поэтам делать? Конечно, пить и читать свои стихи. Так и было.

Пьяный Есенин прочел отрывок из «Страны негодяев». По рассказу Б. Левина, Есенин, читая, будто бы изменил одну строку в устах своего героя Замарашкина: «Я знаю, что ты еврей» – прочел не «еврей», а «жид». Этой «переменой» евреи возмутились[31]. А когда Айседора согласилась танцевать и начала танец, это привело пьяного Есенина в такое дикое бешенство, что, ругаясь матерной бранью, он бросился на нее с кулаками, грозя убить. Все пришли Айседоре на помощь,

---

[31] Левин путает. В «Стране негодяев» у Есенина написано именно «жид». В замечательной по полноте сведений, талантливой книге Gordon McVay. Esenin: A Life. Anne Arbor Ardis:1976. S. 352 дается великое множество фотографий и дана фотография *рукописи* именно этой страницы из «Страны негодяев»: «Я знаю, что ты настоящий жид / Ругаешься, как ярославский вор» и т.д. Так что Есенин прочел подлинный текст своей поэмы.

стали Есенина унимать. Но это было нелегко. В этой достаточно безобразной сцене Есенин будто бы пытался выброситься из окна, а Айседора дала понять, что он подвержен «припадкам», и посоветовала для его же пользы его связать. Но когда присутствовавшие начали вязать Есенина веревкой для сушки белья, он, естественно, пришел в еще большее бешенство, дрался, сопротивлялся, крыл схвативших его евреев «проклятыми жидами!», кричал: «Распинайте меня, распинайте!» Обруганный «жидом» Брагинский будто бы дал Есенину пощечину, а тот плюнул ему в лицо. Вообще поэтическая вечеринка оказалась мало «поэтичной».

Но на другой день поэты, разумеется, примирились. Мани-Лейб с женой приехали к Есенину в отель восстановить дружбу. А душевно и физически разбитый Есенин написал Мани-Лейбу письмо, которое Ярмолинский приводит в подлинном его написании (со всеми ошибками и недописками):

«Милый, Милый Монилейб!

Вчера днем Вы заходили ко мне в отель, мы говорили о чем-то, но о чем я забыл потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня я лежу разбитый морально и физически, Целую ночь около меня дежурила сеет, милосердия. Был врач и вспрыснул морфий.

Дорогой мой Мони Лейб! Ради Бога простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь. Поговорите с Ветлугиным, он Вам больше расскажет, Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разб. целые дома.

Что я могу сделать мой Милый Милый Монилейб, дорогой мой Монилейб! Душа моя в этом невинна, а пробудившийся сегодня разум подвергает меня в горькие слезы, хороший мой Монилейб! Уговорите свою жену чтоб она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у Вас хоть немного ко мне жалости.

Любящий Вас Всех Ваш С. Есенин

Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький чтобы мог когонибудь оскорбить. Как получите письмо передайте всем мою просьбу простить меня».

Что в письме идет речь об эпилепсии – ясно. И Левин пишет, что, когда он пришел к Есенину через два дня после вечеринки, тот ему сказал, что все его буйство на вечеринке кончилось припадком эпилепсии, которую Есенин унаследовал от деда. Мы знаем, что в одном из стихотворений Есенин писал – «одержимый тяжелой падучей». Но я всегда думал, что это только «стилистическая фигура», а никак не самая настоящая «медицина».

Еще более невероятное буйство произошло в Париже, когда Есенин и Айседора, вернувшись из Америки, остановились в фешенебельном «Hôtel Crillon». Здесь в своем пьяном безумии Есенин перебил зеркала, переломал мебель, Айседора спаслась бегством: бросилась вызвать доктора. Но когда вернулась, Есенина не застала, его арестовала французская полиция. Только с помощью каких-то влиятельных друзей Айседоре удалось освободить Есенина, тут же уехавшего в Германию, в Берлин, по пути в Москву.

Вторично я увидел Есенина (уже разорвавшего свой «брак» с Айседорой) в Берлине перед отъездом в Москву. В Шубертзале был устроен его вечер. Но это его выступление было мрачно. Кусиков рассказывал мне, что Есенин пьет вмертвую, что он «исписался», что написанные им стихи ничего не стоят. Когда Кусиков мне это говорил, я подумал: Моцарт и Сальери. Так оно и было. Ведь среди так называемых «людей искусства» подлинная дружба да и просто человеческие отношения очень редки. Публичные мужчины подвержены какой-то душевной «проституции».

Шубертзал был переполнен. Тут уж привлекал не только Есенин-поэт, но и разрыв и скандал с Дункан. Это было размазано в газетах. Когда, встреченный аплодисментами, Есенин вышел на эстраду Шубертзала – я обмер. Он был вдребезги пьян, качался из стороны в сторону и в правой руке держал фужер с водкой, из которого отпивал. Когда аплодисменты стихли, вместо стихов Есенин вдруг начал ругать публику, говорить какие-то пьяные несуразности и почему-то, указывая пальцем на Марию Федоровну Андрееву, сидевшую в первом ряду, стал ее «крыть» не совсем светскими словами. Все это произвело гнетущее впечатление. В публике поднялся шум, протесты, одни встали с мест, другие кричали: «Перестаньте хулиганить! читайте стихи!» Какие-то человеки, выйдя на эстраду, пытались Есенина увести, но Есенин уперся, кричал, хохотал, бросил, разбив об пол, свой стакан с водкой. И вдруг закричал: «Хотите стихи?!.. Пожалуйста, слушайте!..»

В зале не сразу водворилось спокойствие. Есенин начал «Исповедь хулигана». Читал он криком, «всей душой», очень искренне, и скоро весь зал этой искренностью был взят. А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери:

Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня!

– ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий. Пьяный несчастный Есенин победил. Публика устроила ему настоящую овацию (вероятно, к вящему неудовольствию Сальери).

Потом был вечер, на котором я познакомился с Есениным. Это было в зале Союза немецких летчиков. Уж не помню, кто устраивал вечер, кажется, газета «Накануне». Народу было тьма. Все сидели за столиками. Кто-то выступал: кажет-

ся, Толстой, Кусиков, кто-то еще. Последним выступил Есенин, впервые прочтя «Москву кабацкую». И что там ни говори, но в его чтеньи была настоящая сила искусства.

После выступлений все занялись едой и питьем. Наш столик (со мной был Корвин-Пиотровский, актриса Оля Протопопова, кто-то еще) был напротив столика, за которым сидели – Толстой, Крандиевская, Кусиков с какой-то очередной брюнеткой и Есенин. В зале играл оркестр. Есенин – по виду – был уже пьян, вскидывал головой, чему-то улыбался, смотрел в пьяное пространство. Потом вдруг встал с стаканом в руке, пошел нетвердой походкой. Подойдя к нашему столику, остановился и, обращаясь ко мне, проговорил с пьяной расстановкой:

– У вас очень хорошее лицо. Давайте познакомимся. Я – Есенин.

Я был тоже нетрезв, но, конечно, не так.

– Давайте, познакомимся.

Мы пожали друг другу руки, и Есенин так же пьяно пошел куда-то в коридор с фужером в руке. Здесь я уже совсем близко разглядел Есенина: мелкие черты несколько неправильного лица, с низким лбом, лицо приятно-крестьянское, очень славянское, с легкой примесью мордвы в скулах. В отрочестве и юности Есенин, вероятно, был привлекателен именно так, как пишут о нем знавшие его в те времена. Сейчас лицо это было больное, мертвенно-бледное, с впалыми щеками. Честно говоря, мне было его жаль, в нем было что-то жалостливое, невооруженным глазом было видно, что этот человек несчастен самым настоящим несчастьем. Когда он вернулся в зал, кто-то заказал оркестру трепак. Трепак начался медленно, «с подмывом». Мы все, окружив Есенина, стали просить его поплясать. Есенин стоял, глядя в пол, потом улыбнулся. Но темп был хорош, подмывист, и вдруг Есенин

заплясал. Плясал он, как пляшут в деревне на праздник– с коленцем, с вывертом. Окружив его кольцом, мы кричали:

– Вприсядку, Сережа! Вприсядку!

И вдруг смокинг Есенина легко и низко опустился, и он пошел по залу присядкой. Оркестр все ускорял темп, доходя до невозможного плясуну. Мы подхватили Есенина – под гром аплодисментов – под руки. И все пошли за общий стол. Тут, помню, почему-то заговорили о советских поэтах. Я похвалил В. Казина за его «Рабочий май» («Почтальон пришел и, зачарованный / Пробежав глазами адреса / Увидал, что письма адресованы / Только нивам да лесам»). Но Есенин вдруг недовольно замахал рукой:

– Да что вы, да что это за поэты! Да это ведь все мои ученики. Я же учил их писать! Да нет же, они вовсе не поэты...

И я понял, что Есенин тоже болен профессиональной дурной болезнью «публичных мужчин»: не выносит похвал другим «публичным мужчинам».

Толстой с Крандиевской уехали. Уставшие злые лакеи умышленно громко собирали посуду, звеня тарелками. Я шел в подпитии по пустому залу. И вместо того, чтобы попасть к нашему столику, вошел в коридор, где лакеи составляли посуду. Тут на столе сидел Есенин и сидя спал. Сидел по-турецки, подвернув под себя ноги, как сидят у костра крестьянские мальчишки в ночном. Рядом с ним стоял фужер с водкой и сидел Глеб Алексеев.

– Алексеев, – сказал я, – его надо увести.

– Он спит, – сказал Алексеев.

– Ну разбуди его, ведь скоро же запрут зал...

Есенин не слышал. Лица его не было видно. Висели только волосы. Алексеев разбудил его. Есенин спрыгнул со стола, потянулся и сказал как в просоньи:

– Я не знаю, где мне спать.

– Пойдем ко мне, – сказал Алексеев.

И мы вышли втроем из Дома немецких летчиков. Было часов пять утра. Фонари уж не горели. Берлин был коричнев. Где-то в полях, вероятно, уже рассветало. Мы шли медленно. Алексеев держал Есенина под руку. Но на воздухе он быстро протрезвел, шел тверже и вдруг пробормотал:

– Не поеду я в Москву... не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн...

– Да что ты, Сережа? Ты что – антисемит? – проговорил Алексеев.

И вдруг Есенин остановился. И с какой-то невероятной злобой, просто с яростью, закричал на Алексеева:

– Я – антисемит?! Дурак ты, вот что! Да я тебя, белого, вместе с каким-нибудь евреем зарезать могу... и зарежу... понимаешь ты это? А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ей править... Дурак ты, ничего ты этого не понимаешь...

Алексеев старался всячески успокоить его, и вскоре раж Есенина прошел. Идя, он пробормотал:

– Никого я не люблю... только детей своих люблю. Люблю. Дочь у меня хорошая... блондинка, топнет ножкой и кричит: я – Есенина!.. Вот какая у меня дочь... Мне бы к детям... а я вот полтора года мотаюсь по этим треклятым заграницам,..

– У тебя, Сережа, ведь и сын есть? – сказал я.

– Есть, сына я не люблю... он жид, черный... – мрачно отозвался Есенин.

Такой отзыв о сыне, маленьком мальчике, меня как-то резанул по душе, но я решил «в прения не вступать»… А Есенин все бормотал:

– Дочь люблю... она хорошая... и Россию люблю... всю люблю... она моя, как дети... и революцию люблю, очень люблю революцию, а вот ты, Алексеев, ничего-то ты во всем этом не понимаешь... ничего... ни хрена...

Уже начало рассветать. Берлин посветлел. Откуда-то мягко зачастили автомобили. Мы остановились на углу Мартин-Лютерштрассе. Я простился с Есениным и Алексеевым и повернул к себе – к Мейнингерштрассе. Идя, я все еще слышал голос Есенина, что-то говорившего Алексееву.

Потом я видел Есенина раз у Кусикова. Там – пилось и елось. Кусиков пел цыганское под гитару, свой собственный романс «Обидно, досадно, до слез, до мученья / Что в жизни так поздно мы встретились с тобой!». И рассказывал, что когда он приходит в русский ресторан «Медведь» (недалеко от Виттенбергплац), то оркестр сразу же мажорно встречает его этим романсом «Обидно, досадно». Есенин под балалайку пел частушки собственного сочинения:

У бандитов деньги в банке
Жена кланяйся Дунканке!

Или:

У нашего Ильича
В лоб ударила моча!
Под советской кровлею
Занялся торговлею!

Это было совсем уже перед его отъездом в Москву. В августе 1923 года Есенин туда уехал. А в декабре 1925 года в Ленинграде повесился («До свиданья, друг мой, до свиданья...»).

Хоть роман Айседоры с Есениным и кончился мрачно, все же она уехала в 1923 году вместе с ним. Айседору я видел в Берлине на ее выступлении. В большом зале под оркестр Айседора танцевала «Интернационал». Говорят, в Москве этот ее «Интернационал» был так успешен, что его смотрела даже сама «гениальная горилла» – Ленин. Есть такая статья в журнале «Музыкальная жизнь» – «Ленин смотрит Интернацио-

нал». А литературный болтун Луначарский так писал об Айседоре: «В центре миросозерцания Айседоры стояла великая ненависть к нынешнему буржуазному быту. Ей казалось, что и нынешняя биржа, и государственная чиновничья служба, и современная фабрично-заводская работа, и весь уклад обывательской жизни, все, за исключением некоторых, по ее мнению, оставшихся здоровыми частей деревни, представляет из себя грубый и глупый отход от природы, Весь мир казался ей, совершенно так же, как Карлейлю и Рески-ну, изуродованным капитализмом!» Вот как! О литературной пошлости Луначарского за рубежом была напечатана убийственная статья М. А. Алданова, разбирающая «художественное (драматическое) творчество» этого большевицкого пошляка и пустозвона, кого сам Ленин называл «наша балерина». Глядя на танцевальный «Интернационал» Айседоры, я чувствовал какую-то неловкость за эту в былом большую артистку. Тяжеловесная, с трясущимися под туникой грудями Айседора выделывала какие-то па, бегала по сцене, принимала какие-то позы: и все это долженствовало «выявить мощь пролетариата». Бедный пролетариат! И бедная Айседора, как все артисты, не могшая вовремя уйти со сцены. Много позднее я прочел ее прекрасные воспоминания. Это было уже после страшной, трагической смерти Айседоры Дункан. Некоторые говорят, что смерть Айседоры было не случайной. Я этого не думаю. Ее задушил собственный длинный шарф, попавший в колесо автомобиля.

Иллюзии примирения. Евразийство. Сменовеховство. Милюков. Маклаков и др.

Замечательный поэт и прозаик Федор Кузьмич Сологуб (Тетерников) был тонким острословом. Как-то в Берлине Эренбург мне рассказывал, что в РСФСР он был вместе с Со-

логубом на каком-то собрании писателей и «начальства». Говорилось о положении писателя, «задачах» его в РСФСР и прочем. Говорил и Сологуб. Его выступление чем-то не понравилось «начальству», и «начальство» довольно грубо его спросило: «Так что же вы, значит, Федор Кузьмич, против коллектива?» На что Сологуб, помолчав, ответил: «Нет, я за коллектив, но составленный из единиц, а не из нулей». Тогда еще можно было «выражаться» относительно свободно. Тому же Сологубу принадлежит другое острословие: «Октябрьская революция – это обезьяна французской». Ничего не скажешь – остро. Но история показала, насколько это суждение было ошибочно и упрощено. А, к сожалению, именно так большинство русской интеллигенции восприняло ленинский Октябрь, измеряя его «французским термометром», что привело многих к роковым заблуждениям, личным трагедиям и политической пустоте.

Конечно, так называемая «Великая» французская революция с ее Кутонами, Маратами, Робеспьерами, Демуленами, с сентябрьскими убийствами, с гильотиной на Гревской площади была достаточно омерзительна. Но теперь-то мы видим, что эта омерзительность была детской по сравнению с большевицкими массовыми убийствами десятков миллионов людей, с Архипелагом ГУЛАГ, с террором, длящимся седьмой десяток лет, с превращением нации в «коллективистское стадо», с полным уничтожением духовной элиты страны и, главное, с международным размахом этой антикультуры ленинизма.

Ничего не поделаешь: русская антибольшевицкая интеллигенция долго ошибалась «термометром». А когда Сталин показал глубинную «температуру» ленинского Октября, русской интеллигенции внутри страны уже не было (ее уничтожили физически), а в изгнании, на Западе, она умирала. Когда-то С. Л. Франк писал: «Основная, самая существенная,

грозная и, по нашему убеждению, гибельная коллективизация, которую ставит своей задачей советская власть, есть не внешняя коллективизация капитала, промышленности, сельского хозяйства, а *внутренняя* коллективизация человеческих душ». Эту «коллективизацию человеческих душ» в СССР, это перевоспитание *людей* в двуногую нелюдь показал в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Солженицын, а еще острее другой Александр – Зиновьев в «Зияющих высотах» и в «Светлом будущем». Зиновьев пишет: «Что внесет русский народ в эту новую общность, исчезнув с лица земли в качестве русского народа? А он фактически исчезает в качестве нации. Революция, гражданская война, коллективизация, бесконечные репрессии, Вторая мировая война – все это сокрушило Россию как национальное образование. России давно уже нет. И не будет больше никогда. Осталось русское население– материал для чего-то другого, только не для нации».

Характерно, что А. Зиновьев (плоть от плоти «советский человек») вовсе и не ищет никакого духовного (и политического) выхода из тупика-нужника так называемого СССР. Отношение Зиновьева к свободе Запада – слегка насмешливое. И это естественно, ибо «коллективизация человеческих душ» уничтожает в человеке прежде всего «инстинкт свободы». Тот «инстинкт свободы», который был чрезмерен у Михаила Бакунина и совсем отсутствовал у Маркса. В гитлеровские времена в Европе, когда страна за страной падали под натиском нацистского тоталитаризма, таких «насмешливых» людей на Западе было очень много – хоть пруд пруди.

И все же? И все же – шаткая западная свобода устояла. Духовно победила Гитлера колыбель европейской свободы – Великобритания. Тогда она *одна,* почти безоружная, выстояла. А не выстояла б – вся бы Европа оказалась во власти гитлеровщины, которой в те годы усердно помогала и сталинщина. Поэтому и при теперешнем явном разложении

Запада все-таки еще рано петь ему отходную и переставать любить *свободу человека.*

Большевицкий тоталитаризм давно переброшен за границы СССР: Китай, Камбоджа, Вьетнам, Восточная Германия, Чехословакия, Венгрия, Польша, Болгария, Румыния, Югославия, Албания, Абиссиния, Куба, некоторые арабские и африканские страны. Уже больше полмира захвачено лапами Ленина. Мы давно вступили в новую эпоху бесчеловечья. Всего этого русская политическая эмиграция в 20-х годах, конечно, не предвидела, не могла предвидеть, относя всяческие зверства к «эксцессам революции» – к гильотине на Гревской площади. Но ведь пришел же – после гильотины – Термидор? Пришел Наполеон? Пришла даже реставрация Бурбонов? «Французский термометр» жестоко подвел русскую политическую эмиграцию...

Евразийцы

В начале 20-х годов в русском, зарубежье выступили два народившихся идеологических течения – евразийство и сменовеховство, Первое евразийское издание «Исход к Востоку» вышло в Болгарии, в Софии, в 1921 году, Последующие – «Утверждение евразийцев» и журнал «Евразийский временник» – в Берлине, а самая последняя – «Евразийская хроника» – в Париже в конце 20-х годов. «Окну в Европу» они противопоставляли «упор на Азию». Евразийство объединило группу молодых и блестящих русских ученых и писателей. В послеоктябрьской России-СССР они увидели особый «евразийский мир», долженствующий пойти *своим особым путем.* «Мы ведем счет от исторической колыбели русского племени, от собирающего центра, который объединил Евразию именно в виде России, – писал талантливый экономист и историк Петр Николаевич Савицкий. – Россия-Евразия есть

обособленное и целостное «месторазвитие» <…> Смычка географии с историей подразумевает наложение на сетку географических признаков сеток признаков *исторических*, которые характеризуют Россию-Евразию как особый исторический мир».

Другой видный идеолог евразийства филолог князь Н. С. Трубецкой (сын князя Сергея Николаевича, общественного христианского деятеля, профессора, историка философии) писал: «Национальным субстратом того государства, которое прежде называлось Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемых как особая многонародная нация, и в качестве таковой обладающая своим национализмом». Политически гораздо «левее» (если так можно сказать) забиравший Петр Сувчинский, проповедовавший некое обязательное «народоводительство», писал: «Именно в своих идеях народоводительства коммунизм имеет что завешать будущему. Перед Россией стоит непреложная проблема создания сильной *автократической власти*». И князь Н. С. Трубецкой, как бы в унисон Сувчинскому, так говорил о Советской России: «Согласно евразийскому учению о правящем отборе во всяком государстве непременно должен существовать *правящий слой* <...> Тип отбора, который, согласно евразийскому учению, ныне призван *установиться в мире* (!!! – *Р. Г.*), и в частности в России-Евразии, называется *идеократическим* от правящего слоя отличается признаком *общности мировоззрения* <…> Мы чтим прошлое и настоящее западноевропейской культуры, но не ее мы видим в будущем. С трепетной радостью, с дрожью боязни предаться опустошающей гордыне – мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне «история толкается в наши ворота». Толкается <...> для того, чтобы в великом подвиге труда и свершения Россия так же раскрыла миру некую общечеловеческую правду, как

раскрывали ее величайшие народы прошлого и настоящего <...> Созерцая происходящее, мы чувствуем, что находимся посреди катаклизма, могущего сравниться с величайшими потрясениями, известными в истории, с основоположными поворотами в судьбах культуры, вроде завоевания Александром Македонским Древнего Востока или Великого переселения народов <...> историческая спазма, отделяющая одну эпоху мировой истории от следующей, уже началась. Мы не сомневаемся, что смена западноевропейскому миру придет с Востока...»

И уже совсем рискованные мысли высказывал видный евразиец, талантливый философ и писатель (несколько неврастенический человек, часто перехватывавший через край) Владимир Николаевич Ильин. В статье об «идейной близости» евразийцев и большевиков он писал: ««Идейная близость к большевикам» <...>весь вопрос в том, что разуметь под большевиками? Если под ними разуметь актуальную российскую государственность, ее духовные и экономические нужды, вопросы безопасности границ и т.д., то в этой сфере евразийцы не только «идейно близки» к большевикам, но и готовы прямо отождествить себя с ними...»

Правда, другой видный евразиец, блестящий ученый, богослов и историк Георгий Васильевич Флоровский писал, что «учтенье русской революции евразийцами никоим образом не является «принятием ее»...» Но евразийство в целом было, конечно, поиском «моста примирения» с советской действительностью. И этот иллюзорный «мост» кончился страшным крахом потому, что большевики использовали его, сначала добившись разложения евразийцев, а потом и *физического уничтожения* тех, до кого могли «дотянуться». В этом была ленинская логика: *мыслящих по-своему* русских людей планомерно *физически уничтожали* в масштабе всего государства начиная с 1917 года.

Как же большевики уничтожили эту (евразийскую) зарубежную иллюзию примирения? Все так же. По-бесовски. Сначала провокационной связью с СССР, а потом и убийствами. С некоторых пор в евразийской печати стали вдруг появляться статьи и «документы» из Москвы от «евразийцев из РСФСР». Что же писали эти чекисты-евразийцы? Писали очень неглупо: «Россия представляет собой особый мир<...> Наряду с отрицательными сторонами революции евразийцы видят положительную сторону в открывающейся ею возможности освободиться России-Евразии *из-под гнета европейской культуры»* (!!! – *Р. Г.*). Или – «Евразийцы должны образовать Евразийскую партию для замены Коммунистической в ее организационно-правительственном значении». Или – «Евразийцы являются сторонниками широкого государственного *регулирования и контроля* хозяйственной жизни...» И все это печаталось зарубежными евразийцами в их органе «Евразийская хроника» без всяких комментариев, а лишь с указанием: «нам доставлен нижеследующий документ из Москвы».

К «действию» ОГПУ перешло с 1923 года, создав «легенду», что евразийство «перебросилось» в СССР и нашло, разумеется, благоприятную почву. Через мелких евразийцев чекистам удалось проникнуть и в «мозговой центр» евразийства. Один из таковых евразийцев, гвардии ротмистр П. Арапов (кстати, родственник генерала П. Н. Врангеля) не раз совершал «тайные» поездки из Зарубежья в Москву, чтобы *убедиться на месте в существовании в* РСФСР *евразийского движения.* И «убедился» так, что в 1926 году на «евразийский съезд» *в Москве* (!), составленный из опытных и культурно подкованных чекистов, из Праги приехал сам лидер евразийцев профессор Петр Николаевич Савицкий. А спустя некоторое время чекист А. Ланговой (сын известного профессора), «лидер евразийцев в РСФСР», прибыл уже в Прагу на

съезд зарубежных евразийцев. Я не знаю подробностей «развала» евразийского движения. Подробности – в архивах КГБ. Но развал произошел, и тот же видный евразиец В. Н. Ильин об этом писал так: «Насколько было блистательно восхождение евразийского солнца, настолько печален был его закат<.-> Это есть падение через шаткость, неустойчивость, которые обнаруживаются либо в самой идее, являясь ее внутренним пороком, либо в силу моральной порочности и беспринципности некоторых ее носителей, взявших на себя «деловую сторону проблемы»«.

Из евразийства ушли все его «создатели»: кн. Н. Трубецкой и другие видные русские ученые. Остались «деловые», просоветски настроенные – кн. Д. Святополк-Мирский, С. Эфрон, П. Арапов и другие, неудачно попробовавшие издавать в Париже еженедельник «Евразия». Но чем же кончили даже они? Талантливый литературный критик кн. Д. Святополк-Мирский (кстати, за рубежом вступивший в английскую коммунистическую партию) вернулся из Лондона в РСФСР для того, чтобы погибнуть на Архипелаге ГУЛАГ, С. Эфрона «шлепнули» на Лубянке, Арапов, говорят, погиб на Соловках.

У зарубежного писателя (второй послевоенной волны) Н. В. Марченко, писавшего под псевдонимом Н. Нароков, в романе «Мнимые величины» есть, на мой взгляд, очень верное определение *сути власти* псевдонимов-большевиков: «...но не кажется ли вам, что никакой партии, коммунистической партии, уже нет? – А что же есть? – Я бы сказал, что есть орден вроде иезуитов или тамплиеров, но и это будет неправильно. Правильнее сказать – есть *стая.* – Какая стая? – Стая… Стая волков, стая воронов... Орден это сообщество по духу, а стая – сообщество по породе. В стае волков могут быть только волки, не правда ли? Не-волк в волчью стаю не пойдет, да его в волчью стаю и не пустят…»

Так стая, мафия, уничтожила не только «иллюзию примирения» евразийцев, но уничтожила и тех из евразийцев, которые к стае сами пришли. Казалось бы, эти люди *хотели* быть в стае. «Но в стае волков могут быть только волки». Своих волков сам их вожак, Ленин, хорошо называл «рукастыми коммунистами». Вот возвратившихся на поклон к волкам евразийцев и «вывели в расход». Упомяну еще, что в 1952 году в концлагере погиб видный евразиец, блестящий философ и богослов Лев Платонович Карсавин. А во время войны в лапы волков, занявших Прагу, попал и главный лидер евразийцев профессор Петр Николаевич Савицкий, этапированный на Архипелаг ГУЛАГ, где он хлебнул полную чашу «евразийского» горя, но где все-таки писал стихи, которые были даже опубликованы в Зарубежье под псевдонимом «Востокова» (конечно, Востокова, а не Западова!). Потрясающе, что и в Архипелаге ГУЛАГ П. Н. Савицкий нашел некое евразийское утешение. Приведу хотя бы два его стихотворения:

Свет пятьдесят четвертой параллели

(к этому стихотворению автор делает такое примечание: «на ней было тогдашнее мое местонахожденье»).

Свет пятьдесят четвертой параллели!
Как ценишь этот краткий зимний свет,
Когда в глухие долгие недели
Ни электричества, ни керосина нет.
Как радуешься первому мерцанью
Едва занявшейся за тучами зари,
С каким невыразимым ожиданьем
Глядишь на темный лес и очерк рощ вдали.
Светлеет лес – и на душе светлеет.
Вот начинаешь буквы различать.
И душу пленную средь зимней стужи греет

Возможность вновь работать и читать.

Небоправство

Здесь небо властвует над всем,
Кладет на все печать и образ,
Здесь горизонт без гор, без меж,
Простора русского прообраз.
Тут небо с нами говорит,
И небо, небо правит нами,
Зарею утренней горит,
Живит дождями и лучами.
1947. Мордовия

К этому стиху Востоков тогда же сделал следующее примечание: «Велик контраст между стесненным горами и домами небом Европы и небом нынешнего моего местонахождения». (Вот как! Оказывается в Европе и *неба-то* вовсе *нет.* А я сдуру думал, что небо одно для всей земли. Оказывается, нет, Европа – безнебна. А вот АРХИПЕЛАГОМ ГУЛАГ, оказывается, *правит небо.* Какая невероятная интеллигентско-евразийская загогулина! – *Р. Г.*)

По отбытии им срока Савицкого вернули в коммунистическую Прагу в образе «доходяги», где он и умер в нужде и болезнях.

Сменовеховцы

Не лучшая судьба ждала и другую «иллюзию примирения» – сменовеховцев. В том же 1921 году группа «сменовеховцев» выпустила сборник статей «Смена вех». По своим идеологическим устремлениям эти две группы (евразийцев и сменовеховцев) были разны. Евразийцы шли от славянофилов, в их идеологии момент православия играл большую роль, они были почвенники-распочвенники. Сменовеховцы

шли от западничества, но тоже подчеркивали курсивом свой пламенный патриотизм.

В сборнике «Смена вех» были статьи главных лидеров сменовеховства: бывших профессоров-юристов Московского университета – Юрия Вениаминовича Ключникова и Николая Васильевича Устрялова. В гражданскую войну оба были в Сибири членами правительства адмирала А. В. Колчака. Ю. В. Ключников – министр иностранных дел (его специальностью было международное право), а Н. В. Устрялов, – кажется, министр без портфеля (не уверен). Кстати, до Сибири Ю. В. Ключников был активным участником вооруженного антибольшевицкого восстания в Ярославле в 1918 году, но там в лапы волков не попался, а через Казань с отрядом полковника В. О. Каппеля ушел в Сибирь. Кроме Ключникова и Устрялова в сборнике «Смена вех» были статьи профессора С. С. Лукьянова (сын бывшего обер-прокурора Святейшего синода), профессора С. Чахотина, (друг Ф. А. Степуна), бывшего известного в России адвоката А. Бобрищева-Пушкина и Ю. Потехина. Отмечу, что на позиции сменовеховства встал также видный эмигрант, бывший профессор Санкт-Петербургского университета Эрвин Давыдович Гримм, печатавшийся на Балканах в сменовеховской газете «Наша мысль». Позиция сменовеховства была такова: оставаясь (как и евразийцы) антикоммунистами, сменовеховцы верили, что провозглашенный в 1921 году нэп есть ликвидация *коммунистической* революции, примирение комвласти с населением, усиление роли крестьянства в стране, усиление национализма и постепенный переход России к формам правового государства.

Самый блестящий публицист из сменовеховцев (да и вообще блестящий публицист!) профессор Н. В. Устрялов в сборнике «Смена вех» писал: «Коммунизм не удался <..> дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе

не принесло бы с собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов <...> Дело в самой системе, доктринерской и утопической при данных условиях <...> Только в изживании, преодолении коммунизма – залог хозяйственного возрождения государства».

Разумеется, тогдашнее положение в Советской России отличалось от сегодняшнего, как небо от земли: вся земля тогда была в руках крестьянства, это было единственное время в российской истории, когда крестьяне обладали всей землей и были довольны своим положением; рабочие не были прикреплены к фабрикам и заводам, а работали где хотели; в искусстве и литературе была относительная свобода, осуществлявшаяся так называемыми «попутчиками»; наряду с Государственным издательством существовали частные издательства; в хозяйственной жизни была допущена частная инициатива и многим бывшим собственникам возвратили их предприятия и дома; были широко допущены иностранные капиталы (концессии). В Советскую Россию хлынули американский, немецкий, английский капиталы. Среди других американцев бывший губернатор Нью-Йорка, а потом и бывший посол в СССР Эверел Гарриман получил тогда в Советской России интересовавшие его концессии; отдельные концлагеря существовали, но Архипелага ГУЛАГ еще не было; выезд за границу не был так свободен, как в западных демократиях, но за границу пускали довольно легко.

И если евразийская идеология внутрироссийскому, советскому обывателю была сложновата, то идеи сменовеховства внутри Советской России разделялись громадным большинством населения. Вот что об этом писали за рубежом бывшие советские граждане. Эмигрант «второй волны» Касьян Прошин (псевдоним Беклемишева) в «Новом русском слове» в статье «Проповедь изоляционизма» от 26 мая 1950 года пи-

сал: «Интересно отметить, что сейчас никто не отстаивает <...> возможности перерождения большевицкого государства, эволюции его в сторону демократии, то есть, того варианта, в который верили внутри Советского Союза еще в 20-х годах и вера в который толкала «сменовеховцев» на пересмотр их отношения к советскому режиму». Еще определенней в журнале «Народная правда» (№ 7–8, май, 1950) писал Георгий Александров, тоже эмигрант «второй волны». В статье «Советская власть и русская интеллигенция» Г. Александров писал: «В конце двадцатых годов под влиянием нэповских полусвобод наступило некоторое примирение между обеими сторонами (советской властью и интеллигенцией. – *Р. Г.*), и в настроении интеллигенции появились признаки примирения и сближения с властью. Это была эпоха внутреннего «сменовеховства», история искания путей для совместной, по возможности, лояльной работы на благо родной страны и народа. Это было признание советской власти «де-факто»«. А известный эмигрант, но уже «третьей волны», А. Левитин-Краснов в работе «История русской церковной смуты» пишет: «Все претензии Живой Церкви на то, чтобы стать частью советского государственного аппарата, имели какой-то смысл тогда, если люди стояли на позиции сменовеховских идеалов, утверждавших, что Советская Россия должна будет в ближайшее время переродиться в крепкое национальное буржуазное государство. На это рассчитывали тогда многие, очень многие, как в России, так и за рубежом»,

Надо ли говорить, что сменовеховцы «измеряли температуру» тоже «французским термометром»: они ставили на Термидор. Но «термометр» оказался трагически неверен. Вот как воспринимал «сменовеховцев» В. И. Ленин. В речи на XI съезде своей «стаи» Ленин, между прочим, сказал: «„Большевики могут говорить, что им нравится, – писал в парижском журнале «Смена вех» профессор Н. Б. Устрялов, –

а на самом деле это не тактика, а эволюция, внутреннее перерождение, они придут к обычному буржуазному государству. История идет разными путями“, – и, парируя эту цитату, Ленин продолжал: – Такие вещи, о которых говорит Устрялов, возможны, надо сказать прямо. История знает превращения всех сортов; полагаться на убежденность, преданность и превосходные душевные качества – это вещь в политике совсем несерьезная. Превосходные душевные качества бывают у небольшого количества людей, решают же исторический исход гигантские массы, которые, если небольшое количество людей не подходит к ним, иногда с этим небольшим числом людей обращаются не слишком вежливо. Много тому бывало примеров, и потому надо сие откровенное заявление сменовеховцев приветствовать. Браг говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Поэтому на этот вопрос надо обратить главное внимание: действительно, чья возьмет».

В речи перед «стаей» Ленин завуалированно признавал, что нэп им введен вовсе не «всерьез и надолго», как он сам *официально* заявлял. Ни перед «крестьянским плетнем», ни перед каким-то «перерождением» своего «разбойничьего государства» Ленин вовсе не собирался «подвинуться». Но это, так сказать, «черный ход», а с «парадного подъезда» те же ленинцы, пуская нужную тогда им дымовую завесу, приветствовали «сменовеховцев». Так, на II Всероссийском съезде политкомиссаров в октябре 1921 года Троцкий сообщил, что «нужно, чтобы в каждой губернии был хоть один экземпляр этой книжки «Смена вех». И добавлял: – Сменовеховцы пришли к советской власти через ворота патриотизма». Почему же эдакий марксист Троцкий вдруг захотел распространения «Смены вех»? Да потому, что на том же съезде «стаи» Ленин сказал: «Сменовеховцы выражают настроения тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских слу-

жащих, участников нашей новой экономической политики». Теперь-то, из прекрасного далека истории, мы видим, мы понимаем, что головка большевиков все «иллюзии примирения» встречала бдительно-враждебно, по-гангстерски: *использовать как можно, а потом – в «штаб Духонина»*. Интересно, как на XII съезде «стаи» Иосиф Виссарионович хитро отозвался о сменовеховцах. Коба сказал: «Сменовеховцы хвалят большевиков за восстановление единой и неделимой России».

Но были ли бдительны «сменовеховцы»? Нисколько. Профессор Ю. В. Ключников писал в «Смене вех»: «Мистика государства – подлинная и глубокая, – не раскрывалась ли она и не раскрывается ли теперь во всем, что создало из России страну Советов, из Москвы – столицу Интернационала, из русского мужика (!!! – *Р. Г.*) – вершителя судеб мировой культуры». А в статье «Patriotica» профессор Н. В. Устрялов писал: «Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую историческую национальную святость, древние куранты играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это коробит, но в конце концов в глубине души невольно рождается вопрос: красное ли знамя безобразит собой Зимний дворец или, напротив, Зимний дворец красит собой красное знамя? «Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»? <...> Наши внуки на вопрос, чем велика Россия? – с гордостью скажут: Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и *великой русской революцией*».

В книге «Под знаменем революции» Устрялов писал, что революция подошла к стадии, когда обнаруживается ее объ-

ективный, конечный смысл: под покровом коммунистической идеологии слагается новая буржуазная демократическая Россия с «крепким мужиком» как центральной фигурой. «Мы, сменовеховцы, – писал Устрялов, – хотим, чтобы русский мужичок получил все, что ему полагается от наличной власти».

Уверенность в необратимости нэпа, в необратимости эволюции страны к правовому строю в некоторых сменовеховцах была так сильна, что Ю. Потехин в «Смене вех» писал: «Народ с беспримерным терпением склонился перед силой большевицкой власти. Настал момент, когда эта власть должна склониться перед силой народных нужд и всемерно пойти прямо им навстречу; *иначе она будет сметена*». Увы, сметены прежде всего оказались сменовеховцы, а потом смели и народ – все многомиллионное крестьянство – со всеми его «нуждами».

Как же отнеслась русская политическая эмиграция к евразийцам и сменовеховцам? В подавляющем большинстве резко отрицательно. В особенности к сменовеховцам, призывавшим к возвращению на родину. И лидеры русского либерализма П. Н. Милюков (левого крыла) и В. А. Маклаков (правого крыла), и лидер русского меньшевизма Ф. И. Дан, и все социалисты-революционеры, все отнеслись к «Смене вех» непримиримо. С критикой евразийцев П. Н. Милюков выступил даже публично в Париже 5 и 12 февраля 1927 года. С высоты своей энциклопедической учености Милюков, во-первых, отрицал оригинальность евразийского подхода к истории России, указывая на их прямую связь с славянофилами, Н. Я. Данилевским и К. Леонтьевым, а во-вторых, резко упрекал евразийцев в «примирении с коммунистической властью» (к которой Милюков был совершенно непримирим), в «приятии большевицкой революции как высшего проявления народной мудрости», чего Милюков уж никак не

признавал и не мог признать. Лидер русского либерализма Павел Николаевич даже обронил тогда некую «элегантную остроту», сказав, что Россию можно, конечно, называть как угодно, если хотите «Евразией», но с таким же основанием можно называть и «Азиопой». Еще резче П. Н. Милюков высказывался о сменовеховцах. Но почти вся политическая эмиграция наклеивала им на спину некий «бубновый туз», что было несправедливо потому, что в своих «иллюзиях примирения» лидеры сменовеховцев были искренни и заплатили за них жизнями. Н. Б. Устрялова (как я уже упоминал) в Советской России в сибирском экспрессе шнуром чекисты удушили под видом грабителей. Вероятно, по личному указанию Кобы, Ю. В. Ключников исчез неизвестно как, хотя после сборника «Смена вех» для «дымовой завесы» наркоминдел Г. Чичерин (по указанию Кремля?) пригласил его как «советника» в состав советской делегации на Генуэзской конференции, что, конечно, было пропагандой и «советской эволюции», и «советского миролюбия». С. С. Лукьянова чекисты забили насмерть на допросе в Ухт-Печерском концлагере, хотя до этого – тоже для «дымовой завесы» – он был назначен редактором московского французского журнала – «Journal de Moscou».

В 20-х годах, во времена нэповских полусвобод, либерал П. Н. Милюков был тверд в своей непримиримости к большевизму. «Смена вех» была немыслима. П. Н. Милюков утверждал, что «непримиримость (к большевикам) для нас не только тактическая директива, но и категорический императив» («Эмиграция на распутьи»). Милюков писал, что в эмиграции необходимо «сохранение пафоса неприятия советской власти и борьба с ней, а следовательно, и революционное к ней отношение, и отрицание всякого рода примиренчества» («Россия на переломе», т. 2). Но в 40-х годах, в самую страшную сталинщину, П. Н. Милюков стал

нежданным «сменовеховцем», создав собственную «иллюзию примирения». В те же годы и В. А. Маклаков внезапно «сменил вехи», выступив со своей «иллюзией примирения».

В заголовке этого очерка у меня стоит «и другие». Эти «и другие» были Федор Дан (Гурвич), лидер меньшевиков, в 40-е годы «целиком и полностью» ставший на «советскую платформу», и кое-кто из эсеров, например М. А. Слоним, вступивший в группу под названием (кажется) «утвержденцев», тоже ставших на советскую платформу. Правда, через несколько лет, когда из Кремля потянуло густым антисемитизмом, М. Л. Слоним возвратился в первобытное эсеровское состояние. Но все эти «и другие» мало интересны, у них не было своих идей. И о них я говорить не буду. Скажу только об «иллюзиях примирения» П. Н. Милюкова и В. А. Маклакова.

П. Н. Милюков

Как и почему лидер русского либерализма, вождь кадетской партии, опытнейший политик и знаменитый историк П. Н. Милюков в разгар всемогущества Иосифа Сталина, в 1942 году, стал «сменовеховцем»? Свою «иллюзию примирения» П. Н. Милюков изложил в большой статье под ударным заглавием (каких никогда не было ни у евразийцев, ни у сменовеховцев!) – «Правда большевизма». Статья была ответом на статью «Правда антибольшевизма» непримиримого антибольшевика («при всех обстоятельствах»), эсера Марка Вениаминовича Вишняка. Вишняк поместил свою статью в «Новом журнале» № 2. Для зарубежных русских демократов и социалистов-антибольшевиков статья Милюкова оказалась «атомной бомбой» по своей неожиданности и по разрушительности прежней идеологии П. Н. Милюкова («Русский патриот», Париж, 1945).

Милюков писал: «Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней. Знаю, что это признание близко к учению Лойолы. Но... что поделаешь? Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение Петра Великого?». Вот куда на старости лет махнул Павел Николаевич как историк, подкинув Петру Великому Кобу, разбойника с Каджарского шоссе и грабителя Тифлисского государственного банка. Но П. Н. Милюков, как Наполеон, «существо только политическое» и мыслил всегда в категориях государственности, причем российская великодержавность всегда была целью его политической деятельности. А тут, в 1942 году, такой оглушивший его гром победы! Милюков так и пишет: «Гром победы раздавайся – этой обличительной цитатой Вишняк сразу хочет дискредитировать своих противников. Что же? Мне тоже приходится цинически повторить: да, гром победы раздавайся!..» И дальше идет не только политический дифирамб лично Кобе, но и оправдание всего ленинского Октября (чего не было ни у евразийцев, ни у сменовеховцев): «Были ли большевики органическим эпизодом русской истории? – задает вопрос Милюков и отвечает: – Ответ зависит от того, признаем ли мы Октябрьскую революцию 1917 года НАСТОЯЩЕЙ революцией в полном смысле этого слова. Французская и английская революции имели такой же (!! – *Р. Г.*) характер и были, несмотря (или даже вследствие) на свою разрушительную функцию, признаны не «эпизодами», а органической частью национальной истории. Русская революция пошла дальше в направлении разрушения. Она в корне изменила *старый социальный строй,* уничтожила «классы», перестроила *политическую* структуру, заменила старый государственный строй управлением партийных советов и оборвала моральную традицию, уничтожив старую интеллигенцию и посягнув на старую народную веру. М. В. Вишняк называет все эти пере-

мены провалами. Но это значит – за разрушительной стороной русской революции не видеть ее творческих достижений. Мало того: это значит игнорировать связь русского революционного творчества (!!! – *Р. Г.*) с русским прошлым, связь, которая, собственно, и подтверждает право рассматривать русскую революцию как «органическую» часть русской истории. Еще Токвиль указал на подобную связь французской революции с прошлым». Вот он, тот же злосчастный «французский термометр»!

Но дальше – хуже. Милюков пишет; «... Россия давно перестала быть Россией Ленина, но было бы чересчур наивно утверждать, что к этому сводится ВСЯ «государственная мудрость» диктатора. Едва успел умереть Ленин, как Сталин поспешил освободить свои руки от капитальнейшего ленинского тезиса – о необходимости мировой революции (вот как!!! – *Р. Г.*). Он объявил, что в России социализм может быть введен и без ее помощи. Это был первый и радикальнейший шаг в направлении дальнейшей эволюции (!!! – *Р. Г.*). Диктатор, правда, прикрыл свою ересь именем Ленина. Но он не был первым политиком, который скрыл свое нововведение под старым именем, освященным традицией. Сталин умудрился и свою коллективизацию земледелия оправдать цитатами из 28 томов сочинений Ленина. Было бы непростительной наивностью принимать такого рода «ленинизм» всерьез...» Милюков пишет дальше: «... в среде наших союзников распространено опасение социальной революции в случае победы Сталина. Но этому противоречит вся история отношений Сталина к Коминтерну. В осуществимость «мировой революции» в ближайшие годы действительно верили все вожди первоначального большевизма, начиная с Ленина. Но после провалов 1919–1923 гг. эта вера была потеряна. Я уже упомянул, что тотчас после смерти Ленина Ста-

лин исключил «мировую революцию» из расчетов собственной доктрины...»

В свете всего происшедшего за 37 лет по написании Милюковым «Правды большевизма» и происходящего на наших глазах во всем мире, я думаю, что предсказание наследника Сталина неуча Хрущева – «мы вас угробим!» – гораздо ближе к истине международного положения, чем архикабинетные иллюзии знаменитого ученого историка П. Н. Милюкова с его «исключением мировой революции из большевицкой доктрины»,

Свою «иллюзию примирения» Милюков написал в 1942 году, когда начались победы на советском фронте, а скончался он в 1943 году 84 лет от роду. За несколько месяцев до смерти Милюков писал одному из друзей: «Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что-то написать. Проходит четверть часа, полчаса – я сижу все так же и ничего не пишу...» Для политической биографии Милюкова было бы лучше, если б уже в 1942 году он оказался в таком «еписательском» состоянии. Тогда бы и иллюзорная «Правда большевизма» не появилась.

В. А. Маклаков

Столь же политически иллюзорна оказалась «смена вех» другого лидера русских либералов – В. А. Маклакова, главы Нансеновского комитета в Париже. Я знал лично и П. Н. Милюкова и В. А. Маклакова, от обоих в моем архиве есть письма. П. Н. Милюкову кое-чем я лично обязан и до сих пор вспоминаю об этом с благодарностью. В. А. Маклаков отнесся ко мне в Париже очень хорошо. Но говорить о них как людях я буду во второй части книги. А сейчас – только об «иллюзиях примирения».

12 февраля 1945 года во главе группы эмигрантов В. А. Маклаков посетил советского посла в Париже Богомолова. Свидание было заранее условлено. Вот что сказал совпослу, чекисту Богомолову блестящий представитель подлинной русской интеллигенции, в молодости близкий к Льву Толстому, Василий Алексеевич Маклаков: «Я хочу пояснить, почему мы пришли. Эмиграция была разнородна, но сходилась в одном: в враждебном отношении к советской власти. Считала ее главным злом, помнила только вред, который она причинила, и ждала, когда она упадет. Примирение с ней она считала изменой и предпочитала здесь вымирать <...> Действительные события оказались для всех откровением, Мы не предвидели, насколько за годы изгнания Россия окрепла <...> Мы восхищались патриотизмом народа, доблестью войск, искусством вождей. Но должны были признать, что <...> все это подготовила советская власть, которая управляла Россией... Нужно работать для взаимного понимания и примирения. Эту работу мы делали независимо и будем ее продолжать. Мы вам о ней говорим не для практических целей <...> Но раз мы признаем советскую власть национальной властью и с нею не боремся, мы хотим, чтоб про нашу работу, которую мы ведем для пользы России, вы непосредственно узнали от нас <...> И наконец, те, которые думали окончить свои дни в эмиграции и России больше не видеть, счастливы, что воскресения России дождались и могут лично приветствовать ее в лице ее представителей <…> Если существуют течения прежней борьбы с советской властью, то это не мы. Мы борьбу прекратили. От тех, кто ее хочет вести, мы отделились. Самого крушения советской власти мы уже не хотим, Мы знаем, чего стоит стране революция, и еще новой революции для России не пожелаем. Мы надеемся на дальнейшую эволюцию...»

Что же ответил подлинному представителю русской интеллигенции В. А. Маклакову совпосол, чекист Богомолов? Он ответил ему так, как и должен был ответить и как только и мог ответить чиновник-чекист. Сначала он выразил «некоторое недоверие» к эмиграции. А потом сказал: «*Мы должны к вам присмотреться, вас изучить, убедиться в вашей искренности*». И закончил эту чекистскую казенщину предложением всем пришедшим выпить с ним за советский народ, за Красную армию и лично за генералиссимуса Сталина. Ничего не поделаешь, пришедшие выпили с Богомоловым за генералиссимуса!

Истины ради надо сказать, что В. А. Маклаков очень скоро понял ошибку своего «хождения в Каноссу». Но об этом – во второй части книги, когда я буду говорить о «России во Франции».

Сейчас все же скажу еще об одной «иллюзии примирения» – о так называемом, «возвращенчестве».

Возвращенчество

В противоположность евразийцам и сменовеховцам «возвращенчество» не представляло собой «группы» и никакой «новой идеологии» не выдвигало. Напротив, все они крепко-накрепко держались своих старых, дореволюционных убеждений. Их было четверо – умеренные социалисты. А. В. Пешехонов, видный публицист, народник, редактор известного дореволюционного толстого журнала «Русское богатство», сам себя называвший «младшим соратником В. Г. Короленко». Е. Д. Кускова, столь же известная публицистка, социалистка, но ни с какой партией у Е. Д. романа так и не вышло. В молодости начала с марксистской ортодоксии, кончила беспартийной умеренностью. Была «сама по себе». Ее муж, экономист С. Н. Прокопович. И М. А. Осоргин

(Ильин) – писатель-беллетрист и публицист, в молодости ходивший в «эсерах», а потом, как и Кускова, ставший одиночкой, причем иногда заявлял себя «анархистом», но думаю, это не очень всерьез, больше так – «бутада», бомб он не делал, в кафе их не швырял, ни безвластия, ни непротивления не проповедовал, вообще – ничего «страшного». Все четыре из России были высланы в начале 20-х годов как вредные «делу пролетариата». Они и были «вредны» (не пролетариату, конечно, а ленинским псевдонимам). Все были типичные представители «ордена русской интеллигенции». Теперь таких людей уже нет. «А все-таки жаль...», как поет талантливый Б. Окуджава (добавим за него), что нет уже русской интеллигенции, а есть советская образованщина.

В эмиграции, когда из-под их ног ушла почва родины, они по-разному политически затосковали. Подчеркнуто это выразил А. В. Пешехонов в яркой брошюре «Почему я не эмигрировал?». Почему же? Да потому, что бежать – пусть от ужасов большевизма (чего А. В. нисколько в своей брошюре не отрицал и не умалял) Пешехонов считал – «противным чести» и, как подлинный народник, считал, что должен разделить судьбу своего народа. Короче, Пешехонов прозой писал то, что стихами писала Ахматова: «Но вечно жалок мне изгнанник / Как заключенный, как больной / Темна твоя дорога, странник / Полынью пахнет хлеб чужой». Посему Ахматова и не эмигрировала, хотела «быть с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». Скажу в скобках, я такого «*физиологического народолюбия*» с ущемлением моей личной свободы никогда не разделял и не разделяю. Если твой народ подпал под власть «разбойничьей шайки»[32], почему

[32] Еще в 1908 году известный с. д. Ю. О. Мартов (порвавший с Лениным) назвал Ленина и ленинцев «разбойничьей шайкой». А друг Мартова, столь же известный с. д. П. Б. Аксельрод назвал их «уголовными преступниками».

же и тебе под нее надо лезть? Под эту «разбойничью шайку»? Я стал эмигрантом без *моего волеизъявления.* Выслала Украинская директория под немецко-украинским конвоем. Но когда переехал границу всей этой всероссийской мерзости, называющейся «революцией», я вздохнул с истинным чувством облегчения. Слава тебе, Боже!

Вспоминаю, в революцию 1848 года в Германии к саксонскому королю пришла депутация народных представителей с требованием отречения короля и с проектом этого отречения, но они полагали, что король заупрямится, не пожелает и прочее. А король был умница, взял отречение, подписал и, возвращая, сказал: «Macht Euren Dreck alleine!». То есть – «Делайте ваше дерьмо сами». С саксонским мягким акцентом это звучит особенно хорошо. Сходным королевскому чувству было и мое облегчение при переезде границы. Конечно, король в эмиграцию не уходил. И вскоре был восстановлен. Я же – уходил (может быть, на всю свою жизнь) в чужую страну (так оно и вышло – *на всю жизнь*!). И передо мной, естественно, как перед всяким «изгнанником» (по Ахматовой) вставал выбор меж двумя ценностями – родина иль свобода? Не задумываясь, я взял свободу, ибо родина без свободы уж не родина, а свобода без родины, хоть и очень тяжела, может быть, даже страшна, но все-таки – *моя свобода.* Так что «надменные строки» Ахматовой о каком-то «изгнаннике» меня всегда необыкновенно отталкивали. Но вернусь к «возвращенчеству».

Охваченный сей народнической «ностальгией» и чувством «долга перед народом», А. Б. Пешехонов в середине 20-х годов стал проповедовать в Зарубежьи возвращение «домой», причем измерял российскую революцию тоже «французским термометром», полагая, что нэп это «Термидор», который излечит эксцессы и уродства большевизма, открыв дорогу здоровому всенародному строительству Новой России. Бот на эту «честную работу» с новой властью и звал за-

мечательный человек по своей душевной чистоте и публицистической одаренности, «младший соратник Короленки» Александр Васильевич Пешехонов.

Сам он и возвратился в Советский Союз, но, увы, куда хотел, *в коренную Россию* ГПУ Пешехонова не пустило. Когда-то Пешехонов писал, что советскому человеку некуда податься: либо могила, либо тюрьма, либо... советская служба. Из трех зол ему дали пока что меньшее: советскую службу, «прикомандировав» его «на время» к какому-то полпредству в Прибалтике, где он и умер совсем не старым – шестидесяти шести лет. Подтолкнули? Помогли? Ничего не известно. СССР – страна великих уголовных возможностей. Горький умер по-одному. Сын его Максим – по-другому. Фрунзе – по-третьему. Устрялов – по-четвертому. Артист Михоэлс – по-пятому. Киров – по-шестому. Зинаида Райх – по-седьмому. Слащев – по-восьмому. Разновидностей коммунистического «мокрушничества» не перечислить! А сколького мы не знаем!

Столь же страстную проповедь «возвращенчества» в середине 1920-х годов повела в зарубежной печати и Екатерина Дмитриевна Кускова. Я ее лично знал. И должен сказать, что счастлив, что знал эту выдающуюся женщину, Но мне думается, в Е. Д. был некий разлад: душа – христианка (настоящая), а рассудок – социал-демократ. Поэтому в частной жизни Е. Д. была человеком необыкновенным: всякому бросалась помочь; тут не было ни эллина, ни иудея, ни богатого, ни бедного, ни правого, ни левого – люди, и только люди! А вот в писаниях часто проявлялась куриная слепота социалистического доктринерства. Ее «возвращенческая» публицистика под лозунгом «засыпание рва» (то есть рва гражданской войны между эмиграцией и СССР) ничего кроме раздражения и неприязни к ней лично в эмиграции не вызвала. И особенно потому, что Е. Д. в своих писаниях была страстна, резка, но... не убедительна.

Вся зарубежная печать приняла «возвращенчество» в штыки: и эсеры, и кадеты, и эсдеки, и националисты, и монархисты. В этой полемике Е. Д. Кускову почему-то ядовито называли «мадам Кускова», что к ней как к человеку совершенно не шло: ничего «дамского» в ней не было. В чем же обвиняли «мадам Кускову»? В догматизме, схематизме, в соглашательстве с советской властью, в равнодушии к страданьям русского народа.

В некрологе Кусковой («Новый журнал», кн. 61) очень ее любивший М. М. Карпович по поводу двух последних обвинений писал: «В ее отношении к Советской власти усматривали соглашательство, не ощущая органической для нее невозможности примириться с каким бы то ни было режимом, построенным на насилии и фанатизме». И – «...прямо чудовищным для всех знавших Е. Д. звучат обвинения ее в равнодушии к страданьям русского народа. Если бы только обвинители знали, как тяжело она эти страдания переживала и как неутомимо старалась облегчить участь хотя бы отдельных жертв большевицкой революции! Упомяну только об одном, хорошо известном мне случае. Мне пришлось быть посредником между Е. Д. и одним бывшим участником белого движения, который обратился к ней с просьбой помочь ему вызволить из Советской России сына-подростка, оставшегося на руках у престарелой бабушки (мать была расстреляна как заложница). Я знаю, сколько сил и времени было затрачено Е. Д., прежде чем ей удалось исполнить просьбу этого лично ей неизвестного и политически несозвучного человека. Но ведь это один только случай, который надо умножить я не знаю во сколько раз, чтобы получить представление <...> о ее неоскудевающем сочувствии людям».

Я написал, что был счастлив лично знать Е. Д. Кускову. И это искренне. Но и у меня с ней была резкая (и может быть, даже грубая с моей стороны) полемика после Второй миро-

вой войны, когда она, продолжая стоять на позициях «возвращенчества», писала, что для советских послевоенных эмигрантов лучше возвращаться в СССР, чем оставаться в эмиграции. Я же писал, что она толкает этих людей в концлагерь на истязания, а может быть, и на смерть. Она отвечала мне тоже резко, называя меня «демагогом». Но и бесконечно привязанный к ней М. М. Карпович в том же некрологе писал: «Надо признать, что отчасти сама Е. Д. была виновата в возникшей вокруг ее писаний атмосфере непонимания, а иногда и враждебности <...> Помимо того Е. Д., конечно, бывала и по существу не права, что неоднократно признавали даже очень ее ценившие люди».

Не могу привести цитат из «возвращенческих» писаний Е. Д. 1920-х годов. Они рассеяны в разных газетах и журналах. Но я могу дать цитаты из ее послевоенных статей конца 1940-х и начала 50-х годов. «Народ не только поддержал большевиков в 1917 году, – писала Е. Д., – но он их поддерживает все эти годы». И это Е. Д. писала в 1950 году, когда по стране ходило: «Скажите, дошли мы до социализма или будет еще хуже?». И когда зверства концлагерей с их многомиллионным населением заключенных были в разгаре (и мы, эмигранты, это знали!). Концлагерная литература за рубежом уже была большая: Ив. Солоневич «Россия в концлагере», Ю. Марголин «Путешествие в страну зе-ка», Иванов-Разумник «Тюрьмы и ссылки», Г. Андреев «Трудные дороги», Ю. Бессонов «26 тюрем и побег с Соловков», Б. Ширяев «Неугасимая лампада», М. Розанов «Завоеватели белых пятен», воспоминания профессоров (мужа и жены) Чернавиных, Никонова-Смородина, Целиги, финна Седерхольма, О. Фельтгейма «По советским тюрьмам» и другие.

Муж Е. Д., С. Н. Прокопович («муж и жена – одна сатана!») был тоже в «возвращенчестве». В эти годы он писал: «Молотов защищает национальные и государственные инте-

ресы России», – и находил, что требование Дарданелл для СССР в острый момент послевоенных конфликтов – правильная политика. Рассудок-социал-демократ попутал Е. Д. в интерпретации даже такого грубо-пропагандного факта: когда в Вене советское командование «подарило» православному собору колокол, Е. Д. писала: «Какая глубокая перемена!» И она искренне, искренне верила в эти «перемены», пиша: «Компартии повсюду должны менять свою тактику и приспосабливаться к изменившейся народной психологии– в сторону жажды порядка, конструктивной борьбы с европейским хаосом <...> Коммунисты это хорошо понимают». А я всегда недоумевал, как могла родиться у Е. Д. эта политическая куриная слепота, ведь она-то, социалистка, знала большевиков вовсе не издали (как мы), а вплотную и долголетне. Одной ее высылки как члена Комитета помощи голодающим в Поволжьи в 20-х годах (в просторечии этот Комитет назывался «Прокукиш» – Прокопович, Кускова, Кишкин) было достаточно, чтобы увидеть бесовское (и звериное) лицо большевизма! Но нет, она его так и не увидела.

Резкую в Зарубежьи отповедь получал иногда и другой из четырех лидеров «возвращенчества» – М. А. Осоргин. Так, в 1925 году в газете «Дни» он напечатал фельетон, вызвавший, как говорится, «бурю негодования». Действительно, фельетон странноват. Михаил Андреевич (я его лично знал – такой же представитель «ордена русской интеллигенции») написал фельетон, якобы в ответ какому-то человеку, который считал, что он, Осоргин, в «значимости таблицы умножения» для человеческой жизни, кажется, сильно сомневается. Возражая, Осоргин писал: «А может быть, таблица-то умножения... того?». И, развивая тему, М. А. указывал, что вот революция сделана как раз «без таблицы умножения» и его оппонент, разумеется, не сомневался, что «мост, возведенный в октябре, сокрушится в течение одного месяца, трех дней, четырех ча-

сов и одной минуты». А вышло, что обвалился не мост, а эмигрантский «балкон ожиданий». А мост стоит «под самыми облаками – гирлянды из хрупких лилий и орхидеев без проволоки и цемента, и этот мост качается благоуханно на всех ветрах». И в поучение Осоргин рассказывает (по-моему, крайне легкомысленно) такой случай: через какой-то широкий ручей мужики для перехода положили бревно, и на его слова, что по этому бревну переходить опасно, одна баба тут уже сорвалась в воду, мужики будто бы ответили: «Ничаво, у нас баб много!» И в этом мужицком ответе Осоргин усматривал «маленькую правду», дискредитирующую «таблицу умножения».

Это «ничаво, у нас баб много» в зарубежной печати и вызвало негодование, ибо в «ничаво» усмотрели оправдание террора. Особо резко против «ничаво» выступил редактор «Руля» И. Б. Гессен в статье «Ловеласы революции» (Гессен рассказывает об этом в воспоминаниях «Годы изгнания»): «Это ловеласничество вызвало в «Руле» решительный отпор, в резкости которого и по истечении десятка лет не могу каяться, потому что оно представляло несомненно большую опасность, чем прямая просоветская пропаганда. Осоргин ведь был в числе высланных советской властью, следовательно – она имела основание считать его вредным, враждебным; если же и он готов принести ей в жертву «таблицу умножения», если ему, большевиками высланному, человеческие гекатомбы не портят благоухания революционной атмосферы, – как же не склониться перед победителями, кому же поверить, как не ему. Меня мучительно раздражало такое легкомысленное отношение к «ничаво, у нас баб много!», особенно со стороны человека, который сам находится вне этой категории и таблицу умножения громит в тепле и сытости». Гессен ставил Осоргину прямой вопрос: почему ж он, Осоргин, открыто не стал на сторону ленинцев, если –

«ничаво»? На что Осоргин (крайне неубедительно) отвечал, что он вообще против всякой власти и главное завоевание революции видит в том, что это она подорвала уважение к власти вообще.

Думаю, мало кого убедили возвращаться в СССР эти четыре публициста возвращенчества. Но смуту, полемику, ссоры они, естественно, невольно для себя в Зарубежьи вызвали. И евразийцев, и сменовеховцев обошла Москва и уничтожила. Без Москвы не обошлось, оказывается, и с возвращенчеством. Тут оказалась налицо утонченная большевицкая бесовщина. Об этом рассказал Владислав Ходасевич в статье «К истории возвращенчества», написанной в 1920-х годах, но опубликованной мной посмертно (Ходасевич умер в 1939 году) в редактировавшемся мной журнале «Народная правда» (№ 17–18,1951). Этот журнал давно стал «библиографической редкостью», и я думаю, поступлю правильно, если статью Ходасевича (на мой взгляд, ценнейшую!) полностью перепечатаю. Вот она. Ходасевич пишет:

«В «Днях» и в «Последних новостях» появилось перепечатанное из советских газет письмо Горького к Ганецкому по поводу смерти Дзержинского. Что Горький Дзержинского «и любил, и уважал», для меня с некоторых пор не ново. К тому же это дело его личного вкуса и его отношений с начальством. В его письме меня взволновало другое. Отныне я по совести не могу больше хранить про себя обстоятельство, которое из горьковского письма вскрывается лишь попутно, а между тем имеет общественное значение.

Я вынужден начать издалека. В конце 1924 года, в Сорренто у Горького около двух недель гостила его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова. Я в то время жил там же. До тех пор я с Е. П. Пешковой встречался лишь мельком. В моих глазах она была прежде всего председательница Политического Красного Креста, сумевшая даже от большевиков добиться того, чтобы они, закрыв Красный Крест, все-таки допустили ее хоть и единоличное, но дея-

тельное продолжение работы по облегчению участи тех, кому довелось стать жертвами ГПУ. Я смотрел на нее с уважением, которое по отношению к ней общепринято.

В Сорренто, из ее разговоров со мной и с другими лицами, а также из многих других обстоятельств, я с удивлением увидел, что к советскому режиму Екатерина Павловна относится восторженно, говорит цитатами из «Известий» и вообще держит себя «кремлевской дамой», вроде Коллонтай, Каменевой и других. С особенным постоянством обращалась она к той теме, что эмигрантам следует как можно скорее возвращаться в СССР.

Живя в Сорренто, Е. П. поддерживала оживленную переписку с некоторыми видными представителями эмиграции, в том числе с Е. Д. Кусковой. Из Сорренто Е. П. Пешкова 3 декабря 1924 года уехала в Россию. Уезжая, не раз говорила, что проездом должна побывать в Праге, чтобы там повидать Е. Д. Кускову «и других» (кого именно – не называла). На просьбы погостить еще – отвечала, что должна ехать, так как иначе не застанет Кускову в Праге, а между тем это свидание для нее важно. Спустя приблизительно месяца два после ее отъезда Горький однажды сказал мне, что в сентябре этого года (1925) истекает трехлетний срок, на который была условно выслана из России известная группа писателей, ученых и общественных деятелей, и что в сентябре же некоторые из них станут проситься обратно и поведут агитацию за возвращение. «Давно пора», – не раз повторил Горький.

Я выразил сомнение, чтобы это могло случиться. Но Горький настаивал на достоверности своих сведений и в точности назвал мне четыре имени: Е. Д. Кусковой, С. Н. Прокоповича, А. В. Пешехонова и М. А. Осоргина. На мой недоверчивый вопрос, откуда ему все это известно, он ответил, что от Е. П. Пешковой. При этом прибавил, что Екатерина Павловна ездила в Прагу, чтобы оказать непосредственное влияние на Кускову, Прокоповича и Пешехонова.

Признаюсь, я тогда разговору не придал значения. Он показался мне одним из тех политических фантазирований Горького, в которых он редко бывает удачлив и дальновиден. Однако недальновиден на этот раз оказался я. Именно в назначенный Горьким срок разразилась кампания, получившая название «возвра-

щенской» и поднятая именно теми лицами, которых назвал мне Горький.

Когда возвращенчество обозначилось и когда действительность подтвердила назначенные Горьким имена и сроки, я понял, что слова Горького о роли Е. П. Пешковой были, к несчастью, не фантазией, а правдой. Когда же выяснилось, что влияние московских сфер на зачинателей возвращенчества имело целью не действительное возвращение их в Россию, а лишь смуту в умах и сердцах эмиграции, то есть ее раздробление и разложение, тут стало для меня ясно, что Кускова, Прокопович и Пешехонов сделались жертвами провокации.

Начиная с сентября 1925 года я неоднократно и гораздо более подробно излагал свои сведения ряду лиц, в том числе М. А. Алданову, М. В. Вишняку и другим. Не сомневаюсь, что они помнят наши беседы. Должен заметить, что серьезного значения моим словам никто придать не пожелал. Общераспространенное доверие к Е. П. Пешковой было сильнее моих доводов, да и сам я ее обвинял лишь в том, что она бессознательно и легкомысленно выполняет миссию, на которую ее незаметно толкает ГПУ. Как на толкающую силу я, впрочем, тогда же прямо указывал на Дзержинского. Но когда я говорил, что Екатерина Павловна отзывается о нем с уважением, с любовью, с нежностью, что он – ее близкий личный друг, что она и в разлуке проявляет о нем трогательную, даже сентиментальную заботливость, – тут уж мне просто не верили, без всяких оговорок.

Да и трудно было поверить, что «утирающая слезы» Е. П. Пешкова столь душевно близка к главному палачу. Самому мне порой казалось, что я что-то преувеличиваю. Но я припоминал разговоры, факты и вновь убеждался в верности своих наблюдений. И снова какое-то сомнение все-таки меня мучило: слишком тяжело верить себе самому, когда дело идет о таких вещах.

Поэтому не с радостью удовлетворенного самолюбия («вышло по-моему!»), а с болью в сердце и с ужасом прочитал я теперь в письме Горького полное подтверждение моих мыслей: приводимый Горьким отрывок из «трагического письма» Е. П. Пешковой по

поводу смерти Дзержинского: «Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его».

Она возбуждала возвращенчество с ведома Дзержинского. При таком отношении она в этом деле не могла поступать без ведома того, кого это в первую очередь касалось и кто ей был так «бесконечно дорог». А с ведома – значит, по поручению.

Я думаю – нет надобности говорить, что все это я пишу не для того, чтобы как-нибудь «опорочить» лично Кускову, Пешехонова, Прокоповича. Вполне допускаю, однако, что они будут возражать, ибо никто не любит сознаваться в своих ошибках, а политическому деятелю особенно трудно бывает сказать: «Да, меня спровоцировали». Конечно, нелегко будет Кусковой, Прокоповичу, Пешехонову согласиться с тем, что я за семь месяцев вперед знал, когда именно их должно с особою силой потянуть на родину. Но я виноват только в том, что мне за кулисами показали веревочку, за которую их потянут.

Я не политик. Я предпочел бы писать другое. Но наше дьявольское время порой заставляет меня выступать с описаниями того, что скрывать я считаю себя не вправе. Так и сейчас изложил я факты и сделал краткие сопоставления – лишь потому, что по совести молчать о них больше не могу. Я не должен скрывать то, что известно мне о зарождении возвращенчества. Я обязан сказать, кем соблазнены и куда завлечены его вожди, а за ними и более широкие круги эмиграции.

Владислав Ходасевич

Этим и закончу рассказ о «возвращенческой» иллюзии примирения.

В газете «Накануне»

В марте 1922 года в Берлине начала выходить ежедневная сменовеховская газета «Накануне» под редакцией профессоров Ю. Ключникова и Г. Кирдецова, при ближайшем участии профессоров С. Лукьянова, Ю. Потехина и Б. Дюшена. Сотрудниками «Накануне» стали некоторые видные эми-

грантские писатели и журналисты – Алексей Толстой (редактор «Литературного приложения»), А. С. Ященко (редактор «Научного приложения»), Ив. Соколов-Микитов, А. Дроздов, А. Ветлугин (Рындзюк), Нина Петровская (Рената из «Огненного ангела»), Н. Василевский (Не-Буква), экономист Вугман, репортеры Вольский, Шенфельд (Россов) и другие. В эмиграции газета встретила недружелюбное отношение, ибо идея «примирения с советской властью» массой эмиграции не разделялась. Не знаю, кто финансировал «Накануне», но думаю – через какое-нибудь подставное лицо она издавалась на советские деньги. Для сменовеховцев, звавших к примирению с властью и возвращению в Россию, эти деньги не были «бубновым тузом». Для массы же антибольшевицкой эмиграции (совершенно правильно!) были.

Станкевичи тогда жили еще в Берлине, и В. Б. хотел начать сотрудничать в «Накануне», что вызвало резкое сопротивление Наталии Владимировны. Она ни за что не хотела, чтобы В. Б., получил наименование «сменовеховца», хотя по сути сменовеховцы стояли на той же позиции примирения, что и журнал Станкевича «Жизнь». Помню, генеральное сражение у Станкевичей было при мне. Владимир Бенедиктович его проиграл. Но не столько из-за доводов Наталии Владимировны, сколько из-за довода В. С. Войтинского. Войтинский говорил Станкевичу так: «Владимир Бенедиктович, я понимаю вашу точку зрения, понимаю вашу политическую позицию, но если вы хотите сотрудничать с советской властью, то есть писать для советского читателя, то лучше пишите прямо в «Известиях», чем в «Накануне», потому что «Накануне» – это большевицкий политический «камуфляж». Попробуйте писать прямо туда, в „Известия“». Довод Войтинского подействовал. В. Б. отказался от того, чтобы стать сотрудником «Накануне». Но и в «Известиях», конечно, никогда не писал.

Я сотрудником «Накануне» стал. И произошло это так. К нам в «Новую русскую книгу» как-то пришел Алексей Толстой, уже редактировавший «Литературное приложение». В разговоре спросил меня: «Роман Гуль, нет ли у вас чего-нибудь для «Литературного приложения»? Я слышал, вы роман пишете?» – «Романа не пишу, а некую повесть пишу». – «Вот и великолепно! Дайте отрывок для „Литературного приложения“». – «Хорошо, что-нибудь выберу».

Я дал Толстому отрывок из повести «В рассеянии сущие», который появился в ближайшем номере «Литературного приложения» к «Накануне» от 22 мая 1922 года. У кое-кого из моих знакомых это вызвало некий «взрыв». Но, конечно, не коснулось моих друзей – Станкевичей, Николаевского и других. А в правление «Союза русских писателей и журналистов» Владимир Евгеньевич Татаринов (в прошлом харьковский журналист) подал тогда письменное заявление, предлагая исключить из «Союза» всех сотрудников «Накануне». Думаю, он по-своему был совершенно прав. Но судьбе было угодно над этим его «действом» улыбнуться. В 1947 году в Париже в правление «Союза русских писателей и журналистов» я и С. П. Мельгунов (члены правления) подали составленное мной заявление об исключении из «Союза» всех членов «Союза советских патриотов» и сотрудников газеты «Советский патриот», выходившей в Париже. Общее собрание состоялось, и «советские патриоты» были, по-моему и Мельгунова предложению, исключены. Среди них оказался и Владимир Евгеньевич Татаринов, в те дни ставший архисоветским патриотом и фактическим редактором пробольшевицкой газеты на русском языке «Русские новости», выходившей также в Париже. Вместе с своим другом Арсением Федоровичем Ступницким В. Татаринов был вхож тогда в советское посольство, вместе с А. Ф. Ступницким загонял на прием к совпослу Богомолову В. А. Маклакова. Так что мы с

Татариновым через 25 лет «обменялись ролями», но, «без лести преданным» и «своим в доску», каким оказался В. Е. Татаринов в Париже, я никогда не был.

Итак, в Берлине 1922 года состоялось общее собрание «Союза писателей и журналистов», на повестке которого стояло исключение сотрудников «Накануне». Постоянным сотрудником «Накануне» я тогда не был, но так как я там напечатался, то счел для себя правильным прийти на собрание и быть тоже исключенным. Надо сказать, что в «Союзе» у меня было много друзей, которые моего исключения не хотели. За несколько дней до собрания ко мне пришел Юрий Офросимов и сказал примерно так: «Роман, многие не хотят тебя *исключать*, и мне сам Гессен сказал, чтобы я предложил тебе просто подать заявление о выходе. И все».

Тут я должен сделать экскурс в область своей психологии и характера. Говорят, во мне есть некая закидчивость и «любовь к сражению». Некоторые называли это даже «неистовостью», «неуемностью» и прочим. Это не совсем так. Я просто не люблю (и даже не терплю) *стадности*. И это с отроческих лет. Я всегда хотел и хочу по своей «по глупой волюшке пожить», я – фанатик своей собственной свободы и посему в жизни часто шел «поверх барьеров». Так, бросив все, я ушел в Ледяной поход. Так я ушел из Добровольческой армии. Так я отказался ехать в гражданскую войну из Германии и остался в ней дровосеком.

Так я написал «Ледяной поход». Вот и тут я «закинулся», если хотите. Я сказал Юрию, что с «черного хода» уходить из «Союза» не хочу. А поэтому я не только не подам никакого заявления о выходе, но приду на общее собрание и во всеуслышание попрошу об одновременном со мной исключении редактора «Руля» профессора А. Каминки за его торговлю с большевиками целлюлозой в Прибалтике и главного редактора «Руля» И. Б. Гессена за то, что он, как я слы-

шал, посетил в Берлине приехавшего из Ленинграда представителя Госиздата коммуниста Илью Ионова, предлагая ему купить книги, изданные Гессеном в издательстве «Слово». Кстати, через несколько лет, когда однажды К. Федин познакомил меня в Берлине с И. Ионовым, последний этот факт подтвердил. Юрий Офросимов был человек не только уж не закидчивый, но даже, к сожалению, несколько трусоватый. «Роман, – взмолился он, – ради Бога, ты же лезешь на рожон, на скандал. Зачем это нужно?» «Я не знаю, зачем и кому это нужно, – сказал я, – но так и передай Гессену, что я сделаю именно так, как я тебе сказал». Юрий был удручен, но увидел, что меня тут не сломишь.

Так все и вышло. Я пришел на собрание и сказал все так, как говорил Юрию. Это произвело некое неудобное замешательство. Я видел, что председательствовавшему И. Б. Гессену это было неприятно, хоть он и улыбался, но никаких опровержений не последовало. Разумеется, всех сотрудников «Накануне» исключили (и правильно, по-моему, сделали).

После отрывка из повести «В рассеянии сущие» я в «Накануне» ничего не помещал. Но когда Алексей Толстой уехал в Советскую Россию насовсем, мне предложили редактировать «Литературное приложение» и для сего пригласили зайти в редакцию. В письме ко мне от 30 марта 1924 года из Праги Марина Цветаева писала: «Из России я выехала 29-го апреля 1922 г. Скучаю ли по ней? *Нет* (курсив М. Цветаевой. – *Р. Г.*). Совсем не хочу назад <...> Редактируете «Накануне»? Не понимаю, но принимаю, потому что Вы хороший и дурного сделать не можете». Марина не могла тогда, конечно, даже представить себе, какую «дурную», страшную «смену вех» придется проделать ей вместе с мужем С. Эфроном и чем они оба за это заплатят. Расстрелом и самоубийством.

Редакция «Накануне» занимала обширное помещение. Меня приняли С. С. Лукьянов и Г. Л. Кирдецов. Профессор Лукьянов – сын бывшего обер-прокурора Святейшего синода. Человек воспитанный, довольно молодой, среднего роста, лицо как лицо, ничего примечательного. Но Г. А. Кирдецов мне сразу не понравился. Он был уже в годах, отталкивающей внешности (Кирдецов – это был, кажется, псевдоним). По всем своим манерам он был типичнейший, видавший всякие виды и во всех водах мытый *газетчик*. В эмиграции он издал книгу «У ворот Петрограда» (1919–1920) – о наступлении генерала Юденича на Петроград. Потом болтался где-то в Прибалтике, ни с какими сменовеховскими писаниями никогда не выступал и вдруг... оказался в редакторском кресле «Накануне»? Кончил тоже, кажется, вполне благополучно, уехал в Москву, где работал в Наркоминделе.

На неблагообразном лице Кирдецова неизменно плавала какая-то непонятная и неприятная ухмылка. В разговоре (именно с этой ухмылкой) он сказал мне, что на «Литературном приложении» указания, что я редактор, не будет. «Вы понимаете, конечно, что у вас такого имени, как у Толстого, нет». – «Разумеется. Я ни к какой рекламе и не стремлюсь».

Так я начал работу редактора «Литературного приложения». Это было в июле 1923 года и длилось до июня 1924 года, когда «Накануне» закрылась «за ненадобностью». В «Литературном приложении» сотрудничали многие писатели из Советской России: Михаил Булгаков, А. Мариенгоф, Б. Пильняк, Н. Никитин, Осип Мандельштам, Юрий Слезкин, К. Федин, Б. Катаев, М. Волошин, Всев. Иванов, Вл. Лидин, Всев. Рождественский, П. Орешин, А. Неверов, Корней Чуковский, Л. Никулин, Э. Голлербах и другие. Сотрудничал живший в Берлине А. Кусиков. Из эмигрантской молодежи я привлек своих друзей Юлия Марголина (в будущем автора замечательной книги «Путешествие в страну зека») и поэта Георгия

Венуса (вернувшегося с семьей в СССР и расстрелянного через несколько лет), кроме них – поэта Вадима Андреева (сына Леонида Андреева), написавшего об отце хорошую книгу, поэтессу Анну Присманову и других. Некоторое время сотрудничал и мой друг Вл. Корвин-Пиотровский.

К сменовеховцам-политикам я отношения не имел. Они вели газету, я же приезжал редактировать и верстать свое «Литературное приложение». Но всех редакторов газеты я узнал. Юрия Вениаминовича Ключникова я встречал несколько раз, помню, говорили мы о его пьесе «Единый куст», которую он написал в Париже. Довольно высокий, плотный, с темными волосами, зачесанными назад, с лицом правильным, но ничем в глаза не бросающимся, с тихой спокойной речью, Ключников не был таким ярким человеком, как, например, Степун, Толстой, Маклаков, но был, конечно, «личностью». Он был умен, образован; вскоре он уехал из Берлина. Как я уже упоминал, его взял Г. Чичерин на Генуэзскую конференцию в качестве «советника» (разумеется – «статиста для пропаганды» и, вероятно, по чекистскому рецепту, и для «усыпления» бдительности самого Ключникова). Затем он уехал в РСФСР и погиб в «ежовшину».

Сергея Сергеевича Лукьянова я встречал не часто. Легко писавший, образованный, владевший иностранными языками – по отъезде Ключникова он фактически стал «передовиком» газеты, пиша об исторически неизбежном переходе большевицкой диктатуры к формам «трудовой демократии». Судьба его сложилась страшно. По закрытии «Накануне» он с женой переехал в Париж, откуда при каких-то странных обстоятельствах он был выслан французской полицией (как мне говорили, даже будто бы с применением «наручников») в Советскую Россию, В Москве на некоторое время стал редактором «Журналь де Моску», а потом – Ухт-Печерский

концлагерь, где его забили насмерть на допросах. В лагере же оказалась и его эффектная красивая жена.

Г. Л. Кирдецова я почти не встречал, никаких дел у меня к нему не было. Ю. Потехина встречал на его докладах о поездках в Москву и о встречах с советскими писателями. Потехин не был яркой фигурой и, как все политики-сменовеховцы, скоро уехал в Москву. Что с ним стало – Бог весть. Был в газете репортер Вольский, который тоже уехал в Советскую Россию и там был расстрелян как «агент румынской сигуранцы». Была ли тут хоть доля правды или это была «легенда» ОГПУ? Уехал скоро в Россию и другой репортер – Шенфельд (Россов). Мельком встречал профессора С. Чахотина – человека архикнижного, странноватого, не от мира сего, старого приятеля Федора Степуна. Он тоже вернулся в Советскую Россию. Что с ним стало – не ведаю. Кажется, неожиданно дожил до старости.

Б. В. Дюшен

Но кого я довольно часто встречал и кто был человек яркий и запоминающийся – это Борис Вячеславович Дюшен. Хорошего роста, хорошо скроенный, с правильными чертами лицами, лишенного всякой растительности, нерусского, а скорее французского типа (он и был французского происхождения). Очень разговорчивый, веселый, ко всем благожелательный, всем готовый помочь, с ласковой улыбкой вне времени и пространства, Дюшен был приятным человеком. И при всем том мне всегда казалось, что он – «нарисованная дверь», по выражению Зинаиды Гиппиус, примененному к И. И. Фондаминскому-Бунакову. Дверь-то *нарисована,* поэтому и войти в нее нельзя. Было в Дюшене что-то оптимистически-авантюристическое. Казалось, при надобности Борис

Вячеславович ни перед чем не остановится, через все перешагнет.

Биография у Б. В. Дюшена была яркая. Был он сыном военного, был в эсерах, даже, кажется, в бомбистах, по специальности инженер, был фронтовым офицером, научным работником, лектором, автором многих научно-популярных книг, был журналистом, членом Учредительного собрания, комиссаром Временного правительства в Ярославле. Во время ярославского восстания 1918 года, к которому был причастен Б. Савинков, Дюшен был восставшими восстановлен в должности комиссара Временного правительства и принял в восстании самое активное участие. Подавившие восстание ворвавшиеся в Ярославль большевики за голову Дюшена назначили какую-то солидную сумму. Но чудом Борису Вячеславовичу удалось спастись. Как-то у него за чайным столом он рассказал мне и А. С. Ященко, как он спасся. Придя домой, я тогда же это записал.

Рассказывал Дюшен так: «До последнего я оставался в губернаторском доме (обычная резиденция комиссаров Временного правительства в губернских городах). Когда в город уж ворвались большевицкие банды, я бросил все, взял револьвер и вышел на Пушкинский бульвар. Было раннее утро. На окраине шла стрельба. На бульваре ни души. Я шел с револьвером по бульвару. Потом сел на скамейку и думаю: сейчас кончать или немножко подождать? Но может быть потому, что утро было чудесное, я решил подождать. А стрельба все близилась с окраин к центру. Взглянул я на небо, на револьвер и вдруг почувствовал, что смертельно устал от всей этой ерунды, называемой жизнью. Встал. Оставалось немножко приготовиться. И вдруг сзади услышал шаги и странное бормотание. Оглянулся: прямо на меня идет человек. А стрельба с окраин все близится, разгорается. Человек

подходит, и я вижу, это мой друг, рабочий, и совершенно пьяный.

Он говорит:

– Ты что тут делаешь? – И, увидав у меня револьвер: – В каюк, что ль, сыграть хочешь?

– Да, думаю, – говорю.

– Брось, идем со мной, я тебя схороню.

Я пошел за ним молча, терять мне было нечего – застрелиться всегда успею. Он качается от опьяненья, а я от усталости. Дошли до базарной площади. Никого нет. Но на площадь уже падают снаряды. Посреди же площади стоит странная какая-то, как «китайская», лавочка. Довел он меня до нее и говорит: «Лезь на потолок и лежи тихо, когда надо, я приду за тобой». Я полез на эти самые полати, я он – слышу – ушел.

Лежать на слегах неудобно. Ну да и на бульваре валяться трупом не Бог весть какое удобство. Лежу и даже в щель смотрю, как в обратную сторону уходит мой приятель. А разрывы снарядов на площади все учащаются. И вижу вдруг столб дыма, пропал мой друг, дым прошел, а он лежит на земле, не двигается. Пофилософствовал я тут, но делать нечего – остается только лежать.

Лежал я сорок восемь часов, а на сорок девятом стало совершенно невмочь. Чувствую – сдохну. Пусть уж лучше на улице, чем на этих самых полатях. И вылез я ночью, народу никого. Подошел к какой-то стеклянной двери, посмотрел на себя – не узнаю совершенно: стоит передо мной старик лет эдак на двести. Ну, думаю, стало быть, меня и на свете нет. Так и пошел из города. У плаката с оттиском моего изображения и наградой за поимку остановился. Ценили меня дорого! А я шел и шел, ушел за город, шел по лесу, всякую гадость ел, грибы, землянику. Потом на одной маленькой станции, которую хорошо знал, прыгнул в поезд и поехал...»

Так же, как и Ключников, Б. В. Дюшен бежал из Ярославля, кажется, в Казань, оттуда в Сибирь, а оттуда в Европу, но в этом я не уверен. В Европе сначала он жил в Прибалтике, там и сошелся с Г. Л. Кирдецовым, потом – в Берлине, где в издательстве «Знание» выпустил ряд научно-популярных книг. В «Накануне», думаю, привлек Дюшена его старый знакомый по Ярославлю Ю. В. Ключников.

Квартира у Дюшена была большая, хорошо обставленная, жили они не стесняясь, часто устраивали званые чаи и обеды. Жена его Фаина (забыл отчество, кажется, Александровна) была очень милая женщина, несложная, дочь сельского священника – обожала своего Борю.

Помню, как-то Борис Вячеславович пригласил на вечер, на чтение Анатолия Каменского, много писательского народа. Я пришел с некоторым опозданием. Были Ященко, Корвин-Пиотровский, Наталия Потапенко, Нина Петровская, инженер Сергей Зелигер, кто-то еще. И, конечно, сам Анатолий Каменский. Но что меня удивило, были еще два господина, и, знакомя с ними, Дюшен сказал: «Знакомьтесь, пожалуйста – советник посольства Братман-Бродовский и второй секретарь» (он назвал фамилию, но я ее запамятовал). Эти сотрудники посольства сидели по сторонам «гвоздя вечера» Анатолия Каменского, с которым я был уже знаком. Люди из посольства были оба польские евреи, с той только разницей, что секретарь – мефистофельски черный – говорил хорошо по-русски, лишь с мягким польским «л», а советник посольства Братман-Бродовский говорил как-то кряхтя, плоховато, с сильным акцентом. И вообще производил отвратное впечатление: неуклюжий, рыжий, громоздкий. В ежовщину Сталин расстрелял его так же, как большинство из окружения берлинского полпреда Н. Н. Крестинского.

За чайным столом сидевшая со мной Нина Петровская (с ней в Берлине я дружил) шепнула, что у А. Каменского в

прежней Москве в писательских кругах было прозвище: «Калмыцкая Богородица». Не знаю почему, но прозвище было великолепно и очень ему подходило. Как я узнал на этом вечере, Анатолий Каменский решил, оказывается, возвращаться в РСФСР, и я понял тогда, что у Дюшена происходят явные «смотрины» его полпредскими чиновниками, перед которыми, надо сказать, Каменский глупо и дико лебезил. После вкушения всяческих «приятностей» за обильным чайным столом (Дюшен принимал всегда широко) Каменский стал читать какую-то свою новую пьесу. Она была так бездарна, что я даже не запомнил, о чем была речь. Но не в таланте суть. Каменский действительно скоро уехал в Москву. Конечно, автор «Леды» никак не был нужен «социалистической литературе», но большевики подметали всех более или менее видных писателей из эмиграции. Мне рассказывали, что спервоначала где-то в витрине на Тверской была даже выставлена большая фотография Каменского с подписью, что это автор известной пьесы «Леда», вся «известность» которой состояла в том, что игравшая главную роль Леды актриса Шатрова (жена Каменского) появлялась на сцене в чем мать родила. Тогда, в 1900-х годах, это был, конечно, невыносимый «модерн», страшный «прогресс», «взрыв всех традиций», «пощечина общественному вкусу». По теперешним понятиям это – невиннейшая невинность. Нас уже приучили к куда более увесистым «пощечинам»...

Анатолий Каменский был мелкий писатель и мелкий человек. До этого я встретился с ним на обеде-приеме Маяковского неким Женей Манделем и его женой (они вернулись в РСФСР и где-то там сгинули). И я был свидетелем, как Каменский подхалимствовал перед Маяковским. Он говорил: «Владимир Владимирович, ведь такого знатока русского языка у нас кроме вас нет!» Подхалимаж был примитивно-глуп, ибо никаким «знатоком русского языка» Маяковский никогда

не был, да и не выдавал себя за такового. Он всячески деформировал язык – да, иногда удачно, иногда неудачно, безвкусно. На подхалимаж Каменского Маяковский отвечал каким-то неопределенным мычанием.

Позже, припоминая многое, мне казалось, что в отъезде Каменского в Москву помог ему Б. В. Дюшен. Утвердился я в этом, когда много лет спустя А. С. Ященко как-то, посмеиваясь, сказал мне, что А. Дроздов и Глеб Алексеев так скорострельно и тайно от всех уехали в РСФСР «с помощью Дюшена». Причем (как я уже говорил) белобандита А. Дроздова сразу ввели в редколлегию какого-то толстого советского журнала, а белобандиту Глебу Алексееву в первые же дни в Москве Союз писателей устроил литературный вечер под председательством старейшего писателя Ивана Новикова. Позднее приезжавшие в Берлин Федин и Груздев предупредили меня, чтоб с Алексеевым в переписке я был осторожен, ибо он «плохо пахнет», «дружит» с чекистом Яковом Савловичем Аграновым. Борис Суварин, опубликовавший по-французски свои «Последние беседы с Бабелем»[33], пишет, что на вопрос, кто такой Агранов, Бабель ответил: «Блестящая карьера! У него полная власть в районе Москвы, охраняет безопасность правительства. Это – кое-что»! Разумеется! Даже больше чем «кое-что!» Но когда до этого «*кое-что*» дотянулись Ежовы «рукавицы» и Агранова «шлепнули», очередь пришла и за его услужающим. Только чекисты, пришедшие за Глебом Алексеевым, – проиграли. Алексеев успел выброситься из окна и разбился насмерть. Для этого стоило «ворочаться на дорогую родину».

[33] B. Souvarine. Derniers entretiens avec Babel // Contrepoint. 1979. № 30.

Рената из «Огненного ангела»

Сотрудничала у меня в «Литературном приложении» Нина Ивановна Петровская – Рената из «Огненного ангела» Валерия Брюсова и его долголетняя любовь. Как Рената Н. И. вошла в символистскую литературу. Но между символистскими временами и «накануневскими» – разверстая пропасть. В прошлом Н. И., вероятно, была привлекательна. Следы былой (пусть не красоты, но) привлекательности в ее облике были. В письмах 1904 года А. Блок писал о ней: «Очень мила, довольно умная». Но в «накануневские» времена это «мила» к Нине Ивановне уже, разумеется, не подходило.

Лет под пятьдесят, небольшого роста, хромая, с лицом, намакиированным всяческими красками свыше божеской меры, как для выхода на большую сцену, Нина Ивановна, правду говоря, производила страшноватое впечатление. Это была женщина очень несчастная и больная. Алкоголичка, Н. И. почти всегда была чуть-чуть во хмелю, одета бедно, но с попыткой претензии – всегда черная шляпа с сногсшибательно широкими полями, как абажур. Острая на язык. Я с Н. И. дружил.

Настоящей писательницей Н. И. никогда не была, а сейчас уж и вовсе мало что могла написать. Но хорошо зная итальянский (всю войну прожила в Италии), Н. И. переводила какие-то короткие итальянские новеллы и снабжала ими «Литературное приложение». Печатал я их (да и Толстой до меня) не из-за их качества, а чтобы как-то поддержать Н. И.: грошовая построчная плата была ее единственным заработком. А она была не одна. Везде и всегда, неразлучно, Н. И. появлялась вместе с своей сестрой Надей, производившей тяжелое впечатление: крошечного роста, с туповатым выражением глаз, с какими-то словно смазанными чертами лица,

Надя всегда ходила под руку с Ниной. Ходасевич в «Некрополе» пишет о Наде: «Существо недоразвитое умственно и физически (с ней случилось несчастье в детстве: ее обварили) <...> Идиоткой она не была, но отличалась какой-то предельной тихостью, безответностью, была жалка нестерпимо и предана старшей сестре до полного забвения». Думаю, у Нины Ивановны могла быть и боязнь пространства, и одной ей было трудно выходить, да и свою ущербную сестру одну оставить дома было нельзя. Так они и появлялись всегда вместе.

По роману «Огненный ангел» Нина была – Ренатой, Брюсов – Рупрехтом, а Андрей Белый – графом Генрихом. В те баснословные года, когда московские декаденты-символисты тщились превратить свои жизни в «поэмы», в «незабываемые миги», в «трепет без конца», Нина Петровская в Политехническом музее в упор из браунинга стреляла в Андрея Белого за то, что он «бежал от соблазна» ее «слишком земной» любви. К ее счастью (и к счастью Белого), браунинг дал осечку. А после разрыва с Белым Нина сошлась с самим «магом» декадентов, с занимавшимся «черной магией», оккультизмом и всякой «дьявольщиной» Валерием Брюсовым («Берем мы миги, их губя»). Оба пристрастились к морфию («Где же мы – на страстном ложе / Иль на смертном колесе»). Помню, как-то Нина Ивановна в неком подпитии рассказала, как они с Брюсовым были где-то за границей (в Париже, по-моему) и как «весь день, не выходя из номера гостиницы, он в одних подштанниках по номеру со шприцем бегал». Но все имеет свой конец. И «миги» кончились («Быть может, все в жизни лишь средство / Для ярко-певучих стихов»). Брюсов довольно грубо бросил Нину, отослав из Москвы за границу. Нина оказалась «на смертном колесе». Здесь она пыталась покончить самоубийством. Ходасевич говорит – она «выбросилась из окна» в Париже. Но Толстой рассказывал иначе, будто Нина

Ивановна бросилась под автомобиль в Мюнхене. Как бы там ни было, но попытка самоубийства сделала Н. И. калекой на всю жизнь: она осталась хромой.

Война застала ее в Риме в ужасающей нищете: просила милостыню, голодала, пила, а порой «доходила до очень глубоких степеней падения» (по Ходасевичу). Алексей Толстой не был густо населен добротой ни к ближнему, ни к дальнему. На тех и других ему было плевать в высокой степени. Но справедливости ради надо сказать: это он вытащил Нину в 1922 году в Берлин и устроил ее сотрудничество в «Накануне». Думаю, из-за того, что она несомненно была неким «живым памятником символизма». Для Нины Берлин был «выходом» из отчаяния.

Я к Нине Ивановне относился хорошо, и мы довольно часто встречались в компании – она (с Надей, конечно), художник Н. В. Зарецкий, поэт Корвин-Пиотровский, я. Всегда, разумеется, с «возлиянием». Без этого встреч с Ниной Ивановной, разумеется, и быть не могло. Да и все мы – надо признаться – выпивали тогда неплохо.

Рассказы Н. И. о баснословных московских годах символизма были красочны. Но будучи человеком «у последней черты», Нина Ивановна постных разговоров не любила. Они ей были пресны. Она любила острые блюда. И рассказы ее всегда были рискованного содержания – эдакая «обнаженность» прозы. Поэтому полностью многое предать гласности не решаюсь. Но кое-что расскажу. Помню, как после моего доклада в узком литературном кружке о поэзии Ходасевича (меня тогда занимал некий эротический подход к искусству) Нина Ивановна пришла просто в полный восторг. «Роман Борисович, да вы даже не представляете, как вы попали в самую точку! Ведь я же Владислава знаю как голенького!» И дальше шел довольно нецензурный рассказ о Ходасевиче и

его первой жене художнице с каким-то странным наименованием – Коза Роза (что-то в этом роде)[34].

Но прочтя мою брошюру об Андрее Белом, о бесполости его творчества, Нина Ивановна *с* таким же азартом стала мне возражать. «Нет, нет, это не то, у вас выходит, что Белый – какая-то полная бесполость. А на самом деле все обстояло не совсем так. Уж мне-то поверьте, я эту тему лучше вас знаю», – с хриплым смехом (она много курила) говорила Н. И. – «Ну, конечно, Нина Ивановна, тут вам и карты в руки». – «Ну так вот я вам и говорю: он вовсе был не беспол... Но *это* ему было не так нужно, как другим... Он прекрасно мог обходиться и *без этого...*» – «Ну, стало быть, вы подтверждаете мою тезу?» – «Подтверждаю-то подтверждаю, да не совсем». – «Да я и не утверждаю, что „совсем“...»

Как-то случайно заговорили о Ященко, и Нина Ивановна начала хохотать, говоря: «А вы знаете, что он золотой? Нет?» – «Как так?» – «Да вот так! Я же видела его нагишом, ну совершенно нагишом – и он весь в золотом пуху. А на одной ноге у него большой палец стоит вверх...» – «Да откуда у вас эдакая осведомленность об Александре Семеновиче?» И Нина Ивановна рассказала, что на каком-то таком символистском вечере в Москве, где читались стихи, много пилось, много говорилось о всяких «чарах», «мигах», «одержимости», «оргиазмах», когда вечер был в полном разгаре, далеко за полночь, Брюсов предложил потушить электричество и всем раздеться. А через десять минут – зажечь. Согласились. Электричество потушили. И через десять минут зажгли. Что же все увидели? Никто, оказывается, не разделся, кроме Ященко.

---

[34] Об этой «Козе-Розе», помню, Ященко рассказывал, что была она «необычайной красоты и совершенно бесстыжая, приходит, бывало, на литературное собрание, идет прямо к столу, в руках какое-нибудь необыкновенные орхидеи, сбрасывает шубу и садится за стол совершенно голая, ну совершенно нагишом!» – хохотал Ященко.

Он один стоял голый. Поднялся общий хохот, выкрики. И страшно смущенный Ященко начал торопливо одеваться, прикрывая свою адамову наготу. Тут-то Нина Ивановна, оказывается, и разглядела, что Ященко «золотой» и большой палец на одной ноге стоит вверх.

Как-то при встрече с Ященко я рассказал ему про этот эпизод, спросив, правда ли, что он золотой? По смущению Ященко я увидел, что рассказ Нины Ивановны был, конечно, сущей правдой. Но Ященко все-таки пробормотал: – «Что вы слушаете эту истеричку, врет она все, ничего подобного никогда не было...» Видно, профессору международного права было неудобно вспоминать свои «шалости амура».

Какие-то чудовищные вещи Нина Ивановна рассказывала про Бальмонта, которого хорошо знала. Рассказывала, что когда она была женой С. А. Соколова-Кречетова, ведшего издательство «Скорпион», у них часто собирались братья-писатели, художники, актеры, все, кто были близки к тогдашнему декадентству и символизму. И вот раз, за большим пиршеством, она, хозяйка дома, сидела за столом рядом с Бальмонтом. Компания была шумная, большая, ели, пили, говорили, кричали. Потом Нина Ивановна, как хозяйка, встала пойти на кухню о чем-то распорядиться. А в кухне кухарка так вдруг и ахнула: «„Барыня, говорит, да что это вы вся мокрая...“ Взглянула я на свое платье, и вижу, действительно, что с одной стороны (с той, с которой сидел Бальмонт) я вся мокрая. Пришлось идти переодеваться». «Так что же он сделал?», – не совсем догадался я. «Как что? – недоумевающе проговорила Нина Ивановна, – обмочил меня всю... Нарочно, конечно...» Я выразил свое крайнее удивление, как это он так словчился, а главное, зачем? «Зачем? – переспросила Нина Ивановна, – вы не знаете Бальмонта, в другой раз было хуже. Звонит как-то Бальмонт, говорит, хочет зайти. Я ему говорю, что Сергея Алексеевича нет. А он отвечает, что ему его и не

надо, поэт хочет видеть меня и читать мне свои стихи... Ну, говорю, приходите. Пришел он, долго сидел, все читал свои стихи, потом позвала меня прислуга, я извинилась, вышла. Возвращаюсь в гостиную минут через пять, Бальмонта нет. Я удивилась. И вдруг вижу – на ковре посредине гостиной оставлена визитная карточка...» – «Визитная карточка?» – «Ах, Господи, какой вы, Гуль, непонятливый... Оставил на ковре свои... ну… фекальные массы...» – «Да что вы, Нина Ивановна! Ну, стало быть, он просто ненормальный, душевно больной?» – «Ничего не ненормальный... Поэт... Декадент...» – пожала плечами Нина Ивановна.

У Марины Цветаевой есть «Слово о Бальмонте»: «Бальмонт парит в высотах и не желает спускаться, или не желает, или не может? Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, то есть он ходит уже по первому низкому небу земли. Когда Бальмонт в комнате, в комнате – страшно...»

Марина Цветаева любила встать на высочайшие котурны и с них все видела сюрреалистичным. Помню, как Алексей Толстой говорил о Бальмонте: «Да он же сумасшедший, он свою жену по голому животу палкой бьет!» Не знаю, был ли это очередной «анекдот» Толстого или какая-то правда о «декадентстве» Бальмонта? Но как бы то ни было, Бальмонт полноправно вошел в русскую поэзию, заняв в ней свое место:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если день погас,
Я буду петь... Я буду петь о Солнце
В предсмертный час!

Несколько раз Нина Ивановна говорила, что хочет прийти к нам, познакомиться с моей матерью. Я не очень спешил с приглашением, ибо понимал, что моя мать и Нина Ивановна – люди совершенно разных миров. Но Н. И. так настаива-

ла, что наконец я ее пригласил. Она пришла, конечно, вместе с молчаливым уродцем Надей. Пили чай. Для Нины Ивановны я приготовил вино. Но визит был явно неудачен. У мамы с Ниной Ивановной никакого «общего языка» не нашлось. И когда Н. И. и Надя ушли, мама только сказала: «Какая-то странная и какая-то несчастная женщина...»

Нина Ивановна и была – странная и несчастная. Помню, как о смерти в Москве Валерия Брюсова первым сказал Нине Ивановне я. Она принесла очередную итальянскую новеллу для «Литературного приложения». Я сказал ей, что телеграф сообщил, что умер Брюсов, и показал только что сверстанное «Литературное приложение» с большим портретом В. Брюсова на обложке. Нина Ивановна как-то потемнела в лице, ничего не сказав, взяла «Литературное приложение» и долго-долго (как застыв) смотрела на Брюсова, потом тихо, даже будто с трудом, произнесла почему-то: «Да... Это он...». И отложила газету. Мне всегда казалось, что бедная Рената все жизнь любила Рупрехта, который жестоко разбил ее жизнь.

Когда «Накануне» кончилась, Нине Ивановне не на что стало жить, и она решилась на последнее: ехать в Париж в надежде, что ей поможет там глава Нансеновского комитета Василий Алексеевич Маклаков и старый ее друг Владислав Ходасевич. Дело в том, что в дни молодости Нины Ивановны Маклаков (великий женолюб) без памяти был в нее влюблен и, как мне говорили сведущие люди, готов был будто бы даже на ней жениться. Но Нина Ивановна, жившая среди декадентов и создававшая из своей жизни «трепетную поэму» и «творимую легенду», блестящего Маклакова, тогда уже знаменитого адвоката, – отвергла. Он для нее был слишком «реален». Теперь же, через много десятилетий, Нина Ивановна (с Надей) уехала в Париж, надеясь на его помощь. Знаю, что в Париже она сразу же пришла в «офис» Маклакова, но, увы,

Василий Алексеевич был только «формален», что-то посоветовал, куда-то направил, и все. Ходасевич же, сам перебивавшийся с хлеба на квас литературным заработком, тоже ничем существенным помочь не мог. И в Париже, кроме нищеты, несчастную Ренату скоро постигло самое большое горе; умерла ее сестра-уродец Надя. Мне говорили близкие к Н. И. люди, что предела ее отчаянию не было. Когда сестра лежала в гробу, безумная Нина бросалась к ней, покрывая ее лицо и руки поцелуями, крича какие-то сумасшедшие слова: «Надя, ты помнишь минуты нашего наслаждения?!.. Надя, не оставляй меня!..» В припадке отчаяния Нина Ивановна ковыряла иглой руку мертвой Нади и потом свою, хотела отравиться «трупным ядом». Но из этого ничего не вышло. И, похоронив последнюю близкую ей на земле душу, Нина Ивановна покончила с собой, открыв газовые краны в своем убогом жилище. Таков был конец жизни-«поэмы» Ренаты из «Огненного ангела». Это было 23 февраля 1928 года.

Н. В. Зарецкий

Художник Николай Васильевич Зарецкий был другим сотрудником «Литературного приложения», с которым я близко сошелся. Привела его ко мне Нина Ивановна, подружившаяся с ним на той же (более-менее) почве Бахуса. Но Зарецкий никаким алкоголиком не был, был вообще человеком совсем другой породы и из своей жизни «поэм» не творил. Всепоглощающей страстью его была русская старина: фарфор, хрусталь, гравюры, картины, Ему бы жить в XVIII веке (в начале).

Бедная (но большая) комната Зарецкого была вся заставлена, как у антиквара: на окнах, на столах, на полках по стенам – козловские, тереховские, поповские, гарднеровские, кузнецовские чашки, блюдца, тарелки, вазы, ендовы, гране-

ный хрусталь, графин с сидящим мужичком на серебряной пробке. Все – только русское. И все это Николай Васильевич вывез в эвакуацию, когда люди спасали жен, детей, отцов, матерей.

Я такой страсти *к вещам* никогда не понимал. Лишен почти вовсе. Но в Н. В. ее ценил, ибо видел, что это подлинная *страсть*, которой он *живет*. В Берлине Н. В. здорово бедствовал, но ему и в голову не могло прийти продать что-нибудь из его старины, а продать это было нетрудно.

– Вот этому графинчику с мужичком, который тебе нравится, около двухсот лет.

– Ну вот и продай его, Николай Васильевич.

– Да ты што? А как же я буду без него? Не могу так же, как и без флигель-адъютанта (он указывает на висящий на стене портрет флигель-адъютанта императора Николая I Ростовцева). Я нашел его в гражданскую войну в Екатеринодаре на толкучке. Торговал три дня. На последние колокольчики купил. Домой бежал как помешанный от радости. Ты взгляни, что за лицо? А улыбка? Какова улыбка? А рука? Рука? И кисть-то какая! Академика портретной живописи Будкина – знаменитая кисть!

Как художник Н. В. был малопродуктивен, больше все предавался «творческой лени», к тому ж никаких «делячеcких» талантов у него не было. Он написал мой портрет, но, по-моему, это больше был Баратынский, иль Батюшков, иль Дельвиг, чем я. Но все же Н. В. был подлинным художником и кроме искусства у него ничего в мире не было. В Берлине Н. В. был председателем «Союза русских художников».

В молодости был он корнетом Иркутского драгунского (тогда – еще не гусарского), полка, был адъютантом командира бригады генерала Ренненкампфа. В 1901 году полк стоял на берегу Березины вблизи мостов, по которым в 1812 году переправлялся отступавший из России Наполеон. По ини-

циативе корнета Н. В. Зарецкого на берегу Березины были тогда поставлены два каменных монумента, отражавших это событие, оба работы Н. В. Зарецкого. Средства на их постановку дал местный помещик И. Х. Колодеев.

По своей природе Н. В. был человек не военный, а истинный художник. Он вскоре и оставил военную службу, поступив в Петербурге в школу профессора Императорской академии художеств Я. Ф. Ционглинского, а позже перешел к профессору Д. Н. Кардовскому. Кстати, в Берлине Н. В, навешали старые друзья. Так, у него я познакомился с известным искусствоведом Яремичем, который привез Н. В. письмо от Д. Н. Кардовского. Вот отрывок из этого письма: «Дорогой Николай Васильевич, начну с восторга по поводу Ваших произведений. Вы стали настоящим мастером, сознательно, со вкусом и подлинно творчески создающим и ищущим форму. Браво! Правда, Ваш «уклон» иногда не «моего» романа, но зато «Домик в Коломне», театральные костюмы и особенно гусар из «Пиковой дамы» (каков киверок! Узнаю товарища по любви к военному костюму, по любви к его поэзии!) – ну как же не быть в восторге!..»

Был Н. В. «мирискусником», но не из крупных. Все же у меня остались кое-какие его прелестные вещи: цикл в восемь больших акварелей «Петрушка» – народно-лубочно-русский. Я подарил «Петрушку» в русский ценный музей моего друга Томаса Витни (Коннектикут), чтоб не пропали после моей смерти; были эскизы костюмов к персонажам «Пиковой дамы» (гуашь), небольшие акварели – «Пушкин в Тригорском» и «Тройка». Николаю Васильевичу надо бы жить в пушкинские, а не в наши дни. В «Литературном приложении» я давал ему подработать отзывами о художественных книгах, о книгах по искусству.

После конца «Накануне» Н. В. переехал в Прагу, где ему жилось легче. В Праге он организовал ряд художественных

выставок – выставку, посвященную Пушкину, под названием «Русское общество эпохи Пушкина» и выставку рисунков русских писателей. Первая выставка была приобретена президентом Чехословакии Масариком и хранилась в его собственной библиотеке. О второй замечательной выставке «Рисунки русских писателей», где было двести сорок восемь репродукций рисунков тридцати русских писателей, восторженно отозвался такой знаток русской литературы, как профессор Дмитрий Иванович Чижевский. Скончался Н. В. после Второй мировой войны во Франции, недалеко от Парижа, в русском старческом доме в весьма преклонном возрасте.

У нас в Берлине Н. В. бывал часто, обычно – к обеду. Вся наша семья его любила. Но особенно хорошо к Н. В. относилась моя жена Ольга Андреевна, которая меня иногда журила, что я отношусь «к старику» не так интегрально, как он относится к нам. Жене Н. В даже как-то подарил самим им прекрасно обрамленные две гравюры ее предков – графа Ф. П. Толстого и графа А. К. Толстого. Эти гравюры так и висят до сих пор над моим письменным столом. Журения жены были, по-моему, не верны. Я Н. В. и ценил как художника, и любил как благороднейшего, чистого и оченно русского человека.

Моя жена Ольга Андреевна

Мы поженились 27 июля 1926 года в Берлине, когда «Накануне» уже приказала долго жить и я работал в немецком издательстве «Таурус». С Олечкой мы счастливо прожили 50 лет (двух месяцев не дотянули до золотой свадьбы). Пиша об Олечке, мне, пожалуй, легче будет рассказать с конца нашей жизни, с ее смерти, ибо умерла она всего три года тому назад, оставив меня бобылем в мире. После ее смерти

я – чтоб не забыть – наговорил на кассету все о ее предсмертной болезни и смерти. С этого я и начну. Приведу запись так, как она есть, со всеми ее длиннотами и отступлениями:

«Я хочу записать на этой ленте все, о болезни и смерти Олечки. Хочу вспомнить все подробности. Это было 22 февраля 1976 года. Мы встали как обычно. Рано Олечка вставать уже не могла. Из-за высокого давления крови доктор ей не советовал. Вставали мы так часов в восемь.

Встав, я пошел в нашу так называемую «ливинг-рум», окна которой выходят на 113-ю улицу Вест. Стоя у окна, я увидел человека, ведшего на леске собаку. Так как на нашей улице мы с Олечкой всех собак знали, и Олечка и я любили животных, я кричу Олечке, которая шла по коридору: «Олечка, посмотри, какая новая собака хорошая!» Она заспешила к окну, но у самого окна, на ковре, вдруг упала. Я схватил ее, поднял. Я не придал этому особого значения, потому что у Олечки в последнее время от артрита ослабели ноги.

Когда я ее поднял, мы пошли на кухню завтракать. И все было как всегда. Позавтракали. Олечка говорит: «Ну, теперь я пойду посижу на своем обычном месте». Обычным местом было большое кресло в этой же «ливинг-рум» (гостиная, что ли, по-русски говоря). Но до кресла Олечка почему-то не дошла, а села на маленький, не особенно удобный диван, где обычно никогда не сидела. А я пошел в свою рабочую комнату. Вдруг слышу звук падения тела, Я бросился в гостиную, вижу, Олечка лежит на полу. Говорю: «Что с тобой, Олечка?!» – и пытаюсь ее поднять. Она отвечает: «Нет, нет не трогай меня. Я сама себе ставлю диагноз. У меня или опухоль в мозгу, или паралич левой стороны». Я говорю: «Что ты, Олечка, я сейчас тебя подниму». – «Нет, нет, не трогай, ты меня все равно не поднимешь!» Я понимал, что Олечка боится за мое сердце (после инфаркта мне запретили поднимать тяжелое). Я все-таки пытался ее поднять, но не было

никаких сил, не мог. Теперь-то я понимаю, что это потому, что у нее уже была парализована левая сторона. Я бросился к телефону, вызвать нашего «суперинтендента», мистера Лестажа, но никто не ответил. Я позвонил к русским друзьям – Е. Г. Карюк, которая жила на шестом этаже. У нее квартировал американец-студент. Я думал, он поможет, но тоже никто не ответил. Я был в отчаянии. Кого позвать? Не могу же я оставить Олечку на полу. И решил позвонить в аптеку нашим приятелям-фармацевтам, пакистанцам. Позвонил, к телефону подошел Рафик Чодри, который к нам очень хорошо относился. Он сказал: «Через три минуты я буду у вас».

Действительно, через три-четыре минуты он был у нас (аптека – наискось от нашего дома). Он стал поднимать Олечку. Я хотел ему помочь, но он говорит: «Нет, мистер Гуль, не мешайте мне, не мешайте, я лучше один». Он приподнял Олечку, обхватил ее, так сказать, поперек живота и понес в ее комнату. Я видел, как ему это было тяжело, но он донес ее до кровати. Мы уложили Олечку. Рафик сказал, что если только что-нибудь нужно – звонить ему, и он сейчас же придет.

С Олечкой я разговаривал, спрашивал, как она себя чувствует? Она говорила, слегка, может быть, запинаясь, но говорила вполне ясно. Только левая рука у нее, я видел, была парализована. Я тут же позвонил нашему доктору Ковалеву, рассказал ему все. Он говорит: «Я приду в два часа, посмотрю, и тогда мы решим, что делать».

Но вскоре я увидел, что у Олечки парализована левая сторона лица. Я тут же опять позвонил Ковалеву. Он сказал: «О, это нехорошо, я сейчас же приеду». Он приехал, посмотрел и сказал, что нужно немедленно везти в госпиталь. Я понимал, что это нужно, ибо видел, что положение Олечки ухудшилось. Ковалев уехал, вызвав автомобиль «скорой помощи», и я стал его ждать.

На этот раз из «скорой помогли» приехали какие-то неопытные и грубые два негра, не привезли с собой кресло для больного и, положив Олечку на носилки, пытались ее вынести из квартиры на носилках. Но это было невозможно, носилки не проходили в дверь. Я разозлился, закричал, что таких вещей не делают, что я не позволю так выносить, если у них нет больничного кресла, я принесу обычный стул и они должны на нем ее вынести и спустить в лифте вниз. Быстро я принес из кухни стул, посадили Олечку, привязали ремнями, она была совершенно молчалива, ничего не говорила, как будто все это ее не касалось.

Привязав ее к стулу, мы спустились в лифте вниз, там положили на носилки, и я поехал с Олечкой в госпиталь. Госпиталь святою Луки – наискосок от нашего дома, но они сделали, как всегда, по улицам круг. Комната в госпитале была уже готова – с четырьмя окнами, большая, прекрасная, для одного пациента (ее заказал Ковалев), постель со всякими устройствами (поднимать выше, опускать и прочее), все очень хорошо. Но сестры мне сказали, чтобы я уходил, потому что они будут Олечку обмывать и приготовлять для осмотра доктором, и чтобы я пришел позднее.

Когда я пришел часа, вероятно, в два-три, Олечку уже вымыли, чистенько все, она лежала в постели. Лицо у нее было слегка искривлено, но она разговаривала, хотя и не совсем отчетливо, и очень обрадовалась моему приходу. Я сидел у ее постели, говорил с ней, держа ее руку в моей руке, гладил по щеке. Когда ей принесли еду, я накормил ее с ложечки, она ела, все казалось не так плохо, но когда пришел Ковалев и слегка осмотрел ее (он уже и раньше был у Олечки), он мне в коридоре сказал, что положение очень серьезно, почки почти не работают. Это установил доктор Коренман, специалист по почкам.

Вечером этого дня я опять пришел в госпиталь. Туда же пришла Утя Джапаридзе и Рафик Чодри. Рафик разговаривал с Олечкой, она отвечала ему по-английски вполне понятно. Он спрашивал ее, что вы хотите, миссис Гуль, чтоб я вам принес из аптеки? Олечка говорила какие-то пустяки: «Принесите мне «Хит», у меня болит спина». Но мне казалось, что она вполне сознает свое тяжелое положение.

Вечером, когда принесли обед, я опять ее накормил с ложечки, во время обеда вошел Ковалев и говорит: «О, как хорошо у вас идет дело!». Я говорю: «Да, идет хорошо. Олечка ест, все как следует». Но это, конечно, было только обычное докторское ободрение больного.

На другой день я опять пришел в госпиталь. Обычно приходить можно было к завтраку. Вот я к завтраку, часам к двенадцати всегда и приходил. Я заметил у Олечки некоторое ухудшение в смысле речи, но все-таки она говорила со мной и несколько раз сказала: «... Ах, как ты без меня справишься со всем... не справишься ты без меня...» – я видел, *это* ее мучило.

Вечером, опять пришли друзья – Утя Джапаридзе, Е. Г. Карюк и Рафик Чодри. Олечка всех узнала, так что ничего такого страшного как будто не было. Но Ковалев мне уже сказал, что почки работают очень плохо, а это – главное. Олечкину постель окружили всякими какими-то аппаратами, стали делать какие-то перманентные впрыскивания для мочеиспускания, для улучшения деятельности почек, но все-таки я видел, что пузырь, который лежал у нее на постели, наполнялся очень плохо. И я заметил сильную опухоль ног и особенно левой руки. Так продолжалось несколько дней. Все-таки каждый день я кормил Олечку, она говорила. Как-то даже (когда я погладил ее по щеке) она улыбнулась с трудом и сказала: «Киска, какой ты ласковый». Я старался сдерживать при ней слезы, но это не всегда удавалось. В другой раз я пришел, когда Олечка спала. Я тихо сел у ее постели, не хо-

тел будить. Но вдруг она открыла глаза и, увидев меня, совершенно ясно произнесла: «Куда же ты делся?» Я понял, что этими словами она отвечает какому-то своему сну. Сказав это, она тут же закрыла глаза и опять впала в полузабытье.

В один из дней, когда я пришел, я увидел, что Олечке поставили аппарат искусственного питанья (вливание в вену глюкозы) и речь у нее почти отнялась. Она говорила, вернее, пыталась говорить, но понять ее было уже трудно. Тем не менее я видел по ее глазам, что она меня сразу, конечно, узнавала, Я брал ее руку, и она мою руку сжимала...

Так шли дни за днями и даже недели за неделями, я приходил всегда два раза в день – утром и вечером, оставаясь до самого позднего часа, до которого разрешали, – до восьми часов. Обычно мы уходили втроем: я, утя и Рафик. С каждым днем я видел, что состояние Олечки все тяжелее. Она начала задыхаться. И один раз, когда я пришел, я увидел, что она совершенно задыхается, вероятно, она не могла откашлянуть мокроту, у нее шла слюна. Доктор Ковалев раньше говорил мне, что в крайности можно поставить кислородную маску. И тут, увидев, что Олечка задыхается, я бросился к главной сестре милосердия и говорю ей: «Пожалуйста, поставьте скорее кислородную маску, моя жена задыхается».

Сестры в госпитале в большинстве были очень милые (и белые, и черные, и какие-то желто-восточные), но эта китаянка оказалась страшной стервой. Она мне резко ответила, что ничего делать не будет, пока ей не скажет доктор. Я говорю, доктор уже сказал... «Он, – говорит, – сказал вам, а не мне». Тогда я бросился к телефону, позвонил Ковалеву, но не застал его в офисе, позвонил его жене-американке, которая была очень любезна и сказала, что тут же передаст ему, как только он придет, чтоб позвонил в госпиталь по телефону. И действительно, минут через десять Ковалев позвонил, вызвал сестру и приказал поставить кислородную маску.

Ну, эту кислородную маску надели. Вещь довольно страшная, но все-таки дышать Олечке стало как будто легче. Но это был момент, когда я уже понял, что благополучного исхода быть не может. Тем более, что доктор Коренман категорически сказал, что положение ухудшается. Все-таки ежедневно я все время сидел около Олечки и видел, что она меня узнает, хоть сказать уже ничего не может. Но когда я брал ее руку, она мою руку сжимала.

В один из моих приходов в госпиталь пришла какая-то женщина в форме сестры милосердия, китаянка, очень милая, оказавшаяся женой профессора Колумбийского университета, Она пришла как работник социального обеспечения. Сказала, что знает, что положение жены тяжелое, но что если ей станет настолько лучше, что искусственное питание будет прекращено, то госпиталь держать ее не будет, и тогда ее нужно поместить в «нёрсинг-хом» (дом для выздоравливающих, больных, престарелых). Китаянка спросила, есть ли у меня какие-нибудь сбережения? Я назвал ей сумму моих замечательных сбережений. «Ну, вот, – говорит, – вы тогда должны будете платить тысячу шестьсот долларов в неделю». Я говорю: «Хорошо, но этого же хватит очень ненадолго, а потом что?» – «А потом – говорит, – за нее будет платить город (медикэйд)». Я знал, что эти «нёрсинг-хомы» вещь совершенно ужасная. В особенности те, где за пациентов платит город. Но делать нечего. Сказал: «Хорошо».

Олечка все таяла и таяла. Я приходил по-прежнему ежедневно. Приходили те же наши друзья. Но, глядя на Олечку, я видел, что мой приход ей уже не нужен, потому что она не видит меня. Я старался попасть в фокус ее глаз, но взгляд ее уже был такой затемненный, стеклянный, что было ясно, что она меня увидеть не может.

Так шло время. Заболела она, как я говорил, в конце февраля, пролежала весь март, и к концу марта началось безна-

дежное ухудшение. Как-то я спросил Ковалева, что вы, доктор, думаете, это может долго длиться? Он меня жестом вызвал в коридор и там сказал, что несмотря на то, что больной в бессознаньи, он может услышать голос и даже понять сказанное. Меня это удивило (я не знал об этом). Ковалев сказал, что не думает, что такое состояние бессознанья может длиться долго, что конец может наступить скоро.

Все продолжалось так же, я ежедневно ходил в госпиталь. Ковалев все мне говорил: держитесь, принимайте свои таблетки от сердца, потому что, если вы еще сейчас заболеете, это будет уже полная катастрофа. Я старался держаться, как мог. И действительно, хоть это мне самому было странно, несмотря на такое нервное потрясение и напряжение, я не чувствовал сердечных болей или недомоганий. Нет, я держался, только была страшная усталость.

Когда Олечке было уже совсем плохо и она задыхалась, я сказал Ковалеву, что хочу, чтоб она умерла при мне. Он говорит: «Я вас понимаю... и если вас не будет, вас вызовут; сначала, говорит, известят меня как доктора, а я уже вызову вас». И вот в ночь на 4 апреля, когда я, усталый и совершенно изнемогший, спал, в три часа ночи мне позвонил Ковалев и сказал: «Ваша жена умерла, если хотите, приходите немедленно, потому что ее оставят в комнате только двадцать минут и потом отвезут в морг». Я очень хотел прийти, но у меня не было никаких сил. Я говорю: «Доктор, я не могу сейчас прийти». Он говорит: «Это и лучше, не приходите, потому что это ни к чему, они сейчас ее уже вывозят». И вот так... Олечка умерла...

Я забыл сказать, что в госпитале Олечку несколько раз навещал наш друг, священник Александр Киселев. Исповедовал ее и причастил. Олечка была по-настоящему религиозна. Похороны Олечки я хотел назначить возможно скорее. Чин отпевания служил отец Александр в Свято-Серафимовской церкви на 108-й улице. Народу было много, друзей и даже

тех людей, кого я не ожидал, что придут. Пел хор, отпевание было хорошо отслужено, Олечка лежала в гробу посреди церкви. Когда я подошел к ней проститься навсегда, я долго смотрел на ее лицо. Оно было удивительно спокойное и даже с какой-то улыбкой. Впрочем, покойники в большинстве своем умирают с лицами упокоенными. Когда я подошел к гробу Олечки, я хотел сдержать рыданье, но у меня вырвался какой-то неожиданный полустон. Склонившись, я поцеловал Олечку несколько раз в лоб, потом поцеловал ее руки... отойти от гроба было трудно, и я, сделав несколько шагов, вынужден был сесть на стул, стоявший у стены неподалеку от гроба.

Так я сидел, пока к гробу подходили все присутствовавшие в церкви, прощаясь с Олечкой. Потом, как всегда, какие-то человеки из похоронного бюро подошли, закрыли гроб, завинтили и повезли к выходу.

Тут я должен сказать, какую неоценимую помощь в моем горе оказала мне Ксения Владимировна Радыш, наш друг и секретарь «Нового журнала». Ксения Владимировна хотела сначала тоже приходить в госпиталь. Но я просил ее этого не делать, потому что знал, как Ксения Владимировна занята и дома, и в журнале, а главным образом, как она занята по уходу за какими-то ее больными пожилыми друзьями, которых она вечно кормит, опекает, ухаживает за ними. И я просил ее в госпиталь не приезжать. Но когда Олечка умерла и я был в тяжелом состоянии, Ксения Владимировна взяла на себя все хлопоты по тому, чтобы Олечку одеть, поехала в похоронное бюро Петра Яремы, который должен был взять тело из морга и привезти в церковь. Мы с Ксенией Владимировной выбрали черное Олечкино платье, белье, чулки, ботинки, все что надо, и в похоронном бюро Ксения Владимировна все сделала. Причем я ее очень просил, чтоб в этом бюро Олечку ни под каким видом не гримировали. Хотя это бюро и принад-

лежит русскому или украинцу (я не знаю), но оно уже стало американским, а в них всех умерших гримируют. Мы видели с Олечкой, как лицо одной нашей знакомой, покойной Э. Э. Бражниковой, с которой Олечка было очень хороша, нагримировали так, что Олечка и я ужаснулись. По моей просьбе с Олечкой этого не произошло, она лежала в гробу так, как умерла.

Ну вот. Когда гроб вывезли из церкви, мы вышли за ним. Лимузины уже стояли. В одном поехали Ксения Владимировна, Ксения Георгиевна Чикаленко, Элли Оскаровна Хомякова. В другом Франтишек Силницкий, Коля Карюк, кто-то еще. В третий сели отец Александр, Утя Джапаридзе и я.

Лимузины тронулись в православный женский монастырь Ново-Дивеево, в Спринг Валлей, в сорока милях от Нью-Йорка. Этот монастырь основал замечательный человек, отец Адриан Рымаренко, свойственник Ксении Владимировны, она первым браком была за его сыном, погибшим при бомбардировке Берлина. Через час с лишним приехали в Ново-Дивеево. Ксения Владимировна заранее взяла на себя хлопоты и по выбору могилы, и по уплате за место для двоих (для Олечки и для меня), выбрала она очень хорошее место, совсем у дороги, так что всегда удобно подъехать.

В Ново-Дивееве на кладбище очень хорошо. Большая-большая поляна в лесу. На ней множество русских могил, кругом – лес, тишина, поют птицы. Могил – целое море. Могила Олечки была уже вырыта. Могильщики ждали. Отец Александр отслужил краткий чин погребения. Гроб опустили, я бросил первые комья земли, бросал я их и в могилу отца в Пензе, и в могилу матери во Франции, только брат умер в Гаскони без меня.

Ну вот. Могилу закопали. Мы все пошли в монастырскую столовую, где была приготовлена скромная монастырская трапеза. Очень хорошо. Люди в монастыре все милые, рус-

ские. Во время трапезы Ксения Владимировна мне сказала, что говорила с отцом Адрианом (он был уже возведен в сан епископа Роклендского под именем Андрея) и он, несмотря на свою болезнь, хочет, чтоб я к нему пришел. Он меня знал по каким-то моим книгам и по печатным выступлениям против так называемой «автокефалии» митрополичей церкви, «дарованной» ей Московской Патриархией,

Я много слышал об отце Александре от самых разных людей как о человеке необыкновенном, почти святом. И с большим удовольствием согласился к нему пойти, хотя знал, что он тяжело болен, не выходит уже из своей комнаты. Ксения Владимировна ввела меня к нему. В прихожей маленького домика нас встретил его секретарь князь Мышецкий, который вместе с ним попал на Запад из Киева и которого отец Адриан и его покойная матушка пригрели в СССР, когда он был еще подростком.

Когда я вошел к отцу Адриану, я был поражен его лицом. Его лицо... этого не опишешь и об этом не скажешь. Лицо было какое-то светящееся, лучистое. Отец Адриан полулежал в кресле, ноги вытянуты на какой-то подставке. Подняться без чужой помощи он уже не мог. Руки у него дрожали. Я подошел под благословение. Мы сели. Ксения Владимировна крепко держала его руки, чтобы они не так дрожали, и ему это, вероятно, было приятно. Он начал со мной говорить тихим, приятным, душевным голосом. К сожалению, я не могу воспроизвести того, что отец Адриан говорил, потому что я был в очень тяжелом душевном состоянии. Отец Адриан был человеком исключительной веры и исключительного православия, такой вере можно только завидовать, но достичь ее, вероятно, очень трудно. Сначала он мне говорил, что я не должен убиваться, что я скоро увижусь с своей женой, так же как он увидится со своей умершей матушкой... Все это было очень просто, очень хорошо, очень душевно. Потом он пере-

шел, уж я не помню по какому поводу, на Достоевского и процитировал на память что-то из его «Луковки». Заговорил о Достоевском вообще, и я увидел, что ум у него совершенно ясный, несмотря на болезнь и преклонный возраст, память – удивительная. Я подумал, что многие так называемые достоевсковеды могли бы позавидовать отцу Адриану, как он знал этого писателя и как его понимал. Потом я задал ему какие-то вопросы о нем самом. Он стал вспоминать, как учился в петербургском Политехническом институте, как пришел к вере. Рассказ был совсем простой и в то же время чрезвычайно пронизывающий и убедительный. Глядя на него, я невольно вспомнил о старце Зосиме. Отец Адриан был именно такого типа – в миру и совершенно вне мира. Когда он рассказывал, как пришел к вере, он упомянул Оптину пустынь. Я спросил его, бывал ли он в Оптиной? Он рассказал, как был в Оптиной, каких последних старцев встречал. От Ксении Владимировны я знал, что отец Адриан провел чрезвычайно трудную жизнь в Советском Союзе. Его жестоко преследовали. А последние два года, кажется, он тайно прожил в какой-то каморке, заставленной шкафом, скрываясь от ареста (ему отказано было в прописке в Киеве).

Я боялся, оставаясь долго, утомить отца Адриана, но он все нас удерживал. Видно было, что он действительно хочет утешить меня, и утешить не грубо какими-то сусальными словами, а большой верой в Бога, в загробную жизнь и верой, что я еще встречу Олечку...

Но все-таки чересчур долго оставаться я не хотел, хоть отец Адриан несколько раз и задерживал нас. А когда стали прощаться и я опять подошел под его благословение, поцеловав его руку, он вдруг взял мою руку и поцеловал ее тоже. Тут я не мог удержаться от слез. Я видел, что и у Ксении Владимировны глаза полны слез. Отец Адриан просил меня, чтобы, когда я буду приезжать на могилу, – обязательно при-

ходил к нему, он хочет со мной еще встретиться. Я был ему благодарен. И вышел от него действительно каким-то облегченным в своем горе.

Расселись мы опять по этим самым лимузинам. Я с отцом Александром и Утей Джапаридзе. И невольно с отцом Александром я заговорил об отце Адриане, сказав, что он человек совершенно необыкновенный. Я действительно впервые в жизни встретил такое духовное лицо. И за рубежом и в России *таких я* не встречал. Отец Александр, знавший о. Адриана еще по Германии, вполне со мной согласился, сказав: «Да, да. Таких у нас мало. Это наш старец Зосима».

Ну, приехали мы в Нью-Йорк, приехал я к себе на 113-ю улицу. И трудно было войти в опустевшую квартиру, где мы с Олечкой прожили двадцать шесть лет. Квартира пуста. Стоят в спальне две наши постели, одна – ее – пустая; стоит кресло, в котором Олечка всегда сидела, без нее оно тоже – пустое. Так и почувствовал я свое одиночество. Но старался взять себя в руки, говоря себе: тебе уже восемьдесят лет, жить недолго. Так вот и живу. Один. Есть друзья, которым благодарен, что они есть. Работаю, пишу вот эту книгу, предсмертные мемуары. Хочется рассказать все, что пережил за рубежом с 1919 года. Да и не за рубежом только. Та (русская) жизнь входит в эту (зарубежную) жизнь. И все связано – Россией, русской культурой, близкими людьми, воспоминаниями. Ну вот. Если все это напишу так, как хочу, то, может быть, буду чувствовать некое удовлетворение, что выполнил какой-то «заказ». Может быть, кому-нибудь моя книга – эти воспоминания: и о матери, и об Олечке, и о брате, и о всей семье, и все наши зарубежные переживания, и вся русская зарубежная жизнь – не так уж будут чужды. Может, люди прочтут с чувством разделения чувств автора. Этого бы я только и хотел».

На этом магнитофонная запись кончается. По смерти Олечки я получил много сочувственных, соболезнующих писем – хороших, душевных (были, может быть, и формальные), но не обыденное письмо, глубоко меня тронувшее, я получил от Александры Львовны Толстой:

«Alexandra L. Tolstoy
Tolstoy Foundation Center
Valley Cottage N. Y. 10989

10 апреля 1976 года

Дорогой Роман Борисович,

Эти последние дни о Вас думаю с глубоким сочувствием и душевным пониманием тех переживаний и страданий, которые сейчас посланы Вам Богом. Словами ничего не выскажешь. Эти переживанья так глубоки, так сложны, и только люди, пережившие незаменимую утрату в жизни, могут понять. Как ни странно, но больнее всего и труднее всего вспоминать ту глубокую, внутреннюю связь, которая существует между близкими навеки. Может быть, эта духовная связь не пропадет никогда.

Иногда со страшной болью невозвратимого вспоминаются: интонация голоса, выражение глаз, руки. После смерти отца я с особенной болью вспоминала завитки волос над его старенькой шеей. И плачешь, сокрушаясь, вспоминаешь эти невозвратимые мелочи. В голову не приходит, что тот, кто ушел от нас, перестал страдать и ему легче, а думаешь только о своей утрате.

Буду продолжать думать о Вас и вспоминать в своих грешных молитвах Ольгу Андреевну.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам душевных сил, чтобы пережить Вашу тяжелую утрату и продолжать самоотверженную деятельность на пользу нашей родины.

С искренним уважением и сочувствием,

Ваша Александра Толстая»

Я тут же ответил Александре Львовне:

«22 апреля 1976 года

Дорогая Александра Львовна,

Вчера вечером я получил Ваше письмо, здесь, во Флориде. Большое спасибо за него. Не скрою, что плакал над Вашим письмом – до того оно душевное и понимающее. Да, именно все это я и чувствую, именно все это и вспоминаю. Остановился я нарочно в том же мотельчике, где мы с женой уже лет шесть проводили либо март, либо апрель, и в том же самом помещении. Друзья отговаривали, но я не только не избегаю этих воспоминаний-страданий, а хочу их. С ними – лучше. И Вы меня в этом, конечно, поймете. Спасибо Вам еще раз от всей души.

Целую Вашу руку, искренне Вам преданный

Роман Гуль

Поблагодарите, пожалуйста, и Татиану Алексеевну Шауфус за сочувственную телеграмму, и Теймураза Константиновича Багратиона за сочувственное письмо».

Потеря любимого на земле человека и одинокость после потери – страшная вещь. Но есть утешение в том, что именно тогда наступает некая *высветленность* твоей любви, ранее обычно затемненная обыденной жизнью. Именно тут наступает чистое *откровение любви*. И душа находит в этом и утешение и получает общение с потерянным.

Помню, в «Литературное приложение» из Москвы прислала мне простенькое стихотворение неизвестная поэтесса Екатерина Галати. Ни до, ни после я о ней ничего не слыхал. Может быть, псевдоним? Я стихотворение напечатал. И почему-то запомнил. И не только я, но, помню, все в семье обратили на него внимание: жена, мать, даже брат, вообще стихи не жаловавший.

Как мудрый отравитель, время
Поит нас незаметным ядом.
Нежней, нежнее будьте с теми,

Чье сердце бьется с вами рядом.
Словам и клятвам верьте, верьте!
Непрочно пламя в хрупком теле.
Ведь только после нашей смерти
Нас любят так, как мы хотели.

Две последние строки – это именно – *о высветленности любви после смерти, об откровении любви после смерти.*

Олечка была на два года моложе меня. Родилась в селе Рамзай Пензенской губернии. Отец – земский врач Андрей Иосифович Новохацкий. Дед – Иосиф Тарасович – важный барин: действительный статский советник по чину и управляющий Пензенской казенной палатой по должности. То есть – «министр финансов» Пензенской губернии. Происходили Новохацкие из черниговских дворян-помещиков. Говорят, в давние времена были Новохатные, потом Новохатские и, наконец (обрусев), Новохацкие. У Иосифа Тарасовича было несколько имений. Пензенской казенной палатой он управлял, вероятно, хорошо, потому что и умер, стариком, в этой должности. Но имения все промотал. И, как мне рассказывала Олечкина мать, Софья Федоровна, – пропустил все на дам не особенно «тяжелого» поведения. После смерти И. Т. в его письменном столе будто бы нашли множество стопок всевозможных счетов, перевязанных разноцветными, веселенькими ленточками. Посему только один его старший сын Андрей Иосифович окончил высшее учебное заведение: медицинский факультет Московского Императорского университета. Ему предлагали остаться при университете для подготовки к профессорской кафедре, но А. И. – *по призванию* – пошел в земские врачи: хотел *помогать народу* (в те времена такие люди были часты, сейчас в СССР, наверное, маловато).

Женившись на Софье Федоровне Каменской, А. И. стал земским врачом в большом селе Рамзай недалеко от Пензы (теперь, кажется, Рамзай переименован в «город», не знаю почему, ибо Пенза-то в советские времена превратилась в «деревню»). В Рамзае семья Новохацких жила в именьи Константина Григорьевича Данилевского (сына известного писателя Григория Петровича Данилевского – «Девятый вал», «Мирович» и другие). Наша семья одинаково дружила и с Новохацкими, и с Данилевскими, и там, в Рамзае, у моего отца была чудесная дача под названием «Кочка» – над прудом, в широкошумной дубовой роще, зеленая трава которой летом становилась голубой, когда в изобильи цвели лесные незабудки. А дубов таких (в два обхвата взрослого человека) я нигде в Европе не видал.

У Новохацких было четыре дочери, двух старших, Наташу и Аню, моих сверстниц, я помню с отрочества. Младших же, Олечку и Софу, я увидел только в 1914 году, когда в Москве студентом приехал к Софье Федоровне в Николаевский институт, где она была инспектрисой. Андрей Иосифович умер рано, тридцати шести лет. Его страстью были лошади, и вдвоем с кучером они объезжали молодую тройку, тройка их и разомчала, да так, что А. И. оказался под коляской. После этого у него появилась опухоль, быстро перешедшая в злокачественную (саркома), и он вскоре умер, оставив без всяких средств жену и четырех девочек. Тут Софья Федоровна и стала инспектрисой в Николаевском институте. Кстати, о лошадях. Нигде в Европе лошади, по-моему, никогда не «разносили». Вели и ведут себя культурно, демократически. Я в Европе бывал задолго до революции – мальчиком с родителями. В России же лошади разносили сплошь и рядом. Помню – тьму случаев. Видно, у нас и лошади-то были какие-то большевицкие, евразийские.

У Софии Федоровны я бывал в институте по воскресеньям. Обычно вместе с моим другом детства Ганей Штейнгелем, который женился в 1916 году на старшей дочери Наташе (оба погибли в революцию). В институте я впервые встретил Олечку – красивую и очаровательную.

Софья Федоровна была рожденная Каменская – прямая правнучка графа Федора Петровича Толстого, президента Академии художеств, известного медальера и скульптора, по рисункам которого были сделаны двери московского храма Христа Спасителя, взорванного псевдонимами в 1930-х годах «за ненадобностью при социализме», устроившими на месте храма – бассейн для плавания. И плавают... до поры до времени...

Известно, что Федор Петрович Толстой был большой души человек. Это он перед государем отстоял Тараса Шевченко, вызволив его из десятилетней ссылки, из Ново-Петровского форта на Каспийском море. И Шевченко, подружившись с семьей Толстых, долго жил у них в Петербурге, так же как и знаменитый английский трагический актер негр Аира Олдридж. Олдридж не знал русского, Шевченко английского, но у Толстых они стали близкими друзьями. Я часто полушутя говорил Олечке, что по душе она, видимо, пошла в своего прапрадеда. В Олечке была та же – уж не знаю, как назвать – не то аристократическая демократичность, не то демократическая аристократичность. В общении с людьми она не чувствовала и не видела их разницы: богатых и бедных, аристократов и пролетариев, белых и черных, черных и желтых. Поэтому в нашей зарубежной жизни множество самых разнородных людей любили ее. Олечке был прирожден христианский гений любви к людям. И везде всегда у нас было много подлинных друзей: богатых и образованных, бедных и неграмотных, малограмотных и ученых, русских, немцев, израильтян, французов, американцев,

негров, пакистанцев. Например, в Нью-Йорке Олечка страшно дружила с семьей нашего китайца-прачечника, и семья эта ее «обожала». Там был мальчик-китайчонок Ти, которого Олечка очень любила и всячески баловала. И большая (очень большая) дружба была у нас с аристократкой Е. А. Рейнолдс Хапгуд, у которой в именьи в Массачусетс мы гостили каждое лето. Помню, как Елизавета Львовна (так ее звали русские) говорила: «Ольга Андреевна, ну как это так вы умеете общаться со всеми совершенно как равная. Я не умею, а у вас это так естественно... вот люди потому-то и тянутся к вам...» Это была сущая правда. В семье нашего «суперинтенданта» (управдома по-русски, что ли), многодетного мальтийца, Олечку иначе, как «любимицей всего дома», не называли. Но все это материал второй и третьей частей моей книги. Сейчас я только кратко скажу о судьбе семьи Новохацких в революцию.

Меня и Олечку война и революция разметала. Я не знал, где она. Она не знала, где я. Революция застала Новохацких в Москве. Из Москвы С. Ф. переехала с детьми в Ленкорань. В Ленкорани друзья-татары предупредили о назначенной резне русских. И в 1918 году – в чем были – Новохацкие бежали в Красноводск по Каспийскому морю на какой-то «утлой ладье». Оттуда в 1919 году перебрались в Анапу, где Олечка работала в детдоме для беспризорных. В гражданскую войну скончалась Софья Федоровна и старшая сестра Наташа Штейнгель. В 1922 году, когда пошли разговоры, что дети земских врачей, оказывается, не «социально опасные» и их, кажется, будут принимать в высшие учебные заведения, Олечка переехала в Москву. В Москве поселилась у своей подруги-институтки Л. Средневой (кстати, праправнучки Н. М. Карамзина, автора «Бедной Лизы»). Долгое время их питаньем были два стакана моченого гороха в день. Здесь Олечку настигла страшная болезнь, потребовавшая рискованной операции. В Красноводске, хоть они и сильно подго-

ладывали, Олечка пригрела и кормила какую-то длинношерстную приблудившуюся (тоже голодавшую) собаку. От нее и заразилась (как уверенно предположил ее доктор – хирург Холин) редкой и страшной болезнью – «эхинококк» (на Западе почти неизвестной). Слава Богу, что эхинококк, проникший в организм, вклещился не в мозг и не в глаз (это – верная смерть), а в печень. Но так как врачи долго диагноз поставить не могли, то пузырь жидкости эхинококка разросся так, что операция оказалась очень опасной. Все-таки известный московский хирург доктор Холин, учившийся в университете вместе с Олечкиным отцом, в последнюю минуту сделал эту страшную операцию по удалению всего пузыря эхинококка из печени, вырезав больше трех четвертей и печени. Причем в те «революционные» времена московские госпитали были в ужасающем состоянии. Операцию делали при керосиновых лампах. Не хватало бинтов, не было лекарств. А после операции доктор Холин[35], по-отечески относившийся к Олечке, прямо сказал, что если она останется в Москве – она не выживет; «У вас есть родственники за границей, уезжайте к ним, при таком состоянии здоровья вас вы-

---

[35] На эту подглавку об Олечке откликнулся письмом Г. А. Кочевицкий, известный музыковед и педагог-пианист. Г. А. пишет: «Ольгу Андреевну лечил Холин. В 1934 году в концлагере на Дальнем Востоке я заболел, попал а лазарет, и лечил меня этот самый Холин. Тогда до ареста (он тоже был заключенный) он был очень известным хирургом в Москве. Очаровательный человек, задержал меня в лазарете после моего выздоровления, чтоб дать мне возможность отдохнуть и попитаться получше». В дни ареста и заключения в концлагерь Холин был пожилым человеком, никакой политикой никогда не занимался, выдающийся хирург, стало быть, очень полезный всем москвичам человек. Спрашивается, почему же Холин попал на Архипелаг ГУЛАГ? По плану уничтожения всей русской духовной и культурной элиты, проводимому ленинскими псевдонимами. Зачем? Затем, чтобы крепче держаться в седле своей власти над народом.

пустят, вы им не нужны, вы инвалид, а за границей можете поправиться!».

Ольга Львовна Азаревич (о которой я писал – «Бог дал, Бог и взял») была уже за границей, в Германии. Она любила Олечку, как дочь. После смерти отца Олечка выросла в их доме – в именьи Муратовка у своего дяди кн. Арсения Друцкого-Сокольнинского (первого мужа Ольги Львовны). Из Германии О. Л. прислала Олечке письмо, зовя приехать к ним. В немецком консульстве в Москве к Олечке отнеслись по-человечески, сказав, что этого письма достаточно и они дадут ей въездную визу. После долгих «советских» хлопот Олечка получила наконец и заграничный паспорт за подписью... Ягоды. Но тут встал неразрешимый вопрос; деньги на отъезд? И Олечка пошла на риск. У нее в Москве были близкие знакомые (муж и жена), до революции муж был очень богат (известная московская купеческая семья). А где река текла, там всегда мокро. И несмотря на реквизиции, социализации, национализации у него остались средства и за границей и в Москве (картины, драгоценности и прочее). К тому же при нэпе ему (видному инженеру) вернули одно из его небольших предприятий, которым он теперь прекрасно зарабатывал.

Так вот, зная о сборах Олечки за границу и зная, что у нее нет денег, этот былой богач-инженер предложил ей такую «комбинацию». Он дает нужные на отъезд деньги, а Олечка за это перевезет через советскую границу их паспортные фотографии, подписанные чужой фамилией, и три картины из их коллекции. Разумеется, не в картинах была суть. Эти картины на Западе не имели никакой цены: три передвижника – Похитонов «Рыбацкий поселок», Кузнецов «Березовая роща» и Мещерский «Дарьяльское ущелье». Но этим людям хотелось дотошно выяснить всю процедуру вывоза картин из РСФСР, ибо они примеривались по-настоящему эмигрировать. Поэтому-то вся суть и была в паспортных фотокарточ-

ках: *для румынских* паспортов, которые были им уже заготовлены за границей. Из Германии Олечка должна была переслать фотокарточки в Австрию имяреку (кстати, пензяку, которого я прекрасно знал). Для Олечки риск был *чрезвычайный:* обнаружь таможенники на границе эти спрятанные, подписанные чужой подписью паспортные фотографии, дело б обернулось верной тюрьмой, концлагерем, а может быть, и хуже.

Но в характерах Олечки и моей матери была общая черта русских женщин этой породы: решимость, бесстрашие, самообладание. Так, рискуя жизнью, мать разыскала нас в гражданскую войну на Дону, так, рискуя жизнью, прошла к нам из Киева (больная) 400 верст пешком и все-таки добралась до Берлина. Так и Олечка, решив увидеть меня и своих родных, пошла на большой риск. Картины у нее были на виду, их скрывать нечего, хотя вряд ли разумно было думать, что они принадлежат Олечке. Но вот фотографии? Их Олечка скрыла изобретательно. Бритвой тонко разрезала надвое твердый картон на большой фотографии Софьи Федоровны и вложила посредине зловещие паспортные фотографии будущих «румын». Потом склеила картон, слегка смочила и хорошо прогладила несколько раз утюгом...

Так Олечка и выехала за границу. Но приехать к Ольге Львовне она должна была уже не в Германию, а через Германию в Италию, в Тироль, где тогда пробовали обосноваться Азаревичи.

В Берлин ко мне Олечка приехала в 1926 году. Мы поженились. У нас была большая связка писем: моих к Олечке и ее ко мне. Но при наших зарубежных передрягах, когда я попал в гитлеровский концлагерь Ораниенбург, часть моего архива пропала. Пропала и связка писем.

Полвека – с 1926 года по 1976 – мы с Олечкой не расставались, дружно прожив нашу жизнь в эмиграции – в Германии, Франции, Америке, – причем материально наша жизнь

часто была совсем не «мед и сахар». Но это все уже вторая и третья части книги.

Если б кто-нибудь когда-нибудь написал правдивый монументальный труд «Русские женщины в революцию» – этот настоятельно требуемый памятник неувиденному героизму русских женщин! Когда-то Н. А. Некрасов «потряс» читающую Россию своими (конечно, прекрасными!) «Русскими женщинами». Да, это была та же – *душевная линия.* Но разве можно сравнить –

Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок.
Сам граф отец не раз не два
Его попробовал сперва.
Шесть лошадей в него впрягли,
Фонарь внутри его зажгли,
Сам граф подушки поправлял,
Медвежью полость в ноги стлал,
Поставил в угол образок.
И зарыдал... княгиня дочь
Куда-то едет в эту ночь...

– разве можно это сравнить с трагической, нищей, героической судьбой, с смертной самоотверженностью русских женщин в кровавейшую большевицкую революцию? Думаю, что так и уйдут наши русские женщины в вечность без заслуженного ими памятника, никем не замеченные, никем не воспетые...

Дружба с Константином Фединым

С будущим страшноватым генсеком Союза советских писателей, потом его председателем, потом лауреатом сталинских премий и депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР, с Константином Фединым я был дружен. И очень. Подружи-

лись мы в 1920-х годах в Берлине, но тогда Федин не был ни председателем, ни генсеком, ни лауреатом, ни депутатом. Тогда Федин был «писателем Фединым». В «Комсомольской правде» некто А. Исбах писал в то время о Федине как о «классовом враге». Но Исбах ошибся роковым образом. В «развитии пролетарской революции» Федин оказался «классовым другом», даже – лауреатным! А Исбах? Не знаю. Мог – «в развитии пролетарской революции» – попасть на Архипелаг ГУЛАГ и сгнить там с биркой на ноге. Мог получить пулю в затылок в «ежовском подвале». Дело-то все в том, что понятие «пролетарской революции» – является *полнейшей загадкой, закутанной в тайну.* Что такое – никому неведомо.

Редактирование «Литературного приложения» к «Накануне» я вспоминаю с удовольствием. И с благодарностью этому «его величеству случаю». Оно дало мне возможность познакомиться с многими советскими писателями, приезжавшими в Берлин, а с некоторыми и подружиться (Федин, Груздев). Через них же, по их рассказам, я *ощутил* и так называемую «советскую действительность». Переписка с Фединым завязалась после моей статьи в «Литературном приложении» о его прозе. Статья, по-моему, была лестная, я писал о ранних его рассказах. («Сад» и другие) и о первых повестях. Как все Серапионы, Федин был тогда свободным писателем. Нет, вернее – полусвободным, как все «попутчики». Совсем свободным захотел стать их ментор Евгений Иванович Замятин, написавший «Мы», но из этого ничего, кроме «легальной высылки» за границу, не вышло. С Замятиным и его женой Людмилой Николаевной и в Берлине, и в Париже я встречался.

Но далее творческая «полусвобода» Серапиона Конст. Федина была так же далека от его позднейших «соцреалистических» (и по сути халтурных) романов, как Полярная звезда от Земли. Да от попутчиков в те нэповские времена и требова-

лась именно некая «полусвобода», а не соцреализм. Недаром Борис Пильняк (тоже Серапион, хоть и «отдаленный») опубликовал столь вольные вещи, как «Повесть о непогашенной луне» (о том, как Сталин заэфирил на операционном столе командарма Фрунзе) и «Красное дерево», появившееся только в Берлине, в «Петрополисе», а в РСФСР цензурой зарезанное. Но Пильняк как человек и художник был много сильнее Федина. Потому и кончил насильственной смертью.

Вскоре по приезде Федин был у нас в семье. И как-то сразу прижился к нам. Ему понравились и моя мать, и моя жена. Обе отнеслись к нему тепло, сердечно. Надо сказать, во всем облике Федина был «шарм». Хорошего роста, хорошо сложенный, с правильным красивым липом, умный, иногда остроумный, державшийся свободно, непринужденно, как-то очень по-русски, по-свойски, Конст. Федин был привлекательным человеком.

Немецким языком Федин владел вполне (много лучше меня). Всю войну он провел в Германии как гражданский пленный. Так что переводчик ему был не нужен, но я сразу заметил, что он никуда не любит ходить или ездить один, а всегда «с провожатым». Я ездил с ним охотно уж потому, что Федин интереснейше рассказывал о советской жизни, советских литературных делах, о писателях (не без сплетен, конечно), всякие литературные истории. Многое из его рассказов я тогда записал. И вот – пригодилось.

Помню, как-то Федин рассказывал о своей встрече с М. Горьким и как Горький говорил ему, что их поколение, то есть Горького, уже сходит со сцены, а потому теперь они – молодые – должны представлять в мире русскую литературу. «И ты знаешь, – говорил Федин, – когда Горький мне это сказал, я почувствовал, какая действительно тяжесть ложится на плечи, ведь он прав: из старых одни умерли, другие ушли в эмиграцию, третьи перестали писать, и мы оказываемся на

линии огня, на переднем фронте». Как во многих писателях, в Федине было все «литераторское». Другой жизнью, кроме как «быть в литературе», «литераторствовать», Федин, по-моему, и не жил, не умел жить. Поэтому вполне искренне и чувствовал себя тогда «послом русской литературы», как его и принимали немцы.

В 1927–1928-х годах в Берлин приезжали многие Серапионы: К. Федин, Н. Никитин с женой, Илья Груздев с женой, Мих. Слонимский с женой. Со всеми я сошелся, в особенности с Фединым и Груздевым. Как мы впервые встретились с Фединым – хоть убей не помню. Но перешли на «ты» скоро, как и с Ильей Груздевым и с Колькой Никитиным (почему-то все его звали именно «Колька», и это «к нему шло»). Быстрой дружбе с Фединым способствовали, конечно, обеды и ужины с возлиянием. Помню, что в первую же встречу мы поехали в КаДеВе (грандиозный универсальный магазин) на Тауэнцинштрассе покупать всякую всячину для него, для его жены Доры Сергеевны, для дочери Ниночки. Накупили, и по дороге оттуда, когда шли по Курфюрстендамм, какой-то уличный фотограф сфотографировал нас, и фото до сих пор у меня в архиве.

Для резонанса в мире всякому писателю необходимо, чтоб за ним *стояла страна.* На советскую литературу в те годы немцы (и все иностранцы) смотрели с ожиданием чего-то нового, революционного, *«освежающего старый мир».* Беспаспортные, безродные писатели (эмигранты), за которыми зияла географическая пустота, мало кого прельщали. А у советских – страна (да еще какая! загадочная! первая в мире социалистическая!). Для Федина в Берлине все это было важно. Федин тут был не только писателем, но писателем-послом «новой советской» страны и ее литературы. Посему немецкие издатели тогда рвали из рук рукописи и книги советских авторов. Книги Федина по-немецки выходили в «Малик Фер-

ляг», которым руководил коммунист Герцфельде (скажу как минимум – малоприятный тип).

Должен сказать, что к литературе Серапионов (К. Федину, Всев. Иванову, Бор. Пильняку, Мих. Зощенко и некоторым другим попутчикам – Олеша, Катаев, Булгаков, Леонов и другие) я относился с большой надеждой. В своих автобиографиях многие Серапионы бравировали аполитичностью и писали о «надклассовой литературе»: они заняты только литературой, и конец! Мих. Зощенко так и писал, что даже не знает, «к какой партии принадлежал А. И. Гучков». И когда советский литератор Эм. Миндлин в статье в «Литературном приложении» напал на эту браваду молодых своей аполитичностью, я ответил ему, о чем он и вспоминает в мемуарах «Необыкновенные собеседники» (Сов. писатель. М. 1968): «И кто же взялся защищать советскую литературу от меня? Человек, недавно с оружием дравшийся против советской власти, только что наспех сменивший вехи, – Роман Гуль, автор нашумевшей в эмиграции книги «Ледяной поход» <...> Роману Гулю импонировало «отсутствие идеалов у молодых». Роман Гуль так и не вернулся в Россию. В сменовеховцах проходил недолго. Не дольше, чем в Берлине выходил орган сменовеховцев «Накануне». Стало быть, по 1924 год!».

Насчет дат моего сменовеховства Миндлин несколько путает. Но верно, что «отсутствие идеалов» у молодых я приветствовал и был, по-моему (исторически), прав. Когда советская власть предложила молодым писать с «идеалом» – это их как художников убило. Леонид Леонов с «идеалом» *дошел, до леса,* то есть до романа «Русский лес», произведения стопроцентно «производственного» и «социалистического», но, увы, не читабельного. Мих. Булгаков *дошел до Батума,* то есть до такой подхалимажной пьесы о Сталине – «Батум», что сам вождь запретил ее постановку, будто бы сказав: «Так обо мнэ пусть пишут послэ смэрти». О рождении писательских «идеалов» в

СССР Надежда Мандельштам говорит: «Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев». Но все это стряслось с русской литературой много позднее 20-х годов. В годы же нэпа писатели были еще в полусвободе.

Запомнил я еще один рассказ Федина о Горьком. Был у него Федин где-то на даче. Сидели в комнате, стеклянные двери которой выходили на веранду и в сад. Горький говорил что-то о литературе. Федин слушал. «Вдруг, – рассказывал Федин, – вижу, из сада по ступеням веранды поднимается Мария Федоровна Андреева. Красавица. В легком летнем платье, в руках букет чудесных цветов. Вошла. Горький прервал разговор, смотрит недружелюбно. А Мария Федоровна с улыбкой кладет букет перед Горьким. Горький крайне резко и грубо: «Это еще что!?» «Цветы. Тебе», – улыбаясь, говорит Мария Федоровна. И вдруг Горький раздраженно сбрасывает букет: «Жри сама!»

Федин рассказывал, что от смущенья в эту минуту готов был провалиться в тартарары. Но М. Ф. – опытная актриса выучки МХТ – подняла букет и без слов вышла. Горький же как ни в чем не бывало продолжал «разговор о литературе», Известно, что Горький был отзывчив, многим помогал, многих выручал, вступился даже за судьбу великих князей Романовых, хлопоча за них перед самим Лениным (но Ленин его обманул). Был Горький и чувствителен и слезлив, мог плакать, когда писатели читали понравившуюся ему рукопись. Но сложен человек: был Горький и неправдив, лицемерен и вот даже, оказывается, мог быть груб, как босяк. Федин говорил, что Горького тут, вероятно, раздражил тот «театр для себя», который молчаливо разыграла перед ними *актриса* М. Ф. Андреева. Возможно.

В Берлине Федин жил в пансионе, где-то около Курфюрстендамм. Не так далеко от нас, и мы виделись часто. Помню, звонит он по телефону и говорит, что приглашен выступить

на вечере немецких пролетарских писателей (то есть писателей-коммунистов, наверное?), что ему звонил Герцфельде и очень просил приехать. Федин же мне говорит: «Роман, пожалуйста, приезжай ко мне, и мы вместе поедем». Я возражаю: «Костя, да причем же тут я? Я не пролетарский и не советский, с какой же стати я поеду, ведь это же неудобно, пойми!» Но Федин – как с ножом к горлу; «Ради Бога, приезжай, один я просто не могу. Там это будет недолго. Я скажу несколько слов, может быть, прочту что-нибудь, и мы быстро уедем». Я видел, что Федину на это собрание ехать до смерти не хочется, а без провожатого особенно. И в конце концов он меня уломал. Поехали.

Было это собрание «пролетарских» немецких писателей чрезвычайно непрезентабельно. Небольшой залишко, когда мы вошли – сидят-ждут человек двадцать-тридцать. Председательствовал Герцфельде. Он представил Федина как выдающегося писателя Советской России, наговорил ему комплиментов, указал, какие книги Федина вышли по-немецки. После него слово было предоставлено Федину. Федин приветствовал собравшихся довольно коротко и банально, сказав, что советская литература развивается, находит новые сюжеты, новую форму и т.п. Потом кто-то из присутствующих прочел какую-то вещь Федина в немецком переводе. Все было скучно до одурения. И когда, выйдя на улицу, мы остались одни, Федин с презрением сказал: «Ну, ты видел этих «*пролетарских*» писателей? Это *же* какие-то *вычески общества*» (эти «вычески общества» я запомнил буквально).

Вторая поездка с Фединым была много интереснее. Федин опять позвонил как-то и говорит, что Герцфельде приглашает к нему на виллу на обед, у него будет Макс Гёльц (известный немецкий коммунистический Стенька Разин) и Эрнст Толлер, известный писатель. И опять Федин пристал, чтоб я с ним ехал. На этот раз я отказывался еще категоричнее, ибо

понимал мою там неуместность, причем говорил Федину, что Герцфельде мне крайне несимпатичен и я вижу, что пользуюсь у него «полной взаимностью». Но Федин насел невероятно, говорит, что один ни за что не поедет, а не ехать ему нельзя («Малик» его издательство). Я еще яснее видел, что в характере Федина была какая-то потребность в вечной подпорке, в каком-то «провожатом». Во мне этого никак не было. Я бы на его месте поехал один. Но Федин пристал так, что наконец моя жена и мать его поддержали: «Ну согласись, Рома, ты же видишь, как ему одному не хочется». И я – contre coeur – согласился. Конечно, увидеть живьем легендарного Макса Тельца было небезынтересно. Но уж очень Герцфельде был мне «против шерсти».

Одним словом – поехали на виллу Герцфельде куда-то далеко, может быть, в Далем, не помню уж. Ну, приехали. Вошли. Толлера нет, обещал быть позднее. Но мы сразу увидели легендарного. Своей наружностью Макс Гёльц меня поразил – ничего немецкого. Цыган. Низкий, коренастый, жгучий брюнет, с тонкими чертами лица, в повадках что-то физически сильное, подлинно пролетарское. Федина Гёльц заключил сразу в товарищеские объятия (как представителя «той страны, где светит незакатное солнце трудящихся»). По сторонам Гёльца – две чрезвычайно миловидные, даже красивые девицы, типичные немки, и почему-то в каких-то белых не то туниках, не то хитонах. За обильным – едой, закусками, напитками – столом девушки сели по сторонам легендарного. Мы – напротив. Обед прошел довольно пусто, говорились какие-то банальности. Федин спрашивал, конечно, Макса Гёльца, когда же он приедет в Советскую Россию? Тот отвечал, что скоро собирается и будет счастлив побывать в стране трудящихся. Должен сказать, что Макс Гёльц, чью авантюрно-разбойничью биографию я знал так же, как все читающие газеты, мне понравился. Что-то вроде «пролетар-

ского Котовского». В разговоре – большая непосредственность, искренность, даже какая-то детскость, если хотите. Это не какой-то там «партийный спекулянт» Герцфельде. Гёльц – человек из народа, с своими бредовыми разбойно-анархо-коммунистическими идеями, причем, по-моему, гораздо больше «анархо», чем «коммуно». Сарынь на кичку! Бунтарь. Сорвиголова. Подлинный desperado! За столом он был весел, смеялся, выпивал, позднее он действительно уехал в Советский Союз, но зачем? Да только затем, чтобы его советские чекисты утопили где-то в Волге. Они-то сразу поняли, что Макс не их поля ягода, что это бакунинский человечина, «в сладости разрушенья есть творческое наслажденье». Вот Бакунину Макс подошел бы, но не Сталину же? Для Сталина такие люди были опасны, ибо по своей натуре никакой «обработке» поддаваться не могли. Сталин его и утопил в Волге, причем в газетах было сообщено о несчастном случае с товарищем Максом Гельцем: утонул, купаясь в реке («как тонут маленькие дети»). Некрологи, конечно, были казенно-восхвалительные.

Когда мы вышли из виллы Герцфельде, к ней подкатил автомобиль с Эрнстом Толлером. Толлер выскочил из машины, бросившись к Федину, и, встретясь впервые, они заключили тоже друг друга в братские объятия. Толлер извинялся, сожалел, что не мог приехать раньше, и т.п., Федин тоже сожалел, вообще все вежливости были соблюдены. И мы тронулись в своей машине домой. Эрнст Толлер ничего для меня интересного не представлял, таких левых интеллектуалов я встречал десятки. Высокий, худой, с длинными волосами, типичный интеллигент-еврей. Красочного – ничего. Это не Макс Гёльц.

В машине мы обменивались с Фединым впечатлениями. Федин не был так жаден до людей, как я. Меня всегда интересовал и интересует каждый человек, и вовсе не для какой-то

«литературы», а как некое *впервые увиденное существо.* И всегда желание – понять это человеко-явление *для себя,* а вовсе не для того, чтобы «взять в какое-то произведение». Федин же наоборот – «был он только литератор модный». Когда я заговорил о «явлении» Макса Гёльца, он поддакивал мне без интереса, а когда я сказал: «А эти девушки в каких-то белых хитонах просто очаровательны...» – он посмотрел на меня с явным соболезнованием, сказав: – «А ты понимаешь, что это за «очаровательные девушки» в хитонах? Они же приставлены к Максу...» – «Как „приставлены“?» – «Эх, вы, эмигранты, эмигранты, нехитрый народ, ничего-то вы, Роман, в наших делах не понимаете и никогда не поймете. Я как только глянул на «этих девушек», сразу все понял... Они лее приставлены к этому Максу «органами». И неважно, что они спят с ним, это, кстати, тоже входит в их службу, но это не главное, а главная их обязанность – *прояснить* Макса. Ты видишь же, он природный, настоящий разбойник, а разбойник – плохой партиец, потенциально опасен, вот девушки в хитонах его и освещают...»

Признаюсь, слова Федина меня поразили: «Костя, да ты уверен в этом?» Федин слегка засмеялся: «Больше чем уверен... У нас у всех ведь «верхнее чутье» есть, какого у тебя и у всех вас тут нет... Я их «флюиду» сразу почувствовал, у нас ведь тоже много таких «очаровательных девушек», правда, не в хитонах, но хитоны дела не меняют, и эти «очаровательницы» могут быть иногда довольно страшны».

Федин был убедителен. «Дда, – думал я, – интересный „обед“». Дня через два Федин позвонил мне, и мы встретились в какой-то большой пивной. За сосисками и пивом Федин, улыбаясь, сказал: «А знаешь, Роман, ты ведь был прав. Герцфельде на другой день устроил мне невероятный скандал. Как вы, говорит, могли привезти с собой Гуля? Это же эмигрант, белый офицер! Это совсем не наш человек, и про-

чее, и т.п.» – «Видишь, Костя! И Герцфельде по-своему прав, это твое тасканье меня в качестве «провожатого» совершенно ни к чему. И в следующий раз я уж не поеду». – «Думаю, что следующего раза уже и не будет...» Но следующие разы, увы, были.

Так, помню, сидели мы с Фединым в большом ультранемецком ресторане «Ам Цоо», около Зоологического сада. Ужинали. Федин пришел первым, и как только я подошел к столу, он, улыбаясь во все лицо, говорит: «Не удивляйтесь, сэр, сюда попозже, так, через часок, придет Илья Ионов, я ему сказал, что буду здесь с тобой ужинать, но он не только не возражал, а сказал, что хочет с тобой познакомиться, он что-то твое читал. Так что вот еще один «следующий раз». Но Ионов – мужик подходящий и нужный, он заведующий Госиздатом в Ленинграде, старый большевик, совершенно бездарный поэт, но у него слабость – любит «вращаться среди писателей». Выпустил даже книгу своих стихов...»

(Федин назвал заглавие; не помню, не то «Красный мак», не то «Красный луч», вообще что-то красное).

Действительно, к концу ужина Илья Ионов (Илья Ионович Бернштейн) пришел. Чем он кончил – не знаю, думаю, Сталин «шлепнул» его в ежовщину. Таких старых большевиков-евреев Сталин убивал в большом количестве. Невысокий, типичный еврей, довольно приятный, мягкий в общении, ничего особо интересного в разговоре с ним не было, кроме того, что Ионов говорил, как к нему, в его первый приезд в Берлин, приходил И. В. Гессен, редактор издательства «Слово», предлагая приобрести изданные «Словом» книги.

– Эти люди не понимают, – говорил Ионов, – что если мы захотим переиздать что-нибудь заграничное, то возьмем и переиздадим, конвенции нет.

Были у меня с Фединым и другие «следующие разы». Ездил я с ним на интервью в «Берлинер тагеблят» и на встречу с

Вс. Э. Мейерхольдом и Зинаидой Райх. Один Федин ездить никак не любил. Часто Федин рассказывал очень интересные вещи, Так, однажды рассказал, как Михаила Зощенко вызывали в ОГПУ, стараясь завербовать.

– Вызвали повесткой через милицию на десять утра. А Мишка человек нервический, сразу впал в волнение, но делать нечего, поехал. Принял его какой-то чин чрезвычайно любезно, угощал папиросами, потом в кабинет подали чай с бутербродами, и чин все зондировал почву, чтобы Зощенко согласился осведомлять сие учреждение о заседаниях издательства (уж не помню какого, кажется, «Советский писатель». – *Р. Г.*).

– Конечно, все это подавалось в весьма элегантной форме, – говорил Федин, – вы же, Михаил Михайлович, наш, советский человек, мы же вам полностью доверяем и т.д.

– Но, Костя, почему же вызвали Зощенко? Ведь уж более неподходящего человека трудно себе представить?

– Подходящий, неподходящий. А им все равно, кого вызвать. У них так получилось, что не оказалось осведомителя в этом издательстве, вот они и решили поискать. Проморили они там Мишку несколько часов за всякими разговорами на тему: но ведь вы же наш, советский человек и прочее...

Зощенко, как рассказывал Федин, вертелся и так и сяк, как карась на сковороде, и когда «чины» поняли, что тут вряд ли что-нибудь выйдет путное, с него взяли подписку о неразглашении тайны вызова и содержания разговора и отпустили. «Мишка же, – говорил Федин, – ни о каком неразглашении уж и не думал, прямо оттуда сам не свой ко мне, как сумасшедший влетел, на нем лица не было, он вообще неврастеник, а тут совершенно растерялся, что делать, почему вызвали именно его, и боялся до смерти, как бы опять не потянули».

Рассказывал Федин много об Алексее Толстом, с которым дружил, «Ну и врут тут ваши эмигрантские газеты, пишут будто Алешка как приехал, так и начал загребать миллионы. А на самом деле первые два-три года Толстые еле-еле сводили концы с концами и к нам – то Наталья Васильевна (Крандиевская), то ее сын, то сам Толстой прибегали за десятирублевкой, чтобы на базар сходить. Да и травили его всякие РАППы, ведь Маяковский орал, что в РСФСР Толстой не въедет на белом коне своего полного собрания сочинений. Но Толстой-то въехал все-таки... только потом, после свидания у Горького с *хозяином*. Тут Толстой и пошел в гору, а до этого его держали в черном теле, «выдерживали»«.

Известно, что Алексей Толстой, перекрасив коня в красную масть, получил целых три сталинских премии и посмертно даже «прозвенел бронзой». Где-то, кажется, на Никитской в Москве ему стоит памятник («рукотворный»: граф Толстой комфортабельно сидит в большом кресле). Но мало кто знает, что на самом-то деле из слов «граф Алексей Толстой» истине соответствует только «Алексей». Был он и не «граф» и не «Толстой». О том, что настоящая фамилия Толстого должна быть Бострем, упоминает и Бунин в дневнике. Но только в Нью-Йорке от Марии Николаевны Толстой, хорошо знавшей семью графа Николая Толстого, я узнал о подлинном происхождении Алексея Толстого.

У графа Николая Толстого были два сына – Александр и Мстислав. В их семье гувернером был некто Бострем, с ним сошлась жена графа и забеременела. Толстой был человек благородный (а может быть, не хотел огласки, скандала) и покрыл любовный грех жены; ребенок родился *формально* как его сын – Толстой. Но после рождения Алексея Николаевича Толстого его «юридический» отец граф Н. Толстой порвал с женой все отношения. Порвали с ней отношения и сыновья – Александр и Мстислав. Оба они не считали Алексея – ни

графом, ни Толстым. Так ребенок Алексей Толстой и вырос у матери, в Самарской губернии. Но когда граф Николай Толстой скончался, уже взрослый Алешка, как «сын», приехал получить свою часть наследства. И получил. С Мстиславом Толстым я встречался на юге Франции у своих знакомых Каминка, они были соседями по фермам недалеко от городка Монтобана.

Только после рассказа М. Н. Толстой мне стала понятна суть той «*биографии*» Алексея Толстого, которую он, по настоянию Ященки, дал в «Новую русскую книгу». В этой «биографии» Толстой не сказал решительно *ни одного биографического слова о себе.* Это были какие-то «философические рассуждения» вокруг да около (не по-толстовски бледные, никчемные). Ященко страшно ругал Толстого за нее. Но теперь мне ясно, что Ященко тоже причин «несуразной биографии» не понимал. Так она и была напечатана в «НРК» в отделе «Писатели о себе».

В литературной карьере знаменитая фамилия, разумеется, очень помогла Алексею Толстому. Если б он эту карьеру начал как Алексей Бострем, было бы много труднее. А тут сразу – знаменитое имя плюс несомненное дарование. Свою знаменитую фамилию во всех случаях жизни Толстой умел подать как надо. Даже в немецком участке.

Помню, как в «НРК» Сандро Кусиков, помирая со смеху, рассказывал о их ночном приключении. Толстой, Есенин, Кусиков и кто-то еще всю ночь пропьянствовали в ночном берлинском кабаке. Вывалились поздно на улицу и по русской привычке начали что-то орать, хохотать, хулиганить столь шумно, что к ним подошел шуцман, сделав замечание о нарушении тишины и спокойствия. Но какие там немецкие «тишина и спокойствие»!? «Славянские души – как степи!» Замечание шуцмана их только подогрело. Но шуцман оказался свирепым законником и уже гораздо строже предло-

жил пьяным иностранцам следовать за ним в участок для составления протокола. Делать нечего. Пошли. Впереди – Толстой, большой, полный, барственно одетый.

Пришли в участок. За столом – полицейский чин. Шуцман докладывает о правонарушении. Чин молча берет какие-то бланки и макает перо в чернильницу для составления протокола. Первого, ближайшего к нему Толстого спрашивает; «Ваша фамилия?» – «Толстой». – Чин внимательно посмотрел на Толстого. – «Национальность?» – «Русский». – «Профессия?» – «Писатель». И вдруг чин откладывает перо, встает и, пораженный, любезно улыбаясь, спрашивает: «Так это вы написали роман «Война и мир»?» – «Я!» – отвечает Толстой. – «Как я рад! Как я рад! – пожимает руку Толстого оказавшийся любителем литературы полицейский. – У меня есть все ваши произведения». «Очень рад, очень рад», – отвечает Толстой. И, сделав знак шуцману, полицейский говорит: «Не надо протокола...» – А Толстому: – «Очень приятно, герр Толстой, можете идти, и ваши друзья тоже, только, пожалуйста, на улице не шумите... очень, очень рад, что я встретился с вами, герр Толстой...»

Веселая компания во главе с Толстым вывалилась из участка и на улице уж не в состоянии была сдержать хохота от артистического проведения сцены автором «Войны и мира».

Рассказ Кусикова показался Ященке чуть ли не анекдотом, и он решил «допросить» самого Толстого. «Допросил». И тот подтвердил, хохоча своим заразительным барским баритоном. Передавая мне об этом, Ященко говорил: – «У Алешки ведь природное актерство в крови. Помню, до революции ехали мы как-то в поезде по Франции: я, он и его друг художник (к сожалению, я забыл фамилию. – *Р. Г.*). И вот входим в купе – в нем две англичанки и англичанин, по виду чопорные. Ну, мы сели, и вдруг Алешка обращается к своему другу-художнику «по-английски». Конечно, не по-английски,

Алешка ни одного английского слова не знает, вообще в языках швах. А тут он заговорил на каком-то внезапно ad hoc изобретенном им языке, причем фонетически это было очень похоже на английский. Художник на лету понял Алешкину игру и как ни в чем не бывало отвечает ему «на том же языке». И вот оба они с совершенно серьезными лицами начали «оживленный разговор» на изобретенном ими языке. Да так ловко, что англичане таращат глаза, не понимая, что это за язык? А «собеседники» (главным образом Алешка!) продолжают игру, иногда хохоча, будто над чем-то сказанным. Я думал, рассказывал Ященко, что умру со смеха. А они так довольно долго проразговаривали, потом расхохотались и перешли на русский. У Алексея чертовы актерские способности...»

Из времен, когда Толстой в СССР уже пошел в гору, Федин как-то рассказал о неприличном, но весьма характерном для Толстого хамском дурачестве. Был у Толстого прием, много народу: писатели с женами, высокие военные с женами, актеры, актрисы, вообще советский бомонд. Собрались в гостиной, но хозяин почему-то все не выходит. «Наконец, – говорит Федин, – вышел Алешка в прекрасном костюме, надушенный, выбритый, но сквозь ширинку просунут указательный палец. И так, с самым серьезным видом, подходит к дамам, целует ручки и говорит: «Василий Андреич Жуковский... Василий Андреич Жуковский»... Одних этот его палец шокировал, ничего не могли понять, «не оценили», другие смущено засмеялись, и сам Толстой под конец разразился гомерическим хохотом на всю квартиру и вынул палец из прорванного кармана».

Рассказ Федина меня не удивил, я знал, что Толстой был способен на дикие и хамские дурачества. За этот «палец» Федин ругал Толстого: «Понимаешь, в гостиной – уважаемые дамы, актрисы, пожилые женщины, но с Алешки все как с

гуся вода... Разразился хохотом и – всему конец, даже не извинился».

Помню, я спросил как-то Федина о гремевшей по всей Советской России пьесе Толстого (и П. Щеголева) «Заговор императрицы», приносившей ему дикие барыши, но неожиданно снятой. Федин рассказал: «Этот «Заговор» я видел несколько раз. Пьеса халтурная, ерундовая, но поставлена была замечательно, и актеры были заняты изумительные. Особенно Монахов – Распутин. Ты представь, поднимается занавес, на авансцене, у себя в Петербурге – Распутин, один, растрепанный, со сна, босой, в русской рубахе – перед ним посудина с кислой капустой, и он – с похмелья – жрет эту капусту руками. Ни одного слова. Только жрет. Казалось бы, ничего особенного, а Монахов с похмелья, молча, так жрал эту капусту, что через две минуты зал разражался неистовыми аплодисментами. Монахов – гениальный актер...» – «Но почему же пьесу внезапно сняли, несмотря на такой успех?» – Федин улыбнулся: – «А сняли наверное правильно. У нас ведь наверху люди хитрые, и вот вдруг поняли, что народ-то валит на пьесу вовсе не для того, чтобы смотреть «Заговор», а для того, чтобы увидеть живую «императрицу». Вот и сняли». – «Ну а песни «Марш Буденного», «Кирпичики» – пели-пели по всей стране и вдруг – кончилось...» – «А это другая статья. И тоже для вас, эмигрантов, непонятная. И «Марш Буденного» и «Кирпичики» умерли потому, что уж *очень все их пели,* а власти наши не любят, когда *нация хоть на чем-нибудь объединяется, пусть даже на песне* (буквальные слова Федина. – *Р. Г.*)... К тому же кто-то еще пустил слух, что «Марш Буденного» это просто аранжировка еврейской свадебной песни, что властям тоже неподходяще».

Рассказал Федин как-то о том, как по Москве прошел слух, что Сталин тайно приезжал на могилу Аллилуевой в Новодевичьем монастыре и как там увидели его какие-то монашки

и обомлели. И от них по Москве пошли шепоты, что «хозяин»-де приезжал на могилу жены, погибшей при самых странных обстоятельствах: не то он ее застрелил, не то Аллилуева, наговорив ему каких-то отчаянных политических откровенностей: «Ты мучитель! Ты мучишь весь народ!» – застрелилась. Но как только пошли по Москве такие слухи и шепоты, всех этих монашек сразу сграбастали и куда-то упрятали в места не столь отдаленные.

Тут я делаю некоторое отступление. Моя дружба с Б. И. Николаевским продолжалась. Я как раз писал исторический роман об Азефе. Б. И. снабжал меня ценными печатными и даже рукописными материалами из своего архива и из Парижа через милейшего человека, историка Сергея Григорьевича Сватикова. С Б. И. мы часто виделись. Интересная информация от живых людей из СССР для Б. И. всегда была золотым кладом, и рассказы Федина были ему, конечно, интересны, причем Б. И. был так тюремно-подпольно конспиративен, что ему можно было все рассказать: нигде не проговорится, не оговорится, не оступится.

Б. И. состоял тогда членом «Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков)». Так назвали себя высланные (а некоторые и отпущенные Лениным с миром) берлинские меньшевики. Лидером и редактором «Социалистического вестника» (после смерти Мартова) был Ф. И. Дан. («Гоц-Либер-Дан – 1917-го года»). Вел Ф. И. Дан «Социалистический вестник» «железной рукой» и в те годы нэпа занимал высокоталмудическую позицию, то есть был «левее Ленина», ибо ленинского нэпа не признавал (страх перед крестьянством). Но это не была позиция Б. И. Николаевского, и его политических статей в «СВ» не было. Чтобы дать представление о позиции Дана, приведу самые краткие выдержки из «СВ».

В кричащем разногласии с правоверным поклонником нэпа, лидером сменовеховцев профессором Н. В. Устряло-

вым, который писал тогда о Ленине несусветную восторженную чепуху: «Ленин наш, Ленин подлинный сын России, ее национальный герой, рядом с Дмитрием Донским, Петром Великим, Пушкиным и Толстым», лидеры «Социалистического вестника» писали совсем другую, но тоже (как показала история!) несусветную чепуху: «Власть поворачивается лицом к крепкому крестьянству, к кулаку. Теория классовой борьбы замещается теорией гармонии интересов крепкого хозяйства и деревенской бедноты. Деревенская администрация уже сейчас все больше подпадает под влияние кулацких элементов...» «Весь период военного коммунизма оказался переходным не от капитализма к коммунизму, а от старо-помещичье-капиталистического к новому крестьянско-капиталистическому хозяйству». «Под покровом диктатуры пролетариата происходит оформление буржуазных элементов. Советская национализированная промышленность подчинена стихии крестьянского хозяйства...» И так далее. И тому подобное.

Эту основную талмудическую (и, на мой взгляд, вредную!) часть «Соц. вестника» я не читал ни при какой погоде. Да и вряд ли кто, кроме «миниатюрной» группки марксистов, ею интересовался. Но в «СВ» был очень интересный отдел – на последних страницах, петитом. Он назывался не то «Письма из России», не то «Вести из России». Вот им-то главным образом и ведал Б. И. Николаевский. «Вести из России» были без «идеологии»: только факты. И такого живого, злободневного материала ни в каком другом русском зарубежном журнале не было. И быть не могло. Потому, что только у меньшевиков тогда еще оставались живые связи с Советской Россией. Многие меньшевики работали на больших постах в высоких советских учреждениях. Многие – в берлинском торгпредстве и полпредстве, позже став «невозвращенцами». Из торгпредства «выбрали свободу» – Н. А. Орлов (автор законопроекта о

нэпе), юрисконсульт торгпредства А. Ю. Рапопорт, его помощник А. А. Гольдштейн, И. А. Раев и многие другие. Некоторые «невозвращенцы» уходили с хорошими деньгами. В Берлине ходил тогда милый анекдот: «Торгпредство ничего не имеет против Рабиновича но Рабинович имеет дом против торгпредства». В полпредстве работал Ю. П. Денике, тоже «эмигрировавший» в меньшевицкую группу. Все эти связи по некой «пантофельной почте» давали «СВ» ценную информацию для «Вестей из России».

Кстати, в этом отделе Б. И. (уже в Париже) опубликовал законспирированное «Письмо старого большевика», которое, как теперь общеизвестно, было сводкой его разговоров с приезжавшим за границу Бухариным и которым сейчас пользуются все заграничные «историки КПСС». Так вот, из встреч с Фединым, Сейфуллиной, Тыняновым, Груздевым и другими советскими писателями я рассказывал Б. И. много, причем то, что Б. И. печатал в отделе «Вести из России», тщательно камуфлировалось, чтобы никак не подвести никого, и печаталось только, когда сказители были уже в СССР. Жизнь показала, что никого мы и не подвели. Эту информацию часто перепечатывала парижская ежедневная газета «Последние новости» (единственная, по словам Троцкого, газета с Запада, которую читал Сталин, ибо иностранных языков не знал). Так, в «ПН» был перепечатан рассказ о вызове выдающегося писателя в ОГПУ на предмет «завербования в стукачи» (фамилия, разумеется, не называлась). Рассказ о поездке Сталина на могилу Аллилуевой как сейчас вижу прекрасно поданным на второй странице «Последних новостей». Перепечатывали это в переводах и немецкие и французские газеты.

Помню, как Б. И. хохотал своим высоким смехом, приговаривая: «Да, это он, это он!» – когда я передал ему полуанекдотический факт о Д. Б. Рязанове (Гольдендах, а не Гольденбах, как дано у Л. Шапиро в «Истории КПСС» и у

А. Солженицына в «Ленин в Цюрихе»). Рязанов был известный большевик, культурный человек, историк марксизма, отличавшийся своей независимостью и большим остроумием. Он был заведующий Центрархива и директор Института марксизма, представителем которого на Западе он официально взял (меньшевика!) Б. И. Николаевского. Тогда это еще было возможно.

Так вот, будучи человеком духовно свободным, Рязанов давно увидел, куда заворачивает головка компартии под флагом (милого его сердцу) марксизма, и на XI съезде партии Рязанов сказал довольно едкую тираду, оставшуюся в истории: «Говорят, – сказал Рязанов, – что английский парламент все может; он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее. Он не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается».

Федин же рассказал мне не бывшую, конечно, в печати такую историю. Рязанов должен был приехать в Ленинград прочесть какой-то серьезный доклад по марксизму (великим знатоком которого он являлся). «Ну, конечно, – говорил Федин, – наши ленинградские бонзы постарались набить зал до отказу, чуть ли не тысячу человек нагнали. Председательствовал М. Н. Покровский. Рязанов вышел на трибуну, взглянул в зал, помолчал и вдруг обратился к председателю: «Скажите, пожалуйста, товарищ Покровский, это все историки и все марксисты?» – «Да, товарищ Рязанов». – «Ну, в таком случае я доклада читать не буду», – сошел с трибуны и уехал». Николаевский, повторяю, хохотал чуть не до слез. «Да, да, это он, это на него очень похоже!»

Интересный факт о Рязанове рассказал Н. И. Ульянов в «НЖ» (кн. 126), в статье об историке С. Ф. Платонове, который был помощником Рязанова в Центрархиве. «Однажды пришла в Центрархив со слезами вдова расстрелянного цар-

ского министра юстиции Щегловитова. Ее нигде не принимали на работу. Просилась на службу... Платонов колебался. Как доложить большевику и еврею Рязанову просьбу вдовы создателя дела Бейлиса? К величайшему удивлению, последовало распоряжение: «Взять!». И вдова была устроена».

Но все эти смелости и «суворовские» экстравагантции привели, конечно, к тому, что Сталин Рязанова «кончил». В 1931 году он был арестован и сослан в Самару. В бабу превратить Рязанова не удалось. И в 1938 году Сталин «шлепнул» его в каком-то ежовском подвале. Рязанову пришили «подпольные контакты с меньшевиками» («Союзное бюро меньшевиков»).

Вспоминаю, как однажды в Берлине Б. И. звонит мне по телефону очень поздно, извиняется, но дело, говорит, спешное: «В Берлин приехал Рязанов и этой ночью уезжает. Я ему говорил о вашей книге об Азефе, и он очень просит достать ее ему, хочет прочесть в дороге». И Б. И. ночью приезжал ко мне за экземпляром «Генерала Бо», который такому читателю я дал с удовольствием.

Как-то Федин рассказал мне про поэта и переводчика Валентина Стенича, славившегося среди писательской братии остроумием и необыкновенной смелостью (вроде Рязанова, но у Рязанова был большой партийный стаж, а у Стенича – ничего). «Один раз, – говорил Федин, – идем мы компанией из Госиздата. Остановились на Невском у книжного магазина, среди книг выставлен большой бюст Сталина. И вдруг, схватившись за голову, Стенич кричит: «И этот идиот с узким лбом правит нами! Правит всей Россией!» Конечно, вмиг вокруг Стенича образовалась пустота, все шарахнулись кто куда. Но это обошлось. Только мы поняли, что со Стеничем ходить по улицам небезопасно. В другой раз Стенич отколол такую штуку. Были мы, несколько писателей-ленинградцев, приглашены в Кремль к Ольге Давыдовне Каменевой (сестра

Троцкого)... Ну, пришли, собралось довольно большое общество – сам Каменев, конечно, он из себя изображал радушного хозяина, говорил жене, чтобы она подала какие-то там котлетки, все поглаживал бородку, кто-то говорил, что с этой бородкой он похож на Николая II, и правда, что-то отдаленно общее было, пожалуй. Был Радек со своим вечным остроумием, других «вождей» не было, но писателей набилось много, времена были не особенно сытные, и поесть у Каменева котлетки было приятно. Выступали, читали стихи, какие-то отрывки... И кто-то поддразнил Стенича, вот ты, говорят, смелый, а ведь не прочтешь здесь свои стихи о Совнаркоме... Стенич вскинулся и говорит: «Конечно, прочту!» – «Ой ли?» – И Стенич взял и прочел свою невероятную «контру», где была такая строфа:

Дождусь ли я счастливейшего года,
Когда падет жидовский сей Содом.
Увижу ль я в Бутырках наркомпрода
И на фонариках российский Совнарком?

Воцарилась зловещая тишина и страшная неловкость. Кстати, Стенич еврей, настоящая его фамилия Сметанич. Тишину прервал Радек, резко сказав, что стихи, во-первых, пошлые, во-вторых, черносотенные, и он советует автору о них забыть навсегда. За ним то же самое сказал и Каменев. Стенич сидел молча, и все «перешли к очередным делам» – то есть к еде, питью и «разговорам, для которых приехали».

От себя скажу, что Стенич, конечно, не уберегся. Острый язык и злой ум его все-таки подвели: сначала он посидел в тюрьме ОГПУ, его выпустили с «наставлением», а потом – в ежовщину – расстреляли.

С Фединым у нас были очень близкие отношения, и могу засвидетельствовать, что тогда (в 20-х годах), говоря о больше-

виках, он называл их – «они». А как относился к этим «они», показывает хотя бы его рассказ об одном приеме в Кремле. Были тут и цекисты, и чекисты, и военная головка, и писатели, и актеры. Федин рассказывал, как невероятно жрали и пили. И говорил, что на приеме был знаменитый по Беломорканалу палач-чекист Фирин. Известно, что многие писатели (Толстой, Шкловский, даже неврастенический Зощенко и многие другие) «воспели» эту чекистскую фараонову бессмыслицу, стоившую смерти сотням тысяч людей. Федин говорил, что ему удалось увернуться и не поехать на канал, а на приеме в Кремле он всячески старался избежать столкнуться с Фириным. И в Кремле избежал. Но когда уже возвращался в Ленинград и сидел один в купе, к нему вдруг из другого купе вошел этот самый знаменитый Фирин и сразу же повел разговор о том, как жаль, что Федин не приехал на Беломор, что он должен обязательно приехать «к ним», что ему будет там о чем написать и пр., и т.п. «Я вертелся как мог, – говорил Федин, – наотрез отказаться невозможно, ну, я обещал как-нибудь приехать, но все-таки так и увернулся от Беломорканала».

Помню еще один рассказ Федина об Алексее Толстом. Кстати, Федин очень хорошо рассказывал и представлял людей, в нем было актерство (не столь броское, как в Толстом, но было). «Приехали как-то в дом Герцена в Москве Алешка Толстой и Пашка Сухотин поздно ночью, пьяные. Толстой требует водки. Но лакей видит, что «гражданин в доску», да и поздно, не дает. – «Как! Нет!? Позови мне сейчас же е... т... м... Герцена!» – А Герценом в доме Герцена называется управляющий рестораном, некий «метр д'отель», человек с ассирийской бородой. – Приходит Герцен. – «Дай водки!» – «Не могу, час поздний...» – «Что?! Да ты знаешь, кто я и кто ты!? Ты – хам, я тебе сейчас морду горчицей вымажу!» – «А вы поосторожней, гражданин Толстой.» – «Ах, так прорастак твою

мать!» – Толстой делает скандал, кроет лакеев и «метр д'отеля» матом, называет хамами. – «Кто я и кто вы!» – Но под конец, хоть и пьян Толстой, но почувствовал, что может выйти скверно, все же «рабоче-крестьянская» власть. Идет на кухню. И как будто спьяну бормочет поварам и лакеям: «Ну, я вас крыл е..., теперь вы меня кройте», – садится на плиту. – «Нет, это вам даром не пройдет, гражданин Толстой, не пройдет...» Утром Толстой торопливо уехал в Ленинград. Лакеи поершились, поершились, грозили в суд подать, пошумели, но сверху все дело замяли...» Федину Толстой говорил: «Я за границей, Костя, везде могу жить, только не в Париже, в Париже мне обязательно набьют морду, ха-ха-ха!» – гомерический хохот Толстого.

Небезынтересны были рассказы Федина о всяких не «великосветских», а «великосоветских» придворных историях. Например, Сталин и Луначарский. «Луначарский чувствует под собой «колебание почвы». Чувствует – надо просить прием. Просит. Сталин не принимает. Луначарский в волнении. Не принимает. Наконец – принят. Наркомпрос начинает выяснять, говорит, говорит – в ответ полное молчанье, только презрительный взгляд исподлобья. Наконец Луначарский начинает «протестовать» и вспоминать о своих заслугах... и вдруг реплика: «Тэбя болшэ нэт!» Прием кончен. Оказывается, в этот день уже подписан приказ о назначении на его место Бубнова».

Подобную же историю Федин рассказывал о Рудзутаке. «У Рудзутака под Москвой богатая вилла какого-то бывшего богача, и ведет он там широкую барскую жизнь. Вдруг чувствует «колебание почвы», чувствует, что надо «идти в Мекку». Просит приема. Не принимают. Пять месяцев просит приема Рудзутак. На шестом месяце принимают, но коротко. «Вэдэшь нэ коммунистичэский образ жизни. За это отбираем у тэбя на первый раз виллу и дадим ее Горькому. В слэду-

ющий раз будэт хуже». Прием кончен. И Рудзутак молча удаляется».

Неплох был рассказ и о Крыленко. «Крыленко охотился на медведя. Обкладчик неправильно расставил охотников по номерам, так, что, когда гон начался, медведь вышел мимо номеров. Крыленко пришел в такое бешенство, что вошедшего обкладчика ударил по морде арапником так, что тот повалился с ног...» Жест вполне «крепостнический», хоть «товарищ Абрам» и посвятил всю свою жизнь борьбе «за счастье рабочих и крестьян».

Говорил Федин о всеобщей неприязни писателей к Демьяну Бедному. Рассказал, что в Питере у одного лица бережется бланк-приказ Демьяна от 1919 года какому-то начальнику железнодорожной станции: подать Демьяну салон-вагон. Написаны приказательно несколько слов с подписью: «Демьян». О Демьяне Федин рассказывал и более интересный случай. «Из-за каких-то гонорарных недоразумений Демьян был в ссоре с «Красной газетой» и не давал туда ни строки, запрещая даже перепечатывать его басни. Но однажды к редактору «Красной газеты» Чагину вдруг звонок. Звонит Демьян, говорит, что хочет мириться и будет печататься, но просит немедленно прислать ему пятьсот рублей, он сидит у антиквара-букиниста на проспекте 25 Октября. Чагин и так и сяк, говорит, сию минуту в кассе свободных денег нет. Но Демьян упрашивает, говорит, что пятьсот рублей ему нужны сейчас дозарезу. И наконец пятьсот рублей Чагин отправляет Демьяну к антиквару-букинисту. Оказывается, ловкий антиквар случайно где-то приобрел письма Демьяна к его незаконному, но кровному отцу вел. кн. Константину Константиновичу и сообщил об этом в Москву Демьяну. Тот стремглав примчался в Ленинград выкупать их. Но для выкупа до двух тысяч рублей не хватало пятьсот. И не выходя из магазина, Демьян звонил в «Красную», предлагая Чагину

мировую, только чтоб тот немедленно привез ему эти пятьсот рублей. Ну, и выкупил». Но Федин, смеясь, говорил: «Я этого антиквара-букиниста превосходно знаю, он хитруший черт, и я уверен, что парочку самых махровых писем он все-таки на всякий случай припрятал».

Интересно рассказывал Федин о знаменитом академике Ив. Петр. Павлове, который «единственный во всем Союзе» открыто не признавал советскую власть и не стеснялся об этом говорить с кафедры. Но так как Ленин завещал «сохранить пролетариату Павлова», то академику все это сходило с рук. Федин говорил, что Павлов держится не только независимо, но «вызывающе». В одной из вступительных лекций он сказал, например, что «самая глупая книга, которую он когда-либо читал, это «Азбука коммунизма» Н. Бухарина». А когда в Военно-медицинской академии началась «чистка студентов» и одним из пунктов чистки было «происхождение», то Павлов с кафедры сказал: «Если считается, что в этом учебном заведении не могут обучаться все желающие и, в частности, не могут обучаться лица духовного происхождения, то, вероятно, тем более не могут обучать лица такого же происхождения. Во всяком случае, я считаю для себя, как человека происходящего из духовного звания, преподавать в Военно-медицинской академии неуместным». И преподавание прекратил. К нему – депутации, делегации. Но старик остался непреклонен.

Другой случай – по рассказу Федина – с Госиздатом. Госиздат давно хотел издать труды Павлова. Но старик долго не соглашался. Наконец – согласился. Среди фотографий (для помещения в книге) Павлов дал свою фотографию с отцом священником, в рясе и с наперсным крестом на груди. В Госиздате впали в панику, вопрос дошел до вершин, то есть до Сталина. И вершины сказали: поместить. Но Павлов этим не ограничился, он посвятил свои труды своему сыну, а сын

Павлова убит в Белой армии. И это посвящение дошло до верхов. Но верхи и тут сказали: поместить.

Еще случай. Когда Павлов во время полпредства Красина в Лондоне приехал туда на конгресс физиологов, Красин в его честь дал банкет. На этом банкете собрались все представители конгресса. Ждут, а Павлова нет, ждут – нет. Наконец Красину докладывают: академик приехал. Распахивается дверь, и в зал, где собралось множество людей, входит Павлов с колодкой всех царских наград. Но Красин – человек умный, воспитанный, не показав ни малейшего замешательства, любезно поспешил навстречу знаменитому академику. И банкет начался...

Я много записал рассказов Федина, всего не приведешь. Были короткие записи. Например, такие. Андрей Белый приехал в Ленинград к Толстому. Вдруг телеграмма из Москвы, что в его отсутствие в квартире произведен обыск и забраны все дневники. Белый в ужасе телеграфирует Горькому. Ответная телеграмма: меры приняты, будьте спокойны. Белый все-таки мчится назад в Москву. Дневники он получил назад (после снятия с них копий, конечно) – продолжайте, мол, дальше...

Процесс меньшевиков, говорил Федин, начался с отобрания дневников у Суханова, которые он вел в течение многих лет. Они и послужили «основанием для процесса». Но процесс, по Федину, никакого «резонанса» не имел потому, что публика уже «попривыкла» к таким «постановкам».

Как-то я разговаривал с Фединым на тему, возможно ли «свержение советской власти» (во что я не верил). Федин сказал неопределенно: «Переверток? Черт его знает, но не дай Бог...» – «Почему?» – «Да потому, что ты даже не представляешь себе, что бы тогда произошло. Ведь у нас под полом спрессована такая ненависть, что оторвись хоть одна половица, оттуда вымахнет такой огонь, что все сожжет. Резали бы

без устали... И не спрашивали бы: партийный иль беспартийный, а спрашивали бы: из какой кормушки ел, когда мы недоедали и голодали? И тем, кто ест из привилегированной кормушки, никому пощады бы не было... Знаешь, я видел как-то крестный ход у нас, и вот хоругви несли такие здоровенные, крепкие, толстолобые дяди... Я и подумал, дай им история волю, да они бы под корень всех нас вырезали... Ведь мы же все, увы, прикреплены к самой привилегированной «кормушке»... Вот в чем дело, Роман...»

Помню, я сказал, что «они не дураки», всех кого надо взяли на коммунистический корабль и вместе плывут...

– А кто сказал, что «они» дураки? Что-что, а зарезать себя не дадут, будьте уверены! Это только тут у вас в эмиграции людишки все в какой-то розовой водице купаются – примирение, перерождение, эволюция, национализация революции, «засыпание рва»... все это чепуха... читал я тут передовицы, например, Милюкова в «Последних новостях» и вижу, ничего-то тут в эмиграции не понимают и никогда не поймут. Потому что мы там живем в мире совсем иных категорий, а вы тут – в категориях 17 года... или даже *до* 17 года... вот в чем дело... какое же тут понимание?..

О приезде Бернарда Шоу в Ленинград Федин рассказал довольно занятно. Приезд был организован «глупейшим образом», говорил Федин, это был просто «скандал». С вокзала Шоу повезли сразу осматривать Эрмитаж, потом еще куда-то, потом в «Европейскую» гостиницу на банкет. Шоу это взбесило, и он сказал:

– У нас в Англии есть хорошая поговорка: если собака голодна, ее не заставляют делать фокусы.

Поняли. И дали Шоу сначала отдохнуть. На банкете, устроенном позднее, председателем был некий товарищ Рафаил, как говорил Федин, – дурак полный. Именно он задал Шоу такой вопрос:

– Правда ли, что в Англии писатели получают ни с чем несоизмеримые гонорары, и думает ли Шоу, что это хорошо, в то время когда английский пролетариат недоедает и прочее. Вопрос перевел один переводчик. Шоу не понял. Перевел второй – Шоу не понял. Перевел Луначарский. Шоу не понял. Перевел Маршак. Шоу не понял. Но сказал: «Я не понимаю, что мне говорят переводчики, но догадываюсь, что вопрос идет о писательских гонорарах в Англии. Эти гонорары хороши. Во всяком случае, если б в Англии все было национализирование, я бы хотел, чтобы писательские гонорары остались в неприкосновенности...» Хохот, недоумение...

Не помню точно, сколько раз Федин приезжал в Берлин. Чуть ли не каждый год. Первый раз, по-моему, в 1928 году, последний в 1932. И всегда мы часто виделись, он бывал у нас. Ездили по Берлину. Не раз бывали вместе у Владимира Пименовича Крымова в его барской вилле в Целлендорфе. Владимир Пименович был красочный человек. Но не как писатель. Хоть и был он плодовит, писательство его было, выражаясь по-французски, «скрипкой Энгра». Много писал, сам себя издавал (самиздат). Красочен Крымов был как *делец*, умел деньги делать из воздуха, был очень богат и чудовищно скуп. О нем я подробно расскажу в «России во Франции», когда мне пришлось пожить у него (правда, недолго) в его вилле в Шату под Парижем. Кстати, эта вилла ранее принадлежала знаменитой шпионке Мата Хари.

Сейчас скажу только, что у богача Крымова была некая слабость, которую он и не скрывал, а афишировал: он не мог жить без людей. Поэтому за завтраками и обедами всегда должны были быть какие-нибудь гости. Причем завтраки и обеды были не только не «скупые», а просто-таки первоклассные: и закуски, и всякие вкусности, а из напитков – большой погреб: чего душа хочет, вплоть до шампанеи. Накрывался стол всегда на застекленной веранде, выходив-

шей в сад. Уж не знаю почему, Владимир Пименович очень любил гостей фотографировать. Раньше я этой его любви не разделял, а теперь говорю – очень хорошо делал, по крайней мере в моем архиве остались фотографии – и с Фединым, и с Толстым, и с Николаевским, и с другими.

Последний приезд Федина был тревожный. Федин давно был болен туберкулезом. Часто кашлял и страшновато (с мокротой). А в августе 1931 года я получил от него телеграмму, что выезжает за границу лечиться. Следом пришло письмо. Федин очень просил меня приехать в Штеттин его встретить и проводить до Берлина, так как один, пожалуй, не доедет, до того слаб.

К указанному дню я выехал в Штеттин. Приехал за день до прихода парохода. День проходил по приятному, незнакомому Штеттину. («И стоят чужие города, / И чужая плещется вода»). Переночевал в крохотном отельчике у пристани и в нужный час ждал Федина. Должен сказать, видом его я был потрясен. Федин был слаб и худ как щепка. Щеки ввалились, постарел страшно, отрастил почему-то бороду. Словом, передо мной был больной старик, непрестанно кашлявший.

Мы облобызались. Я взял его чемодан, он нести был не в состоянии. Железнодорожные билеты я взял заранее. Ехали в купе вдвоем. Костя все время кашлял в платок (кашлял с мокротой). Глядя на него, я думал: «Не жилец!» Я спросил его: к кому он хочет обратиться в Берлине? Он назвал какого-то светилу-профессора, рекомендованного питерскими врачами, и сказал, что *в* Ленинграде ему посоветовали поселиться в Шварцвальде. Тогда я изложил ему план моей жены.

В Берлине у нас есть большой друг доктор Конрад Конрадович Кюне. Кюне немец, очень долго живший в России (может быть, даже родившийся там). Кюне замечательный доктор, специалист по туберкулезу. И так как он сам когда-то был болен туберкулезом, то, естественно, знает эту болезнь

как должно. Олечка предлагает Федину до обращения к знаменитости пойти к Кюне. Федин ничего не теряет. Кюне его сразу примет (Олечка уже говорила с Кюне о нем). Пусть Кюне его осмотрит и скажет свое мнение. Причем я предупредил Федина, что Конрад Конрадович доктор своеобразный. Он говорит пациентам всю правду в глаза. Так, на вопрос одного больного: какую ему держать диету? – Кюне сказал: никакую, ешьте все, потому что вам осталось жить несколько месяцев. Я сказал Федину, что и он может получить какой-нибудь «страшный» диагноз. Но диагноз Кюне его ни к чему не обяжет, после него пусть пойдет к знаменитости. Кстати, я сказал, что Кюне не сребролюбец и, может быть, с него, как с нашего друга, совсем ничего не возьмет. Федин благодарил и сказал, что так и сделает.

В назначенный день в Берлине Федин отправился на прием к Конраду Конрадовичу. Тот его всячески исследовал и сказал: «Никакой Шварцвальд вам не поможет, слишком низко. У вас есть только один выход: немедленно ехать в Давос. Там вам сделают пневмоторакс обоих легких. И оставят на давосском воздухе. Выжить у вас – пять процентов: это зависит от того, подойдет ли вам давосский горный воздух, некоторые после пневмоторакса легких его не выдерживают. Но если давосский воздух подойдет, тогда есть некоторый шанс, что поправитесь».

После приема у Кюне Федин решил, что ни к какой знаменитости он не пойдет. Кюне произвел на него деловое впечатление, он ему верит. И так как Кюне советовал не медлить ни одного дня, ибо состояние здоровья критическое, то, не задерживаясь, поедет в Давос с письмом Кюне к доктору давосского санатория.

Так и было. Швейцарское консульство без задержки дало Федину визу, и он отбыл в Давос. Здесь Федину повезло. Оба пневмоторакса он хорошо перенес. А давосский воздух по-

дошел ему как нельзя лучше. Итак, план Олечки пойти к доктору Кюне спас Федину жизнь в буквальном смысле слова. После Давоса Федин прожил (да еще в какой кипучей деятельности!) много лет, дожив до глубокой старости. И под старость – надо признать! – сделал немало гадостей в русской литературе, особенно в отношении Пастернака и Солженицына. Но этот переход Федина – от писателя к советскому вельможе (генсеку ССП, председателю ССП, депутату, лауреату) – психологически не сложен.

Из Швейцарии Федин часто писал мне и жене, присылал фотографии, которые до сих пор у меня в архиве. Описывал, как быстро поправляется, на сколько фунтов потолстел, как целебен воздух Давоса и прочее. А на моем столе еще стоит коробочка карельской березы, ручной кустарной работы, привезенная Фединым в подарок, когда я встретил его в Штеттине.

Под конец пребывания в Давосе – с начала сентября 1931 года до конца мая 1932 года – Федин совсем поправился. На последней фотографии – надпись: «Посмотри, как я потолстел!» Действительно, вид был совсем здорового человека.

После Швейцарии Федин провел некоторое время в Берлине. Это было, вероятно, в июне 1932 года. Но к концу года Федин должен был возвращаться в Ленинград, а из СССР шли самые скверные вести об ухудшении жизни во всех смыслах («хвосты за керосином», «достать селедку – проблема», «завинчивание всех гаек» и т.д.). Это Федина, естественно, беспокоило. Помню, звонит он по телефону и говорит, что наше свидание надо отложить потому, что приехал Всеволод Иванов, завтра будет у него и от Всеволода он все узнает о «положении на родине». Отложили. А дня через два я у Федина в пансионе познакомился с автором «Бронепоезда».

Всев. Иванов был совсем не чета Федину. Некрасивый по внешности, но сразу видно, что умный и по характеру силь-

ный, твердый, с посторонними замкнутый человек. «Провожать» его куда-нибудь, как Федина, не было никакой надобности. Мы пошли втроем в ресторан. В то время я как раз выпустил в Берлине у «Петрополиса» («Парабола») книгу «Тухачевский». Но вышла она всего каких-нибудь дней десять, и я даже не успел ее дать Федину. В ресторане среди незначительного разговора Всеволод Иванов неожиданно бросает мне:

– Ну и книжечку вы написали... ничего себе...

– Какую книжку? – искренне удивился я.

– Да о Тухачевском.

– Да где же вы могли ее видеть, она только что тут вышла.

– Где видел? – с какой-то не очень приятной улыбкой и не очень приятным тоном сказал Иванов. – У двух людей в Москве. Одну – на столе у самого Михаила Николаевича, а другую у Яши Агранова (так и сказал «Яши». В числе прочих писателей Всев. Иванов бывал у этого омерзительного чекиста, имевшего отношение и к литературе).

Мне почему-то это сообщение Иванова было неприятно. У Агранова? У самого Тухачевского? С такой молниеносной быстротой? По лицу Федина я понял, что и он тут чем-то «шокирован», хотя книги моей не знает, но по тону Иванова, вероятно, понял, что с ней что-то неладно. Ни в какие расспросы Иванова я, разумеется, не пускался. И к теме о моей книге не возвращались. Среди разговора Федин предложил Иванову поехать завтра с нами к Крымову на обед, тот согласился.

А когда мы с Фединым остались одни, он сказал, что сведения, идущие из СССР и о «завинчивании гаек», и о резком ухудшении продовольственного положения, даже в Москве и Питере, – верны. Иванов ему рассказал какие-то удручающие вещи. «Ну, а Всеволод серьезный мужик и настоящий друг. Если говорит – стало быть, так».

На следующий день мы втроем были у В. П. Крымова. Его милая жена, Берта Владимировна, и на этот раз сама себя превзошла в угощении. За столом Владимир Пименович подливал гостям напитки (он любил, чтоб гости становились все разговорчивее), стал расспрашивать Иванова о положении в Советской России – верны ли такие-то слухи, верны ли такие-то сообщения, но Всев. Иванова ни водкой, ни коньяком, ни шампанским не подмочишь. Он отвечал ловко, увертливо. И из его ответов никакой «картины» составить было нельзя. Эту «неразговорчивость» умный Крымов быстро понял и перешел на безболезненные темы.

Перед отъездом Федина в Ленинград мы еще раз встретились в Берлине. Он возвращался в СССР из Шварцвальда, из Сан-Блазиена. Но эта встреча оказалась довольно «драматической». В Шварцвальд я послал ему мои последние книги «Тухачевский» и «Красные маршалы», вышедшие у «Петрополиса» («Парабола»). И от них (особенно от последней) Федин «пришел в ужас». Было от чего. В предисловии к «Красным маршалам» я писал: «Может быть, не было еще исторического явления более парадоксального, чем русская революция. По существу своему крестьянская, а потому национальная, оно вскоре была втиснута Лениным в прокрустово ложе коммунистической и интернационалистской <...> Понятно, что меры коммунистической олигархии направлены против русского крестьянства <...> Сталин с своими заплечных дел мастерами не только обрубает ноги, он карнает народное тело со всех сторон ножницами пятилетки и коллективизации и втискивает это тело в рамку интернационального коммунизма <...> Борьба крестьянства с авантюристически навязанным доктринерским коммунизмом идет сейчас со всей ожесточенностью...» И так далее.

При встрече первые же слова Федина были:

– Роман, как ты мог такое написать?

– Написал, Костя, потому что так чувствую.

– Но ты же теперь у нас будешь в «активных врагах народа»?

– Без сомненья. Но знаешь, Костя, после всех этих зверств коллективизации, террора – я их ненавижу так же, как ненавидел в 1917 году.

– Дело твое, конечно, – мрачно и недовольно проговорил Федин, – но мы с тобой больше переписываться не можем. Ты понимаешь это?

– Разумеется. Думаю, что не можем.

Простились мы неплохо. Федин еще раз благодарил меня и жену за доктора Кюне. И отбыл в СССР...

С тех пор, как я «перешел в стан активных врагов народа», я считал, что с Фединым никогда не встречусь. Это оказалось неверно. Судьба свела нас еще раз. Это было в 1934 году в Париже, куда мы в сентябре 1933 года уехали с женой из Германии после моего заключенья в концлагере «Ораниенбург». Узнал я о приезде Федина в Париж от Евг. Ив. Замятина, которому Федин писал довольно нехорошие (по-моему) письма, весьма «дипломатично» уговаривая «вернуться на родину». Но Замятин был настроен резко антибольшевицки и ни на каких «червяков» не клюнул. Замятин дал мне телефон отеля Федина и час, когда ему можно звонить. Я позвонил. Разговор был как будто дружеский, но Федин все же сказал: «Ты понимаешь, Роман, что теперь нам встречаться не очень удобно». – «Вполне понимаю, что *тебе* неудобно, я-то готов встретиться когда хочешь». И мы все-таки встретились. Федин приехал к нам.

Он расспрашивал меня о моем сидении в гитлеровском кацете, о нашей семье, о докторе Кюне. Но разговор все-таки как-то не шел, не клеился, прежних простых дружеских отношений не было. Федин повторил об «активном враге народа». Я подтвердил. На прощанье сказал: «Ну, теперь вряд ли

когда увидимся. Скажу тебе прямо, если меня вызовут в известное учреждение (это учреждение талантливый Вл. Войнович хорошо называет – «ТУДА КУДА НАДО». – *Р. Г.*) и будут спрашивать о тебе, скажу, что ты продался иностранным разведкам». Я обмер и взмолился: «Костя, да ты что, в уме? Скажи, что я противник террора, коллективизации, диктатуры партии, все как есть.» Но Федин безнадежно махнул рукой, «Все вы, эмигранты, одним миром мазаны. Да ты понимаешь, что, если я скажу, что ты «идейный противник того-сего», там этого просто не поймут, это для них слишком сложно. А надо сказать так, чтоб им было понятно: вот продался иностранным разведкам – это им вполне понятно, это на их языке». И Федин так убедительно об этом говорил, что я в свою очередь махнул рукой и сказал: «Ну, говори, что хочешь, как тебе удобней». – «Да, может, меня никто и спрашивать не будет. Это так, на всякий случай говорю. А тебя прощу, если будешь писать обо мне – выбирай самые черные краски, не стесняйся, пожалуйста, пиши, что я лакей компартии, что я сволочь, что я изнасиловал кошку... это для меня будет самое подходящее».

Не знаю, вызывали ли Федина ТЕ КОМУ НАДО в ТУДА КУДА НАДО? Но я о Федине с тех пор ничего не писал. И знал, что теперь-то мы с ним никогда не встретимся. Но произошла еще одна вроде как бы «встреча». Негаданная.

Когда мы с женой после конца мировой войны, в 1945 году, вернулись в Париж из Гаскони (где больше четырех лет были сельскохозяйственными батраками), эта встреча и произошла. Обстоятельства ее таковы. В Париже у меня был близкий друг Яков Борисович Рабинович. Дружили мы с Берлина 1920 года. Я. Б. был человек не без блеска: умница, прекрасно образованный, широкой души. О нем я буду писать в «России во Франции». А тут скажу только, что Я. Б. во время войны был руководителем подпольного еврейского (он

был сионист) и эмигрантско-русского движения «Сопротивления». И в 1945 году от какой-то сионистской организации поехал в Германию на Нюрнбергский процесс. Я у него был как раз накануне его отъезда. Рабинович сказал, что вернется через две недели.

И вот в самом конце декабря получаю в Париже «пневматичку», в ней Я. Б. пишет, что просит прийти к нему, ибо привез мне самый сердечный привет с Нюрнбергского процесса. И я и Олечка ничего не поняли. Вошел я к Я. Б. со словами: «От кого же привет – от Риббентропа или от Розенберга?» Я. Б. засмеялся (он смеялся очень заразительно). – «Никак нет, ни от того ни от другого, а от Константина Федина!» Я так и ахнул.

Я. Б. рассказал, что в Нюрнберге в каком-то «трибунальском ресторане» он в первый же день случайно оказался за столом рядом с Фединым и с каким-то «сопровождающим» его типом. Разговорились по-русски. Узнав, что Я. Б. из Парижа, Федин вдруг спросил: «А не знаете ли вы такого русского писателя Гуля?» Я. Б. говорит, что был поражен вопросом. – «Романа Борисовича, говорю? Да он у меня позавчера был, мы старые друзья еще по Берлину. Федин, – сказал Я. Б. – явно очень обрадовался». – «Вот как?» Но все же осторожно спросил, где я был во время войны? «И когда я сказал, что вы сидели у нацистов в концлагере (это он знал), а в войну были, конечно, за союзников, политический «лед» был сломан. Федин стал расспрашивать о вашей матушке, я сказал, что она скончалась. Федин произнес: «замечательная была женщина, спросил о вашем брате, я сказал, что тоже умер. На том разговор за общим столом и кончился. А потом, когда Федин, уже без соглядатая, случайно столкнулся со мной в судебном коридоре, то, остановив меня, сказал: „Передайте, пожалуйста, Роману и Ольге Андреевне мой самый

сердечный привет!“ – Вот я и передал...» – закончил свой рассказ Яков Борисович.

И я и жена были тронуты памятью Федина.

Потом я, конечно, читал о Федине все, как он «пошел в гору» – крутой подъем на золотую, кремлевскую гору. Когда жена меня как-то спросила: как ты думаешь, что произошло с Фединым, – я так объяснял его человеческое и писательское падение. Во-первых, Федин очень больной человек. Во-вторых, Федин от природы человек слабый, эгоцентрический, а таких тоталитаризм подламывает мгновенно и без возврата. В-третьих, Федин до мозга костей «литератор», и «литератор» тщеславный, он хочет удержаться во что бы то ни стало на верху пирамиды, причем, конечно, чувствует, что талант от него уходит. Уже «Братья» были собственно халтурой и «косоглазием». А дальше в лес – больше дров. Федин полностью перешел на халтуру соцреализма. Но тут держаться на верху пирамиды можно было, только став «литературным функционером». Поэтому и пошло: генсек ССП, председатель ССП,[36] депутат Верховного Совета РСФСР, сталинский лауреат, свой человек со всеми Ильичевыми, Пономаревыми, ком вельможами, душившими «во славу социализма» все живое в литературе.

И именно эти разъевшиеся, мордастые номенклатурщики-гангстеры из Дома на Старой площади давали Федину «деликатные поручения»: уговорить, например, Пастернака отказаться от Нобелевской премии, да чтоб он написал письмо Хрущеву и в «Правду». И вельможа Федин уговаривал Пастернака так, как хотели мордастые гангстеры. Федин

---

[36] Кое-кто из недоброжелателей-остряков в ССП прозвал Федина – «чучелом орла». Остро. Верно. Никаких орлиных крыльев у Федина не было. Но сие-то для него и было к лучшему. Иначе он не сделал бы такую «широкошумную» советскую карьеру. А лучше всего о Федине сказал Корней Чуковский: «Комиссар собственной безопасности».

должен был «зарезать» и роман Солженицына «Раковый корпус», он его и зарезал, как хотели мордастые гангстеры. Зато жил Федин в прекрасной даче в Переделкине, обставленной александровским» гарнитуром красного дерева. А умер, перевалив за восемьдесят, в «государственном» почете и в ненависти некоторых писателей, кому была дорога свобода писателя и литературы. Бот что наделал доктор К. К. Кюне своим диагнозом.

Однажды в разговоре о Федине я сказал Олечке эту фразу – «вот что наделал диагноз Конрада Конрадовича». «И тебе не стыдно так говорить?» – ответила Олечка. Признаюсь: тут я перед женой пасовал. Если б в Берлин приехал на последнем градусе чахотки сам Сталин иль Ягода, Олечка даже бы о них поговорила с Конрадом Конрадовичем. Я это очень ценил, но сам, увы, не умел.

Лидия Сейфуллина

Лидия Сейфуллина была первым советским писателем, с которым я встретился в Берлине. Было это в 1927 году. Помню, в нашей квартире на Бельцигерштрассе зазвонил телефон. Подхожу: «Алло?» – «Это Роман Борисович?» – «Да.» – «Здесь Лидия Сейфуллина, я только что из Москвы. Простите, я к вам за справкой. Где тут можно достать третий том *моих произведений*?» Эти «произведения» меня как ножом резанули, ну сказала бы «моих книг», «собрания сочинений», было бы не безвкусно. Я ответил, что здесь есть большой советский книжный магазин «Международная книга» и там наверняка она найдет свои «*произведения*». Сейфуллина поблагодарила и добавила, что в кое чем хотела бы моей помощи и хорошо бы было встретиться; «Может быть, вы приедете как-нибудь ко мне в пансион?» Я с удовольствием согласился.

В назначенный день пришел в пансион где-то неподалеку от Курфюрстендамм, почему-то там останавливались многие советские писатели. Сейфуллина встретила меня любезно. Маленького роста, типичная татарка, только глаза большие (скорее русские), какие-то темно-зеленые. Веселая, живая, резкая, волосы подстрижены челкой. Голос приятный.

Заговорили о том, о сем. Сразу почувствовалось – Сейфуллина умница и талантливый человек. Литературно тогда она была, как говорится, «в зените славы». Вышло ее «собрание сочинений». Вещи ее переводились на иностранные языки. Особенно «гремела» – «Виринея», были известны и «Перегной» и «Правонарушители». Держалась Сейфуллина хоть и просто, но явно «знала себе цену».

Стали пить чай. В разговоре я спросил ее, где она живет? Она отвечала: «Во дворце». Надо было бы сказать: «В Доме ученых» (он был во дворце). Помню, я (вполне искренне) похвалил «Виринею», сказав, что очень хорош у нее народный русский язык. Она залилась заразительным смехом: «Ах, этот мой народный язык! Вот и вы хвалите! А знаете, какой конфуз вышел с Александром Веронским?» – «Нет». – «Ну, я расскажу, он написал обо мне хвалебный отзыв, особенно хваля мой русский народный язык. И как образцы этого народного языка привел, конечно, цитаты. А в цитатах были чудовищные, просто нелепые опечатки, которых в книге почему-то было совершенно несуразное количество, подчас просто диких! Так вот он и выписал именно их – примерами «прекрасного» языка! Я потом его так стыдила!» Рассказывая, Сейфуллина заразительно, хорошо смеялась (от души), как смеются хорошие люди. Смеялся и я.

После этой встречи мы виделись с Сейфуллиной много раз. Как-то попросила она съездить с ней в Полицайпрезидиум, ездили кое-куда и в магазины. В своих очерках о заграничной поездке Л. Н. меня даже увековечила, упомянув, что

ездила в Полицайпрезидиум с «товарищем Гулем». Меня же характеризовала как «тихого и воспитанного». Ну, с «воспитанным» я согласен, но «тихости» я немного удивился. Впрочем, я, конечно, не «громок». Я не Маяковский. Она права.

Думаю, что за наши встречи Л. Н. почувствовала, что имеет дело с «порядочным человеком». Вероятно, поэтому, както при мне получив письмо от своего мужа, критика Валериана Правдухина, заговорила о том, как оба они беспокоятся сейчас о судьбе близкого им человека – оппозиционера Слепкова. В противоположность «аполитичности» Серапионов, которых в Берлине я узнал позднее, Сейфуллина «аполитичной» не была, она была «красного цвета», «с убежденьями». Где-то я читал, что в начале революции (с 1917 по 1919 год) Л. Н. была эсеркой. Это ей шло. На ней не было «марксистского штампа», скорее эдакая народническая горячность. Чувствовалась человечность и свободомыслие. За Слепкова волновалась именно «по-человечески». Этого Слепкова, так же как и других «бухаринцев», Сталин «шлепнул». И не только его: очередь дошла и до Валериана Правдухина, который отдал Богу душу в 1939 году в какой-то тюрьме при «невыясненных обстоятельствах». Расстреляли попросту. Сейфуллину же, вероятно, спасла ее «литературная известность».

Как иллюстрацию ее резкости и прямоты приведу воспоминание об одном разговоре. Как-то за чаем, в том же пансионе, разговорились о «путях» советской литературы. Мало зная Сейфуллину, я все же – очень мягко (ибо я «тихий и воспитанный») – хотел высказать свою мысль, что все-таки, несмотря на таланты многих, подлинной, *настоящей литературы* в советской литературе маловато. Сейфуллина слушала меня с недовольным, насупленным лицом, и это заставляло меня в моих формулировках быть еще мягче. Но вдруг она не выдержала и раздраженно перебила: «Так что же вы думаете,

что мы не понимаем, что мы только навоз для какой-то будущей литературы? (так и сказала «навоз». – *Р. Г.*) Что же вы думаете, мы этого не понимаем?» Признаюсь, я был поражен и резкостью, и определенностью ее фразы. И увидел воочию, что живущая «там» Сейфуллина ощущает это гораздо острее и, конечно, больнее, чем люди, живущие вдали.

Помню еще один интересный вечер с Сейфуллиной. К ней должен был прийти известный немецкий художник Жорж Гросс. Она по телефону попросила меня прийти переводчиком между ними. Гросса я встречал раньше. Это был исключительно талантливый, открытый, своеобразный, интереснейший человек. Не знаю, возможно, что формально он был даже членом немецкой компартии. Но был человеком вполне духовно свободным. Прославился Жорж Гросс (не только в Германии) своими знаменитыми зарисовками «прусских юнкеров». Гросс действительно был первоклассный, острый рисовальщик. Но вечер с Гроссом для Сейфуллиной, по-моему, был неприятен. Как я говорил, Сейфуллина была смелый и открытый человек, но расспросы Гросса о жизни в СССР были чересчур едки. Его интересовала политика (и практика) власти в отношении крестьянства. И он стал ей сразу же задавать совершенно беспощадные вопросы: как, мол, она относится к подавлению крестьянских восстаний, почему они происходили и какова политика власти в этом смысле сейчас? Я, как переводчик, вопросов не смягчал, а иногда и сам присоединялся к вопросам Гросса. И тут я увидел впервые, как Сейфуллина «заметалась». Она была прямой человек, и отрицать то, что в душе (я так думаю) сама не одобряла, ей было трудно. Но открыто подтверждать и соглашаться с Гроссом, с известным иностранцем, который мог передать ее слова и другим иностранцем, – было для нее тоже немыслимо. И вскоре Гросс (по-моему) понял, что Сейфуллина «в капкане», что она не может правдиво отвечать на

вопросы, и тактично прекратил эту тему, перейдя на что-то незначительное. А вскоре и ушел.

Как-то я спросил Сейфуллину, что она сейчас пишет? Ответила: «Ничего. Я же ведь татарка и, как все восточные люди, ленива. По нашей поговорке: «сидеть лучше, чем ходить, лежать лучше, чем сидеть»«. Через несколько лет Сейфуллиной пришлось «почти замолчать», а потом и «совсем замолчать». В 30-е годы в московских литературных кругах на нее появилась даже некая эпиграмма:

Люди иные и время иное,
Лишь Виринея на Перегное.

Преждевременный склероз всей так называемой «классической советской» литературы – явление давно очевидное. Она – «неперечитываемa»: все эти «Цементы», «Братья», «Хлеба», «Как закалялась сталь», «Разгромы», «Русские леса», «Железные потоки» и прочее. Это же постигло и «Виринею». В своем предсказании судьбы советской литературы как «навоза» Сейфуллина была права. Лидия Николаевна Сейфуллина умерла в Москве в 1954 году, шестидесяти пяти лет от роду. В нормальное (не революционное) время, думаю, она могла стать интересным писателем.

Николай Никитин

Серапион Николай Никитин приехал в Берлин, как и Федин, – в 1928 году. Отметим в скобках: внешне они были друзья, Серапионы, но друг друга здорово недолюбливали. Никитин, по-моему, завидовал большему литературному успеху Федина, большей известности, большему числу изданных книг. За обедами, выпивками, ужинами с Никитиным мы быстро сошлись, перейдя на «ты». Я возил их (Федина, Никитина, Груздева) по Берлину, показывал всякие

достопримечательности – от Бранденбургских ворот, картинной галереи (Кайзер Фридрих музеум). Королевского замка (Шлосс) до пролетарского ночного, похожего на громадный сарай, грязного кабака возле Алексэндерплац – «Цум гутен хаппен» («К хорошему кусочку»), где под гармошку, скрипку, две трубы и дребезжащий рояль толпой толкся, ел, выпивал всякий уличный сброд проституток, карманников, бездельников, любопытных, «изучающих нравы» (вроде нас).

Что сказать о Никитине? Был он, по-моему, несомненно талантлив. В «Литературном приложении» к «Накануне» в свое время я дал статью о его прозе, хваля. Но талантливость Никитина (как многих литераторов) была чисто техническая, он был литератор-техник: умел «делать прозу», подчас очень здорово (под Пильняка, под Замятина). Но у тех была *своя тема.* А у Никитина темы были чужие, напрокат, *своей темы* у него не было и быть не могло, ибо человек он был душевно пустоватый.

Помню, пришел я к ним в пансион (с ним приехала и его жена Ренэ) и налетел на неприятную сцену. Колька – просто в бешенстве – орал на Ренэ, что она не так выстирала его носки, что она их «испортила» и прочее. Крики его были столь неприятны, что я даже как-то «элегантно» вмешался, чтобы утихомирить: «Ну, носки и носки, купишь новые, да и чем и как можно испортить носки?» Но Никитин был эдакий «бонвиван», любил модную одежду, любил весело, хорошо пожить, вообще был за философию «легкой и изящной» жизни по Алексею Толстому, но до Толстого Никитину было, конечно, не дотянуться. Толстой мог быть хамом, но и настоящий барин в нем жил.

В «Цум гутен хаппен» оркестр какофонично играл всякие шлягеры. Но вдруг заиграл «Интернационал». Толпа как гудела, так и гудела. А сидевший рядом со мной Илья Груздев сказал: «Я чуть-чуть по привычке не встал. Ведь у нас, где бы

ни заиграли «Интернационал», все должны встать и стоять, пока гимн не кончат». «Здесь можем и посидеть, слава Богу», – пробормотал Никитин.

Недолюбливая Никитина, Федин как-то рассказал о Колькиной литературной завистливости. К какому-то своему роману иль повести (не помню уж) Федин почему-то написал «предисловие», чтоб, так сказать, «предпослать его опусу». Но сам чувствовал, что предисловие не удалось, и сомневался: печатать – не печатать? Решил собрать всех Серапионов и прочесть его, прося откровенно высказаться. Все как один стали отсоветовать печатать, находя предисловие ненужным и неудачным. И только Колька горячо выступил за обязательное напечатание. «Я видел, – говорил Федин, – что Колька именно потому и убеждает меня дать предисловие, что оно явно неудачно и было бы моим литературным минусом».

У меня были интересные разговоры с Фединым, с Груздевым, с Сейфуллиной, с Тыняновым, но с Никитиным никакого серьезного разговора не помню. Все – анекдотцы, всяческое литературное остроумие, пустячки. Повторяю, Никитин был человек «без задумчивости», все – по поверхности. Таковы были и его книги – «Камни», «Полет». Помню, как в том же «Цум гутен хаппен» Илья Груздев, когда мы были в подпитии, смеясь, говорил, как Колька делает свои рассказы. Сначала пишет рассказ как рассказ, потом берет все четыре тома словаря Даля и начинает шпиговать текст всякими заковыристыми, мудреными, полупонятными народными словами и речениями. «И вот, – смеялся Груздев, – получается *роскошный* русский народный язык!» Думаю, что примерно так оно и было.

И там же Федин рассказал, как однажды на какой-то литературной пирушке подрались Никитин и Есенин. Из-за чего уж не помню, из-за какой-то литературной ерунды, да еще с пьяных глаз. «В драке оба упали на пол, катались по

полу, как бешеные,– говорил Федин,– и Есенин укусил Кольку в руку, в бицепс, да так, что не только руку поранил, а пиджак прогрыз... вот это зубки!., крепкие!., мужицкие!..» – «Ну, а потом помирились?» – «Через какое-то время помирились... только у Кольки долго рука болела...» Никитин, улыбаясь, все это подтвердил.

Помню, я подумал: мыслимо ли было бы себе представить, скажем, Вячеслава Иванова и Гершензона дерущимися и катающимися по полу, прогрызая друг другу пиджаки? О снижении культуры (с некой странной бравадой!) писал тогда где-то Пильняк, что теперешние, мол, советские писатели – «пишут лаптем». Это как у Василия Каменского: «ядреный лапоть пошел шататься по городам!». В зарубежьи Марк Алданов в «Ульмской ночи» говорит: «советская литература элементарна до отвращения». Элементарность – это и был «лапоть».

Бездуховность, неглубокость, стремление «вылезти вперед», выпендриться и обязательно получать «самый высший полистный гонорар» – сыграли с Колькой Никитиным (и не с ним одним) зловещую шутку. В 30-х годах он раньше других Серапионов ввалился в «генеральную линию» партии и даже получил за свою соцреалистическую «Северную Аврору» сталинскую премию. А когда в 1946 году секретарь ЦК А. А. Жданов выступил «перед партийным и писательским активом» с своим «знаменитым» разгромным докладом об идеологии в искусстве, громя и «будуарную поэзию барыньки» Ахматовой, и несчастного Зощенко за его «Обезьяну», – то из беспартийных писателей в прениях (для «поддакивания» докладчику) выпустили Кольку Никитина. Он долженствовал «изобличить» своего старого друга по Серапионам Михаила Зощенко.

Об этом падении Никитина кое-что есть в литературе. В «НЖ» (кн. 129) в статье «Расправа с Зощенко» Крамова писа-

ла: «Когда же на кафедре появился Николай Никитин, зал чуть не ахнул <...> Он стоял белый как стена и что-то мямлил <...> Ну а как откажешься, если тебя вызвали и «предложили» <...> Мне даже стало его жаль <...> Подлец, прошептал кто-то сзади».

Неверно. «Подлец» – это Эренбург, шлявшийся с чекистами по Испании в гражданскую войну, оправдывавший экивоками московские процессы. «Подлец» – это Толстой, воспевший Беломорканал и как член комиссии по расследованию убийства тысяч польских офицеров в Катыни подписавший протокол расследования, сваливший с коммунистов это чудовищное убийство на немцев. «Подлец» – это Лев Никулин, «историограф» героических мокрых чекистких дел. «Подлецов» было предостаточно. Но Колька, по-моему, не «подлец», он – несчастный брандахлыст. Любил элегантные носки, шелковые подштанники, английские штиблеты, костюмы от первоклассного портного, все это и было – верхом блаженства. За сие коммуно-гангстеры и «предложили» ему расплатиться. Лучше, чем у Крамовой, ждановское выступление Кольки описано в самиздатском сборнике «Память» (№ 2): «В прениях выступили немногие, в том числе и Николай Никитин, но из-за своего волнения неудачно: один раз перепутал имя и отчество ответственного докладчика – в зале раздался смешок, в другой раз сказал: «С этой *эстрады,* с которой великий Ленин провозгласил...» – слушатели зашумели, зашикали. Никитин покраснел, запутался и, оборвав себя какой-то короткой фразой о собственном состоянии, сконфуженно сошел с трибуны...»

Помню, в Берлине были мы званы на обед в один буржуазный, богатый дом: я с Олечкой, Груздев с женой (Татьяной), Никитин с Ренэ и Федин. Обед был чудом гостеприимства и кулинарии: и напитки, и закуски – ни в сказке сказать, ни пером описать. Но гвоздем обеда была все-таки какая-то необыкновенная рыба. Колька Никитин в компании всегда был

превосходен: весел, разговорчив, шутлив, находчив, остроумен. За столом все мужчины были уже на взводе – стоял веселый шум и смех. Подвыпивший Колька сидел рядом с Олечкой и то и дело повторял ей: «Ольга, ты потрясающая!» А когда подали эту сверхъестественную рыбу и мы стали ее есть, Колька, придя в полный гурманский восторг, вызвал общий смех и удовольствие, процитировав Хлестакова: «Люблю поесть! Ведь на то и живешь, чтоб срывать цветы удовольствия! Как называется эта рыба? Лабардан?.. Я доволен, я доволен: отличный лабзрдан-с!»

Весь обед Никитин был в ударе, был «душой общества». А когда мы из этого хлебосольного, гостеприимного дома вышли на ночной, освещенный Курфюрстендамм (эти люди жили на Курфюрстендямм), Колька в восторге орал: «О, счастливейшие черти! Как они живут! Вот это я понимаю! Да если б я так жил с этим лабарданом, да я бы никогда из Берлина никуда не уехал!» Это было, конечно, не всерьез. Ни у Кольки, ни у кого из Серапионов и мысли не было – остаться на Западе. Во-первых, все они были «вполне аполитичны» и вполне довольны своей советской нэповской жизнью. Кольткин вскрик-восторг только говорил о том, как он любит «легкую и изящную» жизнь. «Ходит птичка весело / По тропинке бедствий, / Не предвидя от сего / Никаких последствий». А кто их тогда предвидел, эти бедствия и последствия? Никто. Умер Николай Николаевич Никитин в Ленинграде в 1963 году, шестидесяти восьми лет от роду. В памяти моей этот жуир Колька оставил милое воспоминание.

Илья Груздев

Из всех Серапионов, которых я узнал в Берлине, Илья Груздев как человек был самый хороший. Именно – *хороший.* В Груздеве не было никакой «литераторской» позы, никакой фальши. Он был душевно чистый человек. Искренен, прост, с

некоторым юмором. Был Груздев, кажется, из состоятельной купеческой семьи. «Киндерштубе» во всяком случае в нем чувствовалась, В литературе он удобно выбрал охраняющую его от всяких бед тему – Максим Горький, став неким Эккерманом при Горьком. Правда, разговоры с ним Илья, кажется, не записывал (по крайней мере они не публиковались, по-моему), но «первым пролетарским писателем» Алексеем Максимовичем Илья занялся всерьез. Выпускал книги о Горьком для детей, для юношества, для «старшего возраста». Редактировал его переписку, составлял библиографию, следил за изданием его сочинений, одним словом: Горький был доволен Груздевым, а Груздев Горьким. Для Ильи это была и «броня» и материальная база, ибо в те годы о Горьком печаталось все и немедленно (и оплачивалось как надо).

Внешне Илья был полн, мешковат, в одежде без всякой никитинской претензии на моду, лицо румяное и очень русское. Легко смущался, краснел, И был мишенью постоянных острот и иронии Федина и Никитина, что меня коробило, и я как-то Федину сказал, что это вечное подтрунивание над Ильей, по-моему, просто свинство. «Да, нет же, Илья уж привык к этому и на нас не обижается», – отвечал Федин.

Помню, шли мы как-то с Ильей по Берлину. В газетном киоске он увидел «Руль» (ежедневная русская эмигрантская газета) и тут же его купил. «Неважная газета», – сказал я. Ответ Груздева меня поразил. «Пусть будет неважная, это не суть важно. Ты не представляешь, *как нам всем там важно*, что тут все-таки выходит свободная русская газета. Не представляешь, какая это *нам там поддержка*». Честно говоря, я тогда удивился этой «поддержке нам», но с годами понял, что Илья был, конечно, прав. «Вот как-то, – говорил Груздев, – один человек привез в Питер том «Современных записок», и все мы, Серапионы (и не только Серапионы), его перечитали. Там была статья Ст. Ивановича, и, представь себе, с этой ста-

тьей мы все, ну решительно все, были согласны, будто кто-то из нас ее написал».

Ст. Иванович (Степан Иванович Португейс) был крайне правым меньшевиком, близким к А. Н. Потресову, и был страстным ненавистником большевизма. К сожалению, я забыл, о какой его статье говорил тогда Груздев.

Помню разговор с Ильей о «Дневниках» А. Блока, над рукописями которых Груздев работал для их издания. «Нельзя полностью издать, ну никак нельзя, – говорил Груздев, – ты себе не представляешь, какой там густопсовый антисемитизм... Я был просто потрясен...»

Илье я был многим обязан. Это он протащил в издательстве «Советский писатель» в Питере, где он работал, две моих книги – «Жизнь на фукса» и «Белые по черному». Для этого он познакомил меня в Берлине с приехавшим тогда сюда писателем Лебеденке (автор «Тяжелого дивизиона»), который, по-моему, выполнял обязанности цензора в этом издательстве. Так мне показалось. Лебеденко был партийным, но был очень дружен со всеми Серапионами. Произвел он на меня хорошее впечатление – бывший офицер-артиллерист, кажется, капитан, человек «без штампа», живой, общительный, был он серьезно болен (что-то неладное с ногами).

Ни Федин, ни тем паче Никитин – по своему характеру – не стали бы протаскивать ни мою и ничью чужую книгу, ибо были заняты только «своими». Все, что могли сделать в издательстве – «поддержать словом» при обсуждении рукописи. А Илья дружески взял все на себя. И провел обе книги сквозь Сциллу и Харибду цензуры (с помощью Лебеденко, я думаю).

Правда, эти мои книги быстро разделили участь переизданного в 1923 году в Москве «Ледяного похода», то есть попали в «запрещенные фонды». Но все-таки кем-то где-то читались. Так, после Второй мировой войны, в 1946 году я получил из Мюнхена письмо писательницы Татьяны Фесен-

ко: «Я знаю вас давно и знаю, что ваша молодость была тоже полна всяческих испытаний. Еще студенткой, работая старшим библиотекарем литературного отдела крупной библиотеки, я разбирала так называемые «запрещенные фонды». Среди книг, ненадолго допущенных в Советском Союзе, а потом стоявших под семью замками, была и «Жизнь на фукса». Я открыла, начала читать и не могла оторваться...»

А в 1979 году героический человек, известный правозащитник Александр Гинзбург писал мне: «Надеюсь, жена сможет привезти давно ожидавший вас подарок – титульный лист от «Жизни на фукса», когда-то прочитанной мной во Владимирской тюрьме, – со всеми штампами этого заведения с года выхода книги. Видите – читают Вас зэки»

Я знаю, что в советских тюрьмах и концлагерях в библиотеках попадаются книги, на воли запрещенные. Оба этих письма были мне приятны, как всякое читательское признание. Но если «Белые по черному» меня не ранили, ибо карандаш цензора их пощадил, то по «Жизни на фукса» какой-то цензор прошелся-таки, поставив свои *акценты,* которых не было. Поэтому сей увраж я не люблю. У меня в архиве даже есть фотография 1927 года – я стою голый (в трусах) на пляже Северного моря, и моей рукой на обороте фотографии написано: «Роман Гуль купается в Северном море после выхода «Жизни на фукса». 1927».

Илья Груздев был чудесный друг. Когда я выпустил в «Петрополисе» в Берлине исторический роман об Азефе, Савинкове, о боевой организации партии эсеров, он стал настаивать, чтоб я прислал ему рукопись, что он проведет и этот роман. В это я никак не верил. Но Илья настаивал, и – чем черт не шутит – я послал, Илья меня извещал. Внутри издательства (первая инстанция!) роман «прошел» (думаю, все тот же либеральный Лебеденко!) и уже набран в гранках. Но дальше, увы, я оказался прав. Гранки пошли на прочтение к

старому большевику, каторжанину Феликсу Кону, тому, который при наступлении Тухачевского на Варшаву должен был с Дзержинским, Мархлевским и прочими стать членом польского коммунистического правительства. Это – когда Ленин «прощупывал штыком панскую Польшу». И Феликс Кон наложил резолюцию: «нам не нужны пособия для террористов». Роман был погребен. Полагаю Кон по-своему, по-большевицки, был прав. Но у этой попытки Ильи оказалось некое послесловие.

В 1953 году Вера Александровна Шварц (Александрова), редактор издательства имени Чехова в Нью-Йорке, переслала мне письмо из Лондона от (забыл фамилию) что-то вроде Которовского, Качуровского. Письмо хранится в моем архиве в Йельском университете, но добраться до него мне сейчас сложно. Этот неизвестный мне человек, эмигрант второй эмиграции, в своем письме писал мне, что когда чекисты производили обыск у писательницы Елены Тагер, то нашли эти злосчастные гранки моего романа и «пришили» их ей как «хранение контрреволюционной литературы». Разумеется, если б у Елены Тагер этих гранок и не было, ее и без того бы упекли ТУДА КУДА НАДО: в концлагерь иль в ссылку. По советской юстиции, был бы человек, а «обвинение» найдется. Таков был грустный эпилог дружеской попытки Ильи Груздева.

В 1928 году, когда Груздев с женой уезжали из Берлина, а Федин оставался еще, из СССР шли плохие вести об усилении репрессий, о недостатке продовольствия. Мы просили Илью послать мне сразу же открытку, и если сообщения об ухудшении общего положения в СССР верны, то в открытке должна быть фраза: «И дым отечества нам сладок и приятен». Открытка от Ильи пришла. И в ней было: «И дым отечества нам *оченно* приятен». Мы поняли, что положение хуже, чем доходившие о нем слухи.

Не знаю, когда Груздев умер, где и от чего. Но храню о нем теплую дружескую память.

Михаил Слонимский

С Михаилом Слонимским в Берлине я встречался, по-моему, в 1927 году. Он приехал с молоденькой женой Дусей. Довольно высокий, худой, во внешности – ничего примечательного. И человек и писатель был он, по-моему, малоинтересный. А в литературе держался потому, что вырос в «литературной семье». Отец – постоянный сотрудник «Вестника Европы», а дядя с материнской стороны С. А. Венгеров – известный историк литературы.

Я опубликовал критические статьи о многих Серапионах (Федин, Никитин, Всев. Иванов, Пильняк, Зощенко), но о Слонимском сказать что-нибудь мне было трудно, проза его была бесцветна. И я воздержался.

Из разговоров с ним мало что запомнилось, хотя общались мы в Берлине довольно часто. Вот один разговор с ним я запомнил потому, что рассказ Слонимского показался мне просто невероятным. Слонимский как-то рассказал мне, что лет до двенадцати он не знал, что он еврей. «Родители нас воспитывали глупо в высшей степени, с детства мы слышали о себе какие-то басни, что мы русские и какого-то хорошего рода, чуть ли не Рюриковичи (буквальные слова Слонимского. – *Р. Г.*). Мы в это верили. И когда в гимназии, например, в младших классах ученики чем-нибудь обижали гимназистов-евреев, я всегда за них вступался, и мне было приятно сознание, что я заступаюсь за слабых, подвергающихся насмешкам иль обидам. Но вот, когда мне было лет двенадцать, приехала к нам тетка из провинции. Я ее никогда не видел, тетка эта по типу была ярко выраженная еврейка и весьма резкая на язык. И как-то, когда я при ней что-то сказал о нашей «русскости», она вдруг расхохоталась и сообщила мне, что мы настоящие евреи, только крещеные. Для меня это был самый страшный шок в моей жизни (буквальные слова Слонимского, – *Р. Г.*)».

– Но почему? Я этого как-то не понимаю, – удивился я.

– Не понимаете потому, что вы не еврей. И никогда не поймете. А я вдруг понял, что могу стать таким же «угнетаемым» мальчиком-евреем, как те, за которых я раньше в гимназии заступался. Тогда я чувствовал себя сильнее их, ну, как бы это сказать, ну, привилегированней их, что ли, потому и мог заступаться. И вдруг эта привилегированность моя в одну минуту рухнула. Для меня это был шок на всю жизнь, – повторил Слонимский.

Не помню уж как, но в связи с этой темой о еврействе разговор перешел на Мережковских, Слонимский их хорошо знал, они были знакомы домами, и он бывал у них.

– А вы знаете, Зинаида Николаевна Гиппиус ведь всегда была большой любительницей задавать людям всякие едкие и каверзные вопросы. Вот она и меня как-то спрашивает «Скажите, Миша, вот вы крещеный еврей, русский человек, но вот когда вы узнаете о еврейском погроме, на какой стороне вы себя чувствуете – на стороне громящих или на стороне громимых?» Я отвечаю ей вопросом: «А вы, Зинаида Николаевна, на какой стороне себя чувствуете? – Ну, я-то, естественно, на стороне громящих. Но меня интересует, на какой стороне чувствуете себя вы, крещеный еврей, от еврейства совершенно оторвавшийся?»

Обоих Мережковских Слонимский недолюбливал. И рассказал как-то про Дмитрия Сергеевича довольно острый эпизод. Когда генерал Юденич с Северо-Западной армией подступил к Петрограду, в городе большинство людей были уверены, что он возьмет Петроград, и этому радовались как началу конца большевизма. Мережковские радовались явно.

– И вот, – рассказывал Сломинский, – иду я в эти дни по Невскому, вижу, бежит-спешит Дмитрий Сергеевич, мы с ним столкнулись. – Куда вы, Дмитрий Сергеевич, так спешите? – спрашиваю. – Да в Госиздат, – говорит, – гонорар полу-

чить, а то ведь, как Юденич вступит, все пропадет. – и побежал. (Я подумал: «Братья писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое». – *Р. Г.*)

Когда компартия пошла на уничтожение попутчества (от «попутчик». – *Р. Г.*) Слонимский, как и Никитин, забыв «серапионство», быстро взяли курс на «генеральную линию». В 1932 году лечившийся за границей Федин писал мне, что к нему неожиданно приехал Мишка и приезд этот «неспроста». По письму это «неспроста» я не понял. А при встрече с Фединым в Берлине он сказал, что уверен, что Мишка приезжал, конечно, как «порученец» – «узнать, не произошла ли со мной какая-нибудь «эволюция», которая могла бы повести к «невозвращенству». Разумеется, в лоб Мишка об этом меня не спрашивал, а так – очень издалека, вокруг да около. Но я сразу учуял, в чем дело, и столь же «тонко» успокоил его и через него «власть предержащую»«.

Выполняя «генеральную линию» партии в литературе, Слонимский брал темой «врастание интеллигенции в коммунизм», но все это было за уши притянуто, надуманно, натянуто, без проблеска дарования. Да и тема была непосильная, ибо интеллигенция «врастала» в коммунизм главным образом посредством пуль в затылок.

Ю. Н. Тынянов

Не помню, когда приехал в Берлин Юрий Тынянов. Наверное, в 1928 году. Но во время его пребывания в Берлине Серапионов, помню, не было. Вероятно, приехали позже.

С Юрием Николаевичем Тыняновым я встречался в Берлине часто. Тынянов был не схож ни с кем из Серапионов. Это был человек гораздо более тонкий, гораздо более интеллектуал, подлинный ученый. Очень мягкий, хорошо воспитанный, приятный в общении и умом и тактом. Он, конечно,

не создан был для того, чтобы сойтись с ним вот так – по-русски – «душа нараспашку!». Но общение с ним доставляло удовольствие.

Я любил его «Кюхлю» (повесть о Кюхельбекере). И вспоминаю, когда ее читал, вдруг в каком-то месте почувствовал, что у меня на глаза навертываются слезы. Полагаю, для писателя такое читательское переживание – самый ценный отзыв.

Встретились мы с Тыняновым в том же пансионе, где останавливались Сейфуллина, Федин, Слонимский. Он попросил помочь ему с покупками. Я помог. Ходить Тынянову не то что было трудно, но все-таки он ходил с палкой и осторожно, у него была страшная «Бюргерова болезнь».

В разговоре о современной литературе я сказал ему искренне, что пережил, читая «Кюхлю». Он поблагодарил, но скромно добавил: «А знаете, Р. Б., я ведь сначала писал «Кюхлю» как повесть для детей». – «Но вышло не для детей, и вышло прекрасно». – «Да, кажется, удалось. А «Смерть Вазир-Мухтара» читали?» Я честно ответил, что эта вещь меня не увлекла. И Тынянов тут же вышел из положения, сказав: «Знаю, знаю, это ведь экспериментальный роман, он так и был задуман». После нескольких встреч, когда дружеские отношения установились, я пригласил его как-то к нам обедать.

Жили мы тогда в довольно большой квартире в Шарлотенбурге, Ам Лютцов, 13. Нас было много: мать, Олечка, я, брат Сергей, его жена и маленький племянник Миша. Сначала мы с Тыняновым сидели в нашей большой комнате с окнами, заслоненными громадными, ветвистыми деревьями. В комнату вбежал Миша, но, увидав незнакомого, застеснялся и бросился, уткнувшись в колени Олечки.

– Что ж ты, маленький, испугался, поди-ка ко мне, киска, – мягко проговорил Тынянов, протягивая к Мише руки. Я понял, что Ю. Н. любит детей.

Потом перешли в столовую – обедать. Пообедали хорошо, угостили гостя как надо. А после обеда я пошел Тынянова провожать. И когда мы вышли из нашей двери на лестницу, Тынянов с улыбкой сказал: «Вот если б мы так пообедали у нас в Ленинграде, то на другой день на двери, может быть, появилась бы надпись: «Вчера в этом доме ели мясо!». Я ахнул. «Да, да, не удивляйтесь, мы живем трудно». Подходя уже к станции подземной дороги, я спросил Ю. Н., что он думает, как могла бы сложиться моя судьба, если б я вернулся в Россию? От неожиданности вопроса Тынянов остановился и проговорил очень серьезно: «Как? Могу вам сказать. Прежде всего, у вас произошел бы психологический шок такой силы, что не знаю, оправились ли бы вы от него. Ведь, живя в Германии, вы совершенно не представляете тяжести нашей жизни. Вы серьезно думаете о возвращении, Р. Б.?» – «Нет, не думаю, а спросил только вас так, примериваясь...» – «Бросьте, забудьте навсегда все ваши «примеривания». Оставайтесь здесь, где живете человеческой жизнью. У нас душевно жить очень, очень трудно. Из этого прекрасного далека вы представить себе этого не можете. Но вы поймете это, как только переедете границу...»

Тут я хочу сказать о своем «примеривании». Я верил в нэп, как и другие сменовеховцы и евразийцы, верил, что СССР ходом истории будет вынужден повернуть к нормальной, национальной, правовой государственности. Но для себя – в глубине глубин – я никогда не только не хотел вернуться в то, что называлось СССР, но просто психологически и *не мог* бы этого предпринять. И вот почему. Когда в декабре 1918 года я лежал, пленный, на полу Педагогического музея в Киеве, в меня внезапно (помимо воли) вошло (будто прорезало все существо) чувство небывалого отвращения ко *всей этой всероссийской революции*, отвращение и ненависть ко всей России, потонувшей в этой *бессмысленной*, кровавой,

нечеловеческой мерзости. И тогда я не разумом, а душой и сердцем понял с какой-то сверхъестественной остротой, что *в такой России у меня места нет и быть не может.* Это чувство было настолько сильно (как при смерти близкого тебе человека), что никакие годы выветрить его не могли. И до сих пор оно живет где-то на душевном дне. Оно-то и дало название этим воспоминаниям – «Я унес Россию»: я унес *свою,* настоящую Россию с собой, а в поддельной жить не хочу.

Но желая узнать мнение советских людей, тех, кто со мной был дружен и честен, я почти всем советским писателям в Берлине задавал вопрос: как сложилась бы, по их мнению, моя судьба, если б я возвратился в Советский Союз? И НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ПОСОВЕТОВАЛ МНЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ. При таком «примеривании» Федин принимал всегда некий шутовской тон, говоря: «Ну, если б ты, Роман, вернулся, скажем, к нам, в Ленинград, ну, мы б устроили тебе квартиру. Сейчас у ленинградских писателей мода обставлять квартиры старинной мебелью красного дерева. Ну, получил бы ты какие-нибудь авансы, мы бы это тебе устроили. Ну, обставился бы и ты, А вот дальше? Дальше, честное слово, не знаю, что бы ты делал у нас? Что бы стал там писать? Не вижу как-то, просто не вижу...»

Колька Никитин на мое «примеривание» ответил грубовато кратко: «А на хрена тебе отсюда уезжать? Живешь – дай Бог всякому!» Самый категорический ответ дал Илья Груздев, Илья на меня уставился в полном недоумении: «Да ты что, Роман, в уме? Ты же не представляешь и сотой доли нашей жизни. Ну, материально живем, не жалуемся, но в смысле общего безвоздушия, в смысле свободы и независимости, к которым ты здесь привык?.. Брось даже думать об этом!» Столь же определенен был и ответ Ю. Н. Тынянова.

Из Берлина Юрий Николаевич Тынянов на время поехал в Прагу на свидание с Романом Якобсоном. Оба – формали-

сты. Не знаю, встречались ли в России: Якобсон – москвич, Тынянов – петербуржец. Думаю, тогда Роман Якобсон еще служил в Праге на советской службе, еще не перешел на положение «невозвращенца». По возвращении в Берлин Тынянов о Якобсоне отзывался дифирамбически: и умница, и эрудит, и талант, и прочее. Говорил, что эта встреча ему много дала.

В последний раз мы с Тыняновым встретились на обеде в той же буржуазной, богатой семье, где с Никитиным, Фединым, Груздевым ели лабардан. После обеда, в общем разговоре, Тынянов упомянул, что у них в Ленинграде в литературной компании иногда возникает такая игра. Один говорит какие-нибудь две стихотворные строки или строфу, а другой узнает, какого это поэта. Тынянов сказал, что в этой игре он часто побивал рекорды. Конечно, хозяева дома тут же захотели устроить игру. И Тынянов действительно отгадывал поэтов блистательно, какие бы ему ни давали строки и строфы. Только дважды сплоховал. Первый раз я процитировал Тынянову:

Какой прибой растет в угрюмом сердце,
Какая радость и тоска,
Когда чужую руку хоть на миг удержит
Моя горячая рука...

Тынянов задумался, развел слегка руками и сказал:

– Не могу вспомнить, по-моему, это что-то из Гребенки.

– Нет, Ю. Н., это Эренбург, – ответил я.

Второй промах Ю. Н. меня немного удивил. Присутствовавшая литературная дама сказала Тынянову:

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой…

Не успела она докончить строфу, как Тынянов перебил:

– Ну, это, конечно, Кузмин...

– Увы, Юрий Николаевич, это Александр Сергеевич Пушкин, – ответила дама.

– Ах, да, да, – смутившись, даже сконфузившись, поправился Тынянов, – ну конечно же, Пушкин – «Подражание арабскому».

Но это были только два гафа. Во многих десятках стихотворений Ю. Н. блеснул знанием русской поэзии.

По возвращении в СССР Ю. Н. Тынянов попал в разгром формалистов, ОПОЯЗа. Кое-кто из формалистов (например В. Шкловский) превратились в марксистов. Молодежь (студентов) разогнали по другим факультетам. О разгроме ОПОЯЗа Ю. Тынянов сложил шуточное послание Пушкину (см. статью Романа Якобсона «Ю. Тынянов в Праге». Selected Wrightings. The Hague, 1979):

Был у вас
Арзамас,
Был у нас
ОПОЯЗ
И литература.
Есть «заказ»
            Касс,
Есть «указ»
            Масс,
Есть у нас
Младший класс
И макулатура.
Там и тут
Институт
И Гублит,
И Главлит,

И отдел культурный,
Но Главлит
          Бдит
И агит
          Сбит;
Это ж все быт,
Быт литературный.

Через много, много лет советские эмигранты (уже третьей волны) рассказали мне о страшном конце Тынянова. Я не хотел этому верить, просто не мог себе этого представить: сказали, что Тынянов «спился» (это при Бюргеровой-то болезни, при тыняновской трезвенности и скромности). Но в «царстве коммунизма» все может произойти. Автор «Кюхли», «Подпоручика Киже», «Архаистов и новаторов» и других прекрасных работ, Юрий Николаевич Тынянов умер в Москве в 1943 году страшной смертью, сорока девяти лет от роду.

Берлин уже не столица русского Зарубежья

На судьбе демократической Веймарской республики Германии еще раз подтвердилась правда шекспировской фразы; «История – это страшная сказка, рассказанная дураком». Помню, в каких-то мемуарах я читал, что лидер немецких социал-демократов Фридрих Эберт, бывший рабочий, седельщик, человек здравого смысла, после поражения своей страны предупреждал Антанту (Францию и Англию) от свержения германской монархии. Этот бывший рабочий считал, что немецкому народу *нужна* традиционная форма правления – монархия. Недаром после краткой и неудачной революции 1848 года, которую больше делали интеллигенты, а не народ, берлинские портные дефилировали перед королевским дворцом в Берлине с плакатами: «Unter deinen Flügeln kann ich ruhig bügeln». В 1918 году новым *конститу-*

ционным монархом мог стать кто-то из молодых Гогенцоллернов. При социал-демократическом министерстве и большинстве социал-демократов в рейхстаге это было бы, вероятно, не плохо.

Но Антанта не вняла предупреждению Эберта. И он был избран первым президентом Германской республики. Второй президент, фельдмаршал фон Гинденбург, в своей речи о скончавшемся Эберте говорил как о благороднейшем патриоте и крупном государственном деятеле, оказавшем Германии неисчислимые услуги.

За почти пятнадцать лет жизни в Германии я узнал немцев[37] и думаю, что предупреждение Эберта было мудро.

---

[37] Разумеется, я говорю о немцах 20-х годов. Немцев 80-х годов я не знаю. М.6 немецкий национальный характер изменился за пережитые трагические десятилетия гитлеризма, войны, оккупации. Ведь традиционный русский характер (дореволюционный) после 60 лет ленинизма переделался до неузнаваемости. Конечно, Андрей Дмитриевич Сахаров и сотни других «диссидентов» не в счет. Но homo soveticus существует, и русскости (ее положительных черт) в нем и не ночевало. Взять, к примеру, проф. А. Зиновьева. В интервью газете «Гералд трибюн» он сообщает, что предпочитает Солженицыну Брежнева (убийцу бессчетного числа людей!). Или его же заявление газете «Матэн», что дай русским хоть все свободы-рассвободы, все равно будут «голосовать за коммунистов». В опровержение этой советской басни не буду приводить исторические факты, что в 1918 году, несмотря на *большевицкую диктатуру*, при выборах а Учредительное собрание большевики собрали ничтожное меньшинство голосов, не буду говорить о вооруженном сопротивлении коммунистам – военных, интеллигенции, крестьян, рабочих, – ибо скажут: эк куда хватил! стари на какая! Приведу из недалекого: как во время Второй мировой войны миллионы русских, украинцев, кавказцев «проголосовали ногами – *против коммунистов*, сдаваясь в плен иль с опасностью для жизни уходя на Запад, куда глаза глядят.

Откуда же «произрастают» все эти нелепые и не соответствующие действительности заявления ибанского профессора логики А. Зиноньева? Они «произрастают» оттого, что он неподдельный homo soveticus и мыслит по «гомосоветски». И Зиновьев не один. Ибанский поэт Иосиф Бродский дал

Немцы – народ прирожденный дисциплине, иерархии, организованности, труду. В них нет стихии российского окаянства. К бессмысленному, анархо-нигилистическому взрыву – «все поехало с основ» (который погубил Россию 1917 года, ибо именно его оседлал Ленин для захвата власти, потакая с ума сошедшему «от свободы» народу) – немцы, как народ, *не расположены.* Этих чувств, этой тяги к «безграничной свободе» в немцах нет. «Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein», – полагал Гете. Недаром Бакунин в «Исповеди» Николаю I писал из Шлиссельбурге кой крепости, как под конец жизни в Германии он *возненавидел* немцев: «Немцы мне вдруг опротивели до такой степени, что я ни с одним не мог говорить равнодушно, не мог слышать немецкого языка и немецкого голо-

---

еще более интересное «интервью» итальянской газете «Република». Отрицая (для себя) всякую оппозицию коммунизму, этот господин называет себя: «я – непослушный раб». По его слезливым письмам «дорогому Леониду Ильичу» (Брежневу) в его «непослушности» приходиться усомниться. Но что он «раб», это с подлинным верно. Вот что о жизни в СССР рассказывает итальянцам этот *советский раб.* «Жизнь абсолютно нормальная <…> в 1972 году работники КГБ поставили меня в известность, что я должен уехать. Вот так я и уехал. Ничего особенного». (Беру сведения об этом «интервью» из статьи Е. Вагина «Римские письма». НРС. сент. 1980) По Бродскому, качественно, оказывается, нет г. советском концлагере или в нью-йоркском Сентрал Парке. Это, оказывается, «почти одно и то же». Но почему же из СССР за последние годы бежали десятки тысяч людей, я десяткам тысяч убежать не дают, не пускают. Почему с Кубы прибежали сто тысяч человек? Непонятно. Ведь, по Бродскому, «нью-йоркский «Сентрал Парк» это и есть советский концлагерь, ну, не совсем, правда, но «почти». Но «почти», как и «чуть-чуть», в анекдоте не считаются. Почему же Бродский рассказывает такие басни? Да потому же по самому: он (made in USSR!) неподдельный homo soveticus! Это и есть переделка человека ленинизмом в homo soveticus! Если человек не знает, что такое правда, он духовно вывихнут. С homo soveticus'ами всякие дискуссии» нелепы, ибо, как говорил любивший свободу блестящий испанец Сальвадор де Мадарьяга: «с граммофоном не спорят». Я думаю, что у «граммофонов» – страх перед своей собственной свободой.

са». Бакунин писал несомненно искренне. Немцы (сперва германцы, потом австрийцы) и выдали его к черту – русскому царю, чтоб отвязаться от этого скифа, предлагавшего выставить «Сикстинскую Мадонну и прочие знаменитости» на дрезденских баррикадах. Не выставили.

Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Курт Эйснер, Лео Йогихес, Евгений Левинэ и другие интернационалисты, в 1919 году толкавшие немецкую революцию на «советское углубление», успеха не имели и свои жизни кончили в Германии драматически.

Но история послевоенной Западной Европы 20-х годов стала рассказываться уж не только «дураком», но и «дураком» алчным и слепым. Версальские победители больше склонялись к формуле князя Бисмарка: «Победитель оставляет побежденному только глаза, чтобы плакать». Вместо того чтобы поддержать молодую немецкую демократию, они рвали с нее все, что она могла им дать и что ей было давать уж невмоготу: «контрибуции», «репарации». В 1923 году Франция даже заняла своими цветными войсками Саар и Рур. А ровно через десять лет в Германии к власти пришел Гитлер. Шекспир оказался опять прав. А если б победитель был мудр, как МакАртур иль Винстон Черчилль, говоривший, что «на другой день после победы победитель должен великодушно протянуть руку побежденному», кто знает, может быть, мир и избежал бы Гитлера с ужасами его войны. Но где там!

Экономическая катастрофа Германии 20-х годов была фантастической. У одного моего друга случайно сохранились официальные банковские справки. Приведу хотя бы три. 24 августа 1922 года за один американский доллар в Германии платили 1972 марки, а в 1923 году один доллар в Германии стоил 150 *миллионов* марок, за фунт же стерлингов в 1923 платили от 32 до 50 *биллионов* немецких марок. Я не опи-

сался – *биллионов.* В 1924 году валютная вакханалия в Германии кончилась: ввели «рентенмарк». Но страна от экономической катастрофы не излечилась.

Эта катастрофа сделала то, что Берлин под конец 20-х годов перестал быть столицей русского Зарубежья. Из Берлина начался исход русской интеллигенции. Философы, писатели, политики, ученые, художники, музыканты, артисты уезжали в Париж, в Прагу, в Лондон, в Америку. Кому что удавалось. Бердяев, Вышеславцев, Шестов, Франк, Струве – в разное время – переехали в Париж, Профессора – Новгородцев, Кизеветтер, Гогель, Алексеев – в Прагу. Питирим Сорокин – в Америку. Политики – Керенский, Церетели, Мельгунов – в Париж. Виктор Чернов, Ек. Кускова, С. Прокопович, В. Мякотин – в Прагу. Писатели – Зайцев, Алданов, Ходасевич, Осоргин, Минский, Муратов, Адамович, Георгий Иванов, Саша Черный, Одоевцева, Оцуп, Шмелев, Ремизов – в Париж. Композиторы – Глазунов, Гречанинов – в Париж. Метнер – в Лондон, Музыканты – Вл. Горовиц, Г. Пятигорский, А. Китаин, С. Кусевицкий – в Америку. Цецилия Ганзен – в Лондон. Художники – Б. Григорьев, Ив. Пуни, Миллиоти, Терешкович, Челищев, Андреев, Любич, Меерсон – в Париж. Актеры – Гермзнова, Крыжановская, Хмара, Вырубов и другие – в Париж. Балетные – Романов, Смирнова, Обухов и другие – в Париж. Мне пришлось расстаться g семьей Станкевичей. Вл. Бенедиктович получил кафедру уголовного права в Ковенском университете, в Литве. Туда же переехал А. С. Ященко, получив кафедру международного права. Я не могу перечислить всех представителей русской зарубежной интеллигенции, кто куда уехал, да это и не нужно. Важно, что Берлин в конце 20-х годов – в смысле русскости – совершенно оскудел.

Из газет в Берлине осталась одна ежедневная – «Руль». Из журналов уцелел лишь «Социалистический вестник», ибо

был связан с немецкой с.-д. партией. Русские театры закрылись. Издательства, одно за другим, умерли. Остался только «Петрополис», выпускавший довольно много книг. Формально существовали еще два-три, но книг почти не выпускали. Общественные и научные организации одни прекратили свое существование, другие обеднели силами.

Столица русского Зарубежья перешла во Францию, в Париж. Но в четырех местах Западной Европы – в Чехословакии в Праге, в Латвии в Риге, в Эстонии в Ревеле и в Югославии в Белграде оставались еще русские культурные силы.

Некоторые читатели не любят перечней фамилий, организаций. Пусть зевнут на двух страницах. Мне эти перечни (даже самые краткие) нужны. Нужны как некие «декорации» той «России», которую «я унес». О Белграде перечней дать не могу. Но о Праге и Риге кое-что знаю.

Из политиков в Праге обосновались эсеры (разных оттенков, но Бог с ними, с оттенками): В. М. Чернов, В. И. Лебедев, Е. Е. Лазарев, Е. К. Брешко-Брешковская, В. Г. Архангельский, В. Я. Гуревич, Ф. С. Мансветов, С. П. Постников, М. Л. Слоним и другие. Они издавали сначала газету, а потом журнал того же названия – «Воля России». Были видные народные социалисты: А. В. Пешехонов, А. Ф. Изюмов. Энэсы издавали исторические сборники «На чужой стороне» (позже – «Голос минувшего») с участием С. Мельгунова, В. Мякотина, Т. Полнера и других. Были видные кадеты (тоже разных оттенков – правее, левее): Н. И. Астров, гр. С. В. Панина, В. Н. Челищев, П. И. Новгородцев, А. А. Кизеветтер, В. А. Харламов и другие. Была группа «Крестьянская Россия»: С. С. Маслов (во время войны, по занятии Праги Советами, схвачен СМЕРШем и погиб), А. А. Аргунов, В. Ф. Бутенко и другие. С. Маслов редактировал политически нужный журнал «Крестьянская Россия». С Масловым я встречался в Париже. Дельный был человек. Была группа «Общее дело»: И. В. Новицкий,

Л. Ф. Магеровский, В. Ф. Данченко. Были евразийцы во главе с профессором П. Н. Савицким, но о них я достаточно говорил.

Было много русских культурных организаций: «Русский юридический факультет» (под покровительством Карлова университета) – П. И. Новгородцев, Д. Д. Гримм, П. Б. Струве (переехал из Парижа), А. А. Кизеветтер, А. А. Вилков, К. И. Зайцев (позже – архимандрит Константин в монастыре в Джорданвилле, под Нью-Йорком), М. А. Циммерман, Косинский и другие. «Русский народный университет» – М. М. Новиков (последний ректор Московского университета), Д. Н. Вергун, преподавали и многие из уже упомянутых ученых. Издавались «записки» русских ученых в Праге. «Русское историческое общество» – А. А. Кизеветтер, Е. Ф. Шмурло, В. А. Мякотин, Г. В. Флоровский, Г. В. Вернадский, С. Г. Пушкарев, Е. Ф. Максимович, А. Н. Фатеев, Саханев и другие «Кондаковский институт» – Н. П. Кондаков, Г. В. Вернадский, А. П. Калитинский, Н. Е. Андреев и другие. «Экономический кабинет» – С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, профессор Байков. «Педагогическое бюро» – А. В. Жекулина, А. Л. Бем, В. В. Зеньковский. «Русский заграничный исторический архив» (под покровительством Чехословацокого Министерства иностранных дел, представитель – профессор Ян Славик) – заведующие отделами: А. Ф. Изюмов, С. П Постников, Л. Ф. Магеровский. «Союз писателей и журналистов» – Е. Н. Чириков, Вас. Ив. Немирович-Данченко, М. И. Цветаева, А. Аверченко, Б. Лазаревский, Д. Ратгауз, П. Потемкин, И. Д. Сургучев, А. Л. Бем, С. И. Варшавский, В. А. Розенберг, М. Л. Слоним и другие. Из начинавших тогда писателей выделились – С. А. Левицкий, Р. В. Плетнев, М. Д. Иванников, Вл. С. Варшавский, С. М. Рафальский. В содружестве «Скит поэтов» – Алла Головина, Вяч. Лебедев, Эмилия Чегринцева, Вл. Мансветов, А. Эйснер и другие. Существовало в Праге русское издательство «Пламя», основанное историком рус-

ской литературы профессором Евг. А. Ляцким и Ф. С. Мансветовым. В Праге работали известные русские философы – Н. О. Лосский, И. И. Лапшин, В. В. Зеньковский. Из церковных деятелей – архиепископ Сергий Пражский, славившийся исключительной скромностью жизни и добросердечием. При нем – архимандрит Исаакий (бывший белый офицер) и отец Мих. Васнецов (сын известного художника).

Русская Рига была, конечно, не чета русской Праге. Много провинциальнее. Но и тут билась жизнь русского Зарубежья. В Латвийском университете читали лекции профессора Косинский, Синайский, Попов, Круглевский. Профессор Арабажин вел частные русские университетские курсы. Выходила ежедневная газета «Сегодня» под редакцией М. С. Мильруда (издатель – Я. И. Брамс). В «Сегодня» печатались местные писатели и журналисты: Петр Пильский, Клопотовский (Лери), Ю. Галич, С. Р. Минцлов, из Парижа – М. Алданов, И. Бунин, Б. Зайцев, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Ив. Лукаш, Тэффи и другие. С. А. Белоцветов издавал иллюстрированный журнал «Перезвоны», литературным редактором которого (из Парижа) был Б. Зайцев. Из молодых писателей, русских прибалтийцев, вошли в зарубежную литературу: Леонид Зуров, Ирина Сабурова, поэты Игорь Чиннов, Юрий Иваск и историк Ник. Андреев. В Риге был театр русской драмы, где выступали местные актеры и гастролеры: Мих. Чехов, Рошина-Инсарова, Полевицкая, Жихарева. Жил в Риге знаменитый тенор Большого театра Дм. Смирнов, приезжал на гастроли Ф. И. Шаляпин. Русскую православную церковь в Латвии возглавлял выдающийся человек, архиепископ Иоанн (Поммер), часто выступавший с амвона против большевиков. Его зверски убили советские чекисты на загородной даче под Ригой. Да, забыл: выходила газета «Слово» под редакцией Н. Г. Бережанского. Выходил журнал «Закон и суд» под редакцией П. Н. Якоби.

О русской Эстонии, к сожалению, могу сказать мало. Не осведомлен. Знаю, что именно в русской Эстонии зародилась идея всезарубежного празднования Дня русской культуры. В Эстонии было несколько русских издательств, много русских газет, одно время до полудесятка ежедневных и еженедельных изданий. Семь русских учебных заведений. Очень активная русская академическая группа с такими учеными, как Тютрюмов, Гримм, Курчинский, Филиппов, Шелоумов и другие. Там началось первое за границей молодежное издание «Новь», развившееся в 30-х годах в серию неплохих одноименных альманахов. Из молодых тогда русских, живших в Эстонии, позднее составили себе имя: историк Н. Е. Андреев, поэт Ю. П. Иваск, философ С. А. Левицкий и другие.

Деревенька Фридрихсталь

Уезжать из Германии у меня не было ни желанья, ни возможности. Желанья потому, что хоть и трудно мы жили («из руки в рот», как говорят немцы), но все-таки «прижились». А возможности – потому, что семья большая – шесть человек (мать, жена, я, брат, его жена и их маленький сын). Поэтому вопрос о переезде и не вставал. Только из дорогого Берлина переехали в деревеньку Фридрихсталь, километров шестьдесят (кажется) под Берлином.

Переехали случайно, по дружбе с немецкой семьей профессора Карла Штелина (Stahlin). Он занимал кафедру русской истории в Берлинском университете и вместе с профессором Гетч (Hoetzsch) вел восточноевропейский семинар, где я часто работал в библиотеке-читальне. Особенно тепло подружились мы с сыном профессора – Отто и с его женой – Ольгой (мы ее звали – Олечкой). Они постоянно жили в Фридрихстале, ибо Отто болел туберкулезом, а Фри-

дрихсталь окружен был сосновым лесом. В нем был даже санаторий для туберкулезных.

До переезда мы каждое лето приезжали в Фридрихсталь, снимая квартиру. И вот как-то Олечка Штелина нам сказала: «Почему бы вам не купить тут участок земли, сейчас (это было в разгар инфляции) тут вы купите землю за грош». И действительно за грош мы купили на краю деревни небольшой песчаный участок дикой целины. Брат и я перекопали его вилами, выкорчевав всю заросль и траву, все это сложили в компостную яму: пусть гниет, будет земля.

А Олечка Штелина однажды, у нас за чаем, предложила взять у нее деньги (под смехотворно божеский процент!) и выстроить маленький дом. Решились. Взяли. Лев Толстой где-то хорошо написал «о любви к земле по купчей крепости». Вот и в нас жила такая земская «любовь». Дом мы построили сами под руководством старика-немца, плотника. Клали с ним фундамент, выводили стены, настилали черепицу, красили полы, клеили обои, устанавливали печки. И на краю немецкой деревни вырос наш двухоконный (с фасада) сероватый дом в четыре небольших комнаты. Весь участок обнесли проволочным забором, вдоль него посадили березы, тоненькие, но уже в первый год затрепетавшие легким ситцем листьев. Посадили розы, всякие цветы, пестрый строй георгинов, несколько фруктовых деревьев: груши и яблони. Весной, когда они зацветали, везде, даже в комнатах, пахло леденцами.

В память былого пензенского именья, которое любили, наш участок мы шутя называли «местоимением». Кто-то из древних говорил, что человеку нужен не столько дом, сколько сад. У нас появился и сад, заставивший нас его полюбить. Так мы и поливали, пололи, копали, унавоживали эту «нашу» немецкую землю.

На подловке я – по инфантильной страсти – завел голубей. Черношалие, синеплекие, белые, краснопузые, желтые, чугунные, они выносились в прозрачность утреннего воздуха с стремительным звоном крыл. Сначала они дают низкие, взволнованные круги, потом набирают высоту и в солнечных лучах кажутся бело-серебряными, «как святой дух», а залетев на оловянную тучу, сразу выявляют всю разнобойную пестроту окрасок. Это тоже счастье: следить за полетом своих голубей. На большой высоте, отстав от стаи, лентовый красношалий начинает кувыркаться, стремительно падая вниз, и, кажется, вот-вот ударится и разобьется о крышу, но у крыши внезапно выравнивает паденье и тяжелыми кругами снова набирает высоту, догоняя снизившуюся за ним стаю. Голубей я водил в Пензе на своем дворе на Московской улице. Там мальчишкой, стоя с махалом на крыше, спорил в голубиной охоте с приказчиками соседней мануфактурной лавки братьев Кузнецовых. Приказчики эти тоже были страстные голубятники. Водить голубей – сильная, непроходящая страсть. В Фридрихсталь к нам приезжали: Б. И. Николаевский и Л. Я. Далина, В. П. Крымов с женой приехали раз на автомобиле, священник Николай Фед. Езерский, друг отца еще по Пензе, Константин Федин заглянул из Берлина: «посмотреть, как живут русские эмигранты в немецкой деревне». Жили мы скромно, но (как вспоминаю) приятно. Со всеми соседями-немцами дружили. Тут больше были рабочие (всё социал-демократы, чудесный народ!). Была и рабочая молодежь. Кондовые крестьяне были, но мало. Деревенька – больше рабочая (ездили на работу в Ораниенбург, в Берлин). А рядом – деревенька Мальц: старозаветная, крестьянская.

Няня Анна Григорьевна

В семье мы жили дружно. Только жаль, что не было уже с нами моей (и братниной) няни Анны Григорьевны Булдаковой. Пришедшая в Берлин вместе с матерью, няня Германии (конечно) не выдержала. Без языка, жаловалась: «Ну как немая!». Без православной церкви, домовую церковь на Находштрассе не признавала: «Да у них и колокола-то нет!» Без родных, оставшихся в Вырыпаеве. *Без России.* Конечно, в Берлине няня многому дивилась. Но в Вырыпаеве все было лучше. В Берлине – ни воли, ни поля, ни простора, один асфальт. На квартире – не постирать, как надо, не помыться. Бани нет. А когда от нас узнала о процессе некоего чудовища-немца Денке, за свою жизнь убившего и съевшего не то семь, не то восемь человек, закачала головой и сказала: «Вот те и на! Заграница! Говорят, всё тут люди культурные, да у нас в Вырыпаеве никто никого отродясь не съел».

И как няне ни тяжко было расставаться с нами (*навеки*, это и она и мы знали), все же решила вернуться в Вырыпаево. Мы купили ей швейную машину Зингера: в Вырыпаеве пригодится. И с машиной и другими вещами я поехал проводить няню в Штеттин на пароход. Горько плакала няня, обнимая меня на пристани. «Взойди ты, Рома, еще хоть раз на сходни, я тебя обниму!» – говорила с борта. Я взошел, обнял мою старую няню Анну Григорьевну Булдакову, отдавшую нам всю свою жизнь и спасшую мать тем, что пошла с ней в поход за границу. И вот – пароход «Бюргермейстер Гаген» оттолкнулся от берега и медленно отходит. С палубы няня машет мне старой рукой. Так и махала, пока не скрылась.

С няней – из Вырыпаева – у меня установилась переписка. В возможность ее я сначала не верил. Няня по-немецки адреса написать не могла (по-русски писала самоуковыми,

страшными каракулями), да и конвертов в Вырыпаеве достать было трудно наверное. И я делал так: писал ей письмо на пишущей машинке (няня хорошо читала!) и в свой конверт вкладывал конверт с нашим немецким адресом. В этом конверте *без марок* она должна была опускать свое письмо. Я же при получении оплачивал его (вдвойне). К моему удивлению, эти нянины письма доходили. И все они (с конвертами, написанными моей рукой) хранятся в моем архиве в библиотеке Йельского университета.

Спервоначала нянины письма были радостные. В одном было: «А в России жить хорошо!» Потом что-то в Вырыпаеве переменилось. Писала, что живет в избушке с выгнанной из монастыря монашкой, стегает невестам одеяла, ребенков у рожениц принимает, одиннадцать уже приняла и все мальчики, людей лечит – стаканчики на спину ставит, сама нажала ржи пять сот, картошки сто мер собрала, а за овсы вот боится – Иван Постный, а они стоят зеленые. Писала, что была в Саранске у моего однокашника по гимназии и университету Венедикта Софронова (он в Саранске судьей стал), рассказала о нас, о Берлине, и он зовет нас назад, чтоб поскорее возвращались.

Потом в переписке произошел долгий перерыв. И наконец пришло письмо, первая строка которого была: «Дорогой Рома, это письмо верно последнее». А дальше шло потрясающее описание начала *крестьянского погрома,* проводившегося под «научным» псевдонимом «коллективизации». Письмо написано едва разбираемыми каракулями, но няниным красочным языком. Когда я прочел его Б. И. Николаевскому, он, ошеломленный, проговорил: «Р. Б., это обязательно надо опубликовать, дайте мне, пожалуйста, копию». – «Только надо все законспирировать, Борис Иванович». – «Ну разумеется...» – И я сделал копию с няниного письма, затушевав все, что могло навести на ее след.

Нянино письмо появилось в «Соц. вестнике», в отделе «Вести из России», как «Письмо крестьянина». На него тогда многие обратили внимание. Но няня была права: письмо было последним. Погибла моя няня, Анна Григорьевна Буддакова, в социалистическом *погроме крестьян* села Вырыпаева.

Н. А. Орлов

С кем в Фридрихстале мы особенно сблизились, – с Николаем Афанасьевичем Орловым и женой его Евлалией Георгиевной. Знакомы мы были еще по Берлину, но здесь крепко сдружились.

Николай Афанасьевич Орлов и Евлалия Георгиевна были людьми не часто встречающимися. По одаренности. По уму. По нравственной чистоте. По стойкости характеров. И по самой обычной человеческой приятности общения. Говоря «исторически», Н. А. Орлов был *первым советским невозвращенцем.* Причем невозвращенцем видным. Всех подробностей его биографии не знаю. Что знаю – расскажу.

Н. А. был сибиряк из бедной крестьянской семьи. Он и по виду был крестьянообразен: невысокий, кряжистый, с круглым лицом, курносый, с веселыми глазами. По рассказу Н. А., в жизни его большую роль сыграл человек, оставивший след в истории русской революции – Павел Васильевич Вологодский. Вологодский был социалист-революционер и весьма состоятельный человек. В гражданскую войну – первый Председатель Совета министров при Верховном правителе, адмирале А. В. Колчаке. Сменил Вологодского расстрелянный вместе с Колчаком Пепеляев. Вологодский умер эмигрантом в Китае.

Так вот, еще в сельской приходской школе Н. А. Орлов проявил свою одаренность. И кто-то указал Вологодскому на талантливого мальчика, в семье которого средств для про-

должения его образования нет. П. В. Вологодский взял мальчика под свою материальную опеку, дав возможность Н. А. окончить и гимназию, и Томский университет. По окончании университета Н. А. стал экономистом. Как и когда Н. А. пошел по революционному пути, когда стал с.-д. большевиком (наверное, в 1917 году) – не знаю. Знаю только, что после Октябрьской революции Н. А. Орлов выпустил две специальные книги: «Продовольственная работа Советской власти» (М., 1918) и «Система продовольственной заготовки» (Тамбов, 1920). Но об этих книгах в разговорах Н. А. никогда не упоминал, ибо я его встретил уже крайним социалистофобом и еще пуще советофобом[38].

Мне Н. А. только говорил, что нэп введен по его законопроекту, что Ленин одобрил именно его проект, и письма Ильича, которого ко времени нашего знакомства Н. А. считал «тушинским вором, демагогом и палачом», – у Орлова хранились. Больше того. Они-то и стали его «охранной грамотой» после невозвращенства. О причинах невозвращенства, о душевном состоянии Н. А. в дни его службы в берлинском торгпредстве говорит его дневник.

В 1961 году в Нью-Йорке в «Новом Журнале» (кн. 64) я опубликовал хранившуюся у меня лет тридцать рукопись дневника Николая Афанасьевича. Заглавие я дал сам – «Дневник разочарованного коммуниста» и подписал буквами «Н. Н.» (для «конспирации» у меня были основания). Приведу хотя бы последние страницы этого дневника:

«17 *янв. 1922 г.* Антанта умна и хитра. Ею правят люди большого жизненного опыта. За ее спиной стоит класс капиталистов – единственный пока, способный править, способный – пусть изредка –

[38] Об этих книгах Н. А. Орлова мне сообщил историк М. С. Бернштам, статьи которого печатаются в «Вестнике РСХД», в «Новом журнале» и других зарубежных изданиях.

практически подниматься на высоту общечеловеческих интересов. Советская Россия глупа, ибо ею правит ничтожная кучка честных и бесчестных авантюристов из женевских кабачков, ибо за спиною этой кучки темное, ненавидящее ее мужичье и вороватый, ничтожный, некультурный, униженный, в глубине своей загаженный рабочий. Сила женевских авантюристов, как и царя, – темнота народная, вечно подогреваемые зверские и собственнические инстинкты, Красная армия и чекистская охрана. Вот и все. Темнота. Злоба. Европейские мыслящие рабочие и интеллигенты презирают Ленина. Русские мыслящие рабочие и интеллигенты ненавидят Ленина. Жестокий, сумасбродный временщик, тушинский вор, демагог и палач. Не по словам, а по делам надо судить цезаря...

7 февр. 1922 г., Берлин <...> Капитализм – очень скверный строй, судя по рассказам. (Сам я никогда не был ни рабочим, ни хозяином, всегда служил у общественных организаций, черт бы их побрал!) Но капитализм обеспечивает хоть видимость самоопределения человека. Старайся, развивай свои способности, и тебя оценят. Пусть ценой голода и чахотки, но признание будет. А вот социализм – Kanzleiwirtschaft – это, видимо, нечто чудовищное. Личности тут нет. Коллектив. Воли тут нет. План и статистика. Риска тут нет и неизвестности. Организованное болото, Manteltarif и Betriebsrat. Жизнь по Бедекеру, мысль – по определению тридцатиэтажного бюро. Брр! Дурак и личный враг мой – всякий приверженец социального переворота. Где переворот – там начинается ленинская фантазия с учетом, карточной повинностью и голодом. Никогда не охватить нормальные потребности многомиллионного коллектива в схеме и плане. Будет чепуха. Исправление капитализма опытом жизни – вот нормальный путь, здоровый путь.

6 марта 1922 г. А что, если я изобличу этих прохвостов! Не в угоду другим прохвостам, а в угоду миру и прогрессу. Впрочем, и на это наплевать. Я изобличу их за все их подлости, надувательства, подхалимство, за гибель нашего поколения, за надругательство над всем, во что мы верили. Стоит ли? Поверят ли мне? Не забросают ли меня грязью? Пожалуй, и на это наплевать. Ведь они замучили

всех моих близких и дальних, они разорили великую страну <...> Мне кажется, я написал бы о них умную, гневную, бичующую книгу, такую, которая уничтожила бы их морально, окончательно разбила бы ряды всех этих чекистов и идиотов из III Интернационала. Ведь я знаю их душу – мелкую, холопскую. Вот они занялись теперь арестом левых коммунистов. Это – идиоты, но не подлецы. Идиот страшнее подлеца, но он не противен в такой степени...

29 авг. 1922 г., Берлин. Все идет отлично. 22-го Крестинский написал в Москву, что для моего настроения московский воздух будет <...> Дело сильно подвинулось к разрыву с этими людьми. Ах, тем лучше. Кончается кровавая полоса – Россия, начинается трудовая полоса – Европа. Я знаю, конечно, что будет тяжело добывать хлеб в этой переполненной Европе, я знаю, что всякой скверны здесь не меньше, чем на родине, но бессмысленного хамства меньше, пустого круговращения для отдельной личности меньше. И нет этой крови, крови, крови, ужасов, насилий и идиотизма....

11 сентября 1922 г., Берлин<...> Господин Крестинский делает свое государственное дело! Бог мой, и с этими людьми я прожил четыре года, предполагая, что у них за душой есть тот медный грош, которого я не видел за душой других. Какой же я идиот! У Крестинского – охранка, у Стомоньякова (советский торгпред в Берлине. – Р. Г.) – воровской притон. И над всем царит звезда идиотизма, узколобия, себялюбия мелких ничтожнейших мешанишек, нашедших в Ленине достойного пророка, а в Бухарине и Зиновьеве – блестящих апологетов...»

На этом дневник обрывается. Уйдя из торгпредства, Н. А. решил навсегда остаться в Германии (как я в 1919 году). После его ухода Орловы переехали в Фридрихсталь. Евлалия Георгиевна продолжала работать в торгпредстве на какой-то незначительной должности. А Н. А. стал посылать корреспонденции с Запада в газету «Сибирские огни». Они печатались, и Н. А. даже получал гонорар. «Охранная грамо-

та» еще действовала. Но корреспонденции были для заработка. А для души Н. А. засел за толстенный роман под названием «Диктатор». Рукопись его оставалась у меня, но, к сожалению, погибла. Это был фантастический роман, темой схожий с «Мы» Евг. Замятина. Откровенно говоря, роман мне не очень нравился. Думаю, Н. А. не был «беллетрист».

Помню, однажды Н. А. показал письмо Максима Горького, которого он знавал и которому на отзыв послал «Диктатора». Горький писал не обескураживающе, но без восторга, советовал кое-что переработать, но вот «эротика» в «Диктаторе» вызвала его грубый отклик: «Уж если писать «эротику», надо писать ее так, чтобы <...> до Полярной звезды, а если этого нет, и писать не надо» (буквальная цитата из письма М. Горького, два слова из-за нецензурности заменяю точками. – *Р. Г.*). По-босяцки выразился Алексей Максимович, ничего не скажешь, но, увы, верно! Примером такой тошнотворно выдуманной (серебральной) «эротики» служат хотя бы до одури скучные увражи В. Набокова, скабрезные, но совершенно аэротичные.

Н. А. Орлов умер внезапно в Фридрихстале, который любил. Под жарким солнцем копал огород, и вдруг – спазмы в груди. Вместо того чтоб (как советуют врачи) сразу лечь и лежать, пока грудные боли утихнут, бросил лопату, вбежал в квартиру по крутой лестнице на третий этаж и, не дойдя до кровати, упал и умер. Евлалии Георгиевне пришлось вернуться в СССР.

«Прыжок в Европу»

В своем домике в Фридрихстале я закончил книгу о Михаиле Бакунине (вышла в «Петрополисе»), написал «Тухачевского», «Красные маршалы» (вышли в «Петрополисе»). Написал и еще одну книгу, «Прыжок в Европу», которая так

никогда нигде и не появилась, и рукопись, к сожалению, погибла. Жаль. Это был ценный человеческий (и исторический) документ.

Вот как получился этот «Прыжок». Приезжая в Берлин, я останавливался у близких друзей О. С. и Л. Н. Шифманович. Ольга Сергеевна (для меня Оля) была в Берлине актрисой. Наша пензячка, рожденная Протопопова. Я знал ее с гимназических лет, мы были на «ты». Так вот, однажды во всех больших немецких газетах появилась «сенсация»: из СССР через всю Прибалтику пробрался зайцем, на поездах семнадцатилетний паренек, беспризорный Петя Шепечук. Как Оля его разыскала, не знаю, но приняла в судьбе сего «фантастического вояжера» горячее участие: Петя у них ел, пил, спал. В один из приездов я с этим юным отчаянием познакомился.

Был он крепкий, спортсменский, довольно приятный паренек, прошедший в СССР огонь, и воду, и медные трубы. В Берлине его пододели по-европейски, держался он «вполне светски», застенчивости никакой нет и в помине, рассказывал о беспризорной жизни и о своем «прыжке в Европу» интереснейше. И Оля мне говорит: «Роман, помоги ему, запиши его рассказы. Ведь это может стать захватывающей книгой – он первый советский беспризорник на Западе». Я согласился. И Петя стал приезжать к нам в Фридрихсталь на «сеансы рассказов» о своем детстве, беспризорничестве (не без уголовщины). Я записывал. Рукопись должна была идти, конечно, за его подписью, и вообще «все права сохранялись за автором», то есть за Петькой.

Отмечу штрих в характере этого самого Пети. Около Фридрихсталя, среди соснового леса, течет широкий (судоходный или, вернее, баржеходный) канал, соединяющий (кажется) Берлин и Штеттин. На канал в воскресенье немцы выходили купаться, загорать на солнце. Пошли как-то и мы: я, брат и Петя. Но купаньем, ныряньем, загораньем сей ру-

сейший Петя не удовлетворился. Он захотел «поразить мир злодейством», потрясти воображенье немцев русской удалью. И потряс. Голый, в трусах, забрался, как обезьяна, на самый верхний, высокий парапет моста. И оттуда, с большущей высоты – на виду у немцев – ласточкой сиганул в канал, нырнул и выплыл. Прыжок – первый класс!

Жизнь этого Пети со всеми его необыкновенными приключениями я довольно быстро записал. Получилась рукопись страниц в двести – «Прыжок в Европу». Опекуном Пети взялся быть один из редакторов «Берлинер тагеблятт» (с ним я встречался, но фамилию запамятовал). Он должен был с кем-то, знающим русский, перевести «Прыжок» по-немецки и устроить его печатание. По-русски же я послал «Прыжок» П. Н. Милюкову для «Последних новостей», С Милюковым я как раз незадолго до этого познакомился в Берлине у Б. И. Элькина. Напечатание «Прыжка» в газете, по-моему, могло быть почти сенсационным, во всяком случае крайне интересным. И П. Н. Милюков рукопись оценил и принял. Но газета есть газета. «Последние новости» были переполнены множеством *постоянных* сотрудников, и «аутсайдеры» были им не очень в масть (отбивали построчные). Поэтому, несмотря на положительный отзыв и принятие рукописи Милюковым, в газете прошли только два-три отрывка. Дальше дело застопорилось, ибо таким материалом ведал, в конце концов, Не сам Павел Николаевич, а *фактический делатель* газеты Александр Абрамович Поляков. Он «Прыжок» и застопорил.

Без малого через полвека я совершенно забыл все беспризорное содержание «Прыжка». И рад, что в моем архиве сохранилось письмо П. Н. Милюкова об этой рукописи. Оно, по крайней мере, может дать хотя бы некое представление о ее сути. Приведу письмо П. Н. Милюкова, полученное мной в Фридрихстале:

«Praha, Bubineč, Uralske nam.
č. 1 b. 17

7 января 1932 г.

Многоуважаемый г-н Гуль,

«Прыжок в Европу» я своевременно получил и прочел, и я и мои коллеги по редакции очень ею заинтересовались. Я хотел бы поместить ее полностью, но это встречает препятствия в обилии газетного материала. Уезжая, под новый год, из Парижа в Прагу, я все же настаивал, чтобы по возможности больше было помещено. Но окончательное решение должен был предоставить в мое отсутствие моему заместителю, И. П. Демидову. Гонорар автору мы можем предложить в 60 сантимов за строчку. Это – цифра несколько повышенная сравнительно с нашими средними за материал этого рода. Я удивлен, что до сих пор Вы не получили письма из редакции; уезжая, я напомнил Демидову о необходимости поскорее Вам сообщить о результате. В дальнейшем сноситесь с Демидовым, а я перешлю ему Ваше письмо с новым настоянием. По-моему, рукопись есть документ, в своем роде единственный, и Ваша осторожная литературная обработка только придала ему цену.

Искренне уважающий Вас

П. Милюков.

P. S. Я остаюсь здесь до 20 чисел января, после чего приеду в Берлин и остановлюсь у Элькина, 14, Kufsteinerstrasse.».

(Письмо в оригинале написано по старой орфографии. – *Р. Г.*)

Последняя встреча с А. Н. Толстым

Дату последней встречи с Толстым даю точно, ибо сохранилась довольно подробная запись. Встретились 20 марта 1932 года. 18 получил в Фридрихстале письмо от Толстого: на короткое время в Берлине и хотел бы встретиться (телефон и адрес).

Я приехал. Остановился А. Н. в прекрасном отеле на Курфюрстендамм. Вид Толстого – веселый, беззаботный, «в хорошем настроении». Одет как всегда по-барски. За восемь лет, что я его не видел, мало изменился (чуть пополнел, пожалуй). А все ухватки те же, толстовские. Только поздоровались, сели и: – «Роман Гуль, будьте другом, выручьте, – говорит, – вчера тут намазался и переспал с девчонкой. Сдуру дал ей адрес и телефон. Телефон уж звонил, я не подходил, уверен, что она. Как позвонит, подойдите, пожалуйста, и скажите, что герр Толстой, мол, выехал из Берлина... надо от нее отвязаться». Действительно, во время нашего разговора раздался телефонный звонок и какой-то маловыразительный женский голос спросил (по-немецки) Толстого. Я ответил все просимое. И получил от Толстого спасибо: «отвязался от девчонки» Алексей Николаевич.

Разговор перескакивал с одного на другое. О своей жизни в СССР Толстой сказал, что до пятилетки материально ему было очень трудно, порой даже «ужасно трудно» (его слова. – Р. Г.) «Тогда ведь всякие Авербахи[39] правили. Нас ни за что

---

[39] Кстати, о «пролетарии» Авербахе. Лидер РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей) Леопольд Авербах к пролетариату никакого отношения не имел. Он был сыч нижегородского миллионщика Авербаха, торговавшего лесом и гонявшего по Волге пароходы. Так что Леопольд Авербах мог видеть пролетариат лишь из прекрасного далека. Мать же его была сестрой небезызвестного Якова Свердлова (тоже нижегородца), распорядителя убийства царской семьи, чьим именем обезображена не только площадь в Москве, но и город Екатеринбург. Генрих же Ягода (Ягуда) был приемышем миллионщика Авербаха (Ягода рано осиротел) и воспитывался в доме Авербахов, за что и женился на весьма некрасивой сестре Леопольда. Вот так и появились у Леопольда Авербаха «пролетарские» связи. И стал он «лидером пролетарской литературы» в первом в мире «пролетарском государстве». Но à la long все это его не спасло. Сталин в 1937 году шлепнул вначале его, а потом шурина Авербаха, «верного пса» Ягоду.

считали, так, в хвосте где-то. Ну, а теперь иной коленкор, „культура взяла свое...“»

Помню, мимоходом Толстой заговорил о писателях-стукачах и первым таким назвал Глеба Алексеева (как называли его и Федин, и Груздев), а вторым некоего петербургского поэта, который *еще* жив, хоть и очень стар. Я спросил о Льве Никулине. «Нет, – сказал Толстой, – о нем ходят слухи потому, что Никулин раньше же работал в ЧеКа «чиновником», как и Бабель...»

Тут я сделаю не относящееся к встрече с Толстым отступление. Когда моя жена (до отъезда за границу) жила в Москве с подругой по институту Лидией Средневой, голодали они по-настоящему: питанием были два стакана моченого гороха в день. И наша общая знакомая (пензячка), хорошо относившаяся к Олечке, стала искать ей работу. И нашла, радостно вызвав Олечку к себе.

– Ну, Олечка, нашла, и очень хорошую!

– Спасибо, Нина Афанасьевна.

– Будете довольны, будете работать одной из архивисток в Разведупре.

Пауза с обеих сторон.

– Нина Афанасьевна, я эту работу взять не могу.

– Как? Почему? Да это же прекрасно оплачиваемая работа и нетрудная.

– Дело не в работе. В *таком учреждении я* никакой работы никогда не возьму.

Тут Нина Афанасьевна взорвалась:

– Я старалась! Я вас рекомендовала как интеллигентного человека! А вы отказываетесь? Что ж, будете жевать ваш моченый горох?..

– Буду жевать.

– Только теперь уж я для вас ничего больше делать не буду, никогда! Так и знайте!

На том и кончились поиски работы для Олечки. У Льва Никулина и И. Бабеля были, конечно, совсем иные измерения.

Под конец разговора Толстой пригласил меня с ним пообедать: «Будет художник Миклашевский, Мария Игнатьевна Будберг, вы и я. Вы с Марией Игнатьевной знакомы?» – «Только *по литературе*» (я имел в виду воспоминания чекиста Петерса, где он писал о ней не вполне обыкновенные вещи). Толстой догадался, рассмеялся и, махнув рукой, сказал: «Авантюристка! Чистой воды! Но умница-баба!»

Познакомиться с Марией Игнатьевной мне было интересно. Я знал – рожденная Закревская, первым браком – Бенкендорф, вторым – баронесса Будберг, потом – друг британского дипломата Роберта Брюса Локкарта («заговор Локкарта», 1918), с которым вместе и была арестована Че-Кой. Основательно отсидела в тюрьме, допрашивал ее *сам* Петерс (пока не вызволил Марию Игнатьевну из узилища Максим Горький). Тогда она стала его многолетней «секретаршей» (европейскими языками владела вполне), потом уехала в Англию и стала женой известного писателя Герберта Уэллса («Россия во мгле»). Биография сложная, «не общего выраженья». Петерс в воспоминаниях писал о М. И. «всякие ужасти», что ее салон в Первую мировую войну был гнездом «немецкой агентуры». Б. И. Николаевский в разговорах со мной о М. Горьком (с которым Б. И. был хорош) обвинял Марию Игнатьевну, что именно она толкает его «вернуться на родину». По всему этому я с удовольствием отозвался на приглашение Толстого вчетвером отобедать.

Обед был где-то на Унтер ден Линден в подвальном (весьма приятном) кабачке-ресторане, любимом Толстым. И в смысле кулинарии и в смысле разговоров обед был хорош. Художника Миклашевского я раньше не встречал. Он оставил впечатление настоящего петербургского джентльмена (хотя не знаю, был ли он петербуржец) по виду, одежде, манерам.

Но ничего человечески яркого в нем не было. А вот Мария Игнатьевна произвела впечатление, как говорится, «неизгладимое». Высокая (можно было бы даже сказать «большая женщина»), стройная, прекрасно сложенная, с безупречным вкусом одетая (черная шляпа, черное платье, с шеи змеится длинная золотая цепь), с аристократически простой, свободной манерой держаться, некрасивая, но очень умное и породистое лицо. В разговоре сдержанна, но то, что говорит, – умно, порой остроумно.

Толстой за обедом был в ударе: весел, оживлен, как рассказчик неистощим и всегда в стиле «толстовеко-анекдотическом». Помню, рассказывал он про парад на Красной площади, который принимал сам Клим Ворошилов: войска выстроены в каре, все замерло, никто не шелохнется – ив эту тишину из кремлевских ворот выезжает на буланом жеребце Ворошилов. Серебряные фанфары ударили как бешеные («русские ведь любят все эти штуки!»), крики «ура», черт знает что такое... Потом рассказывал о самом Ворошилове: «Клим – чудесный парень, выпить любит, русские песни любит, поет, фифишек любит, вот евреев недолюбливает, думаю, нет...».

Я спросил о Блюхере. Толстой сказал, что «уральский рабочий» (что неверно. – *Р. Г.*), что пользуется «огромной популярностью». Красочен был рассказ об известном большевике Шатове (псевдоним, сначала был анархистом, после Октября из Нью-Йорка приехал в Россию делать карьеру, и сделал большую, но кончил, кажется, тоже в ежовском подвале. – *Р. Г.*), О Шатове Толстой рассказал, как Шатов строил Турксиб. «Жара, степь, пески, женщин нет, мужчины с ума сходят. Шатов в Москву телеграмму: «Прошу спешно двести пятьдесят блядей!». Не поверили в серьезность, а Шатов – вторую. Не верят. Он в Москву своего «эмиссара» прислал: объяснить

положение. Тот и привез на Турксиб сто пятьдесят, поместили их в бараках и... Турксиб построили».

Толстой был все тот же любитель анекдотического, великолепный, артистический рассказчик. Миклашевский что-то спросил: о «всероссийском старосте» Калинине, и Толстой сказал: «Вовсе не глуп. Это тут чепуху о нем всякую в эмиграции пишут. Он во всем разбирается. И – умно. Был он раз на вечере в «Новом мире». Читали там всякие писатели, поэты, старались как могли. Безыменский с товарищами особенно. Один прочел поэму о ГПУ. Читал и Пастернак что-то свое, лирическое. По окончании вечеря все обступили Калинина, спрашивают: «Ну как, мол, Михаил Иваныч, вам понравилось?» – «Да что же, говорит, вот Пастернак хорошие стихи читал. А эта вот полька о ГПУ, простите, это не стихи. Так писать нельзя. Конечно, ГПУ может быть темой, но трагического искусства, ГПУ для коммуниста – это трагедия...» Все, кто старались угодить, так и сели... Нет, нет, Михал Иваныч человек разбирающийся... и (Толстой смеется) тоже, как Ворошилов, фифишек любит, факт общеизвестный...»

Я спросил о сменовеховцах. Толстой сказал: «Беззвучно. Потехин написал пьесу, плохую, не вышло. Ключников – сгинул с вод. Василевский – куда-то канул. Дюшен где-то работает. Кирдецов вот, кажется, в «Наркоминделе».

Миклашевский спросил о Троцком. Толстой сказал: «Кончен. Бесповоротно. Никакой популярности. Опозорен и забыт. Если у нас на границе появится, его каждый может убить. И убьет. Спросил о Зиновьеве. «Кончен тоже. Ректором в Казанском университете сидит. Ему – не пошевельнуться. Каменев в лучшем положении, он в Москве, в Комакадемии, работает «культурно», к нему отношение лучше, но политически – тоже человек конченый».

Когда Толстой говорил о параде на Красной площади и о Ворошилове на буланом жеребце, Мария Игнатьевна спросила:

– Если я вас правильно понимаю, Алексей Николаевич, вы считаете, что возрождается русский национализм?

– Нет, нет, не национализм, – поспешно поправил Толстой, – а настоящий патриотизм! А посмотрели бы вы, какие у нас военные ребята! Они никого не боятся, ничего не признают – отчаянные черти! А какая дисциплина в армии – железная! А песни какие поют! Только пьют в России здорово, все пьют! Как двое встретятся – так и намажутся обязательно, хоть водка и дорогая – семь с полтиной, а шампанское пятнадцать рублей.

– А что вы думаете, Алексей Николаевич, может быть – война? Ведь тут нарастает национал-социализм, и это довольно серьезно должно изменить положение на всем Западе? – спросил Миклашевский.

Толстой полным глотком отпил красное вино. И – категорически:

– Нет. Войны не будет. Если будет, то «рейд» без объявления войны. А уж если будет война, то и решится она на Висле. А для Вислы у нас есть специалист – Тухачевский, Ленинградским округом командует. Поседел. Но моложав и крепок. Одно время было покачнулся близостью с Троцким, но потом выправился.

Весь обед Толстой был весел, жовиален, говорил без умолку и все в тоне мажорного свете советско-патриотического оптимизма. Последним номером – рассказал полуанекдот об актере Ровном.

– В Краснопресненском районе, в театре, заполненном старой рабочей гвардией, видавшей еще 1905 год, в феврале месяце перед представлением актер Ровный (еврей) выступил самотеком с политической речью, желая, вероятно, вы-

двинуться. Нес он обо всем, и о международном положении, и о пятилетке в четыре года, причем говорил целый час. Рабочие слушали очень уныло. Тогда Ровный стал бросать в зал лозунги: «Долой такой-то загиб и такой-то перегиб, да здравствует мировой пролетариат» и прочее. И наконец кричит; «Да здравствует наш вождь, товарищ... Троцкий!» Это произвело в зале впечатление разорвавшейся бомбы. Поднялся крик, шум, провокация, бросились на сцену. А Ровный присел, бледный и, схватившись за голову, только кричит: «Сталин! Сталин! Сталин!» Оказывается, он попросту оговорился. Вся Москва хохотала над этим. В другой бы раз ему за это не поздоровилось, но тут решили, что с дурака взять? Доложили Кагановичу, тот сказал: «Дурак!» Так и не сделал карьеры товарищ Ровный, а даже наоборот...

Мы засиделись в подвальчике допоздна. Под конец я все-таки спросил Марию Игнатьевну: «Мария Игнатьевна, а вы читали воспоминания Петерса, он там о вас много пишет?» С умной улыбкой М. И. отмахнулась: «Да он все врет...»

За обед Толстой заплатил какой-то астрономический счет. И мы вышли на Унтер ден Линден.

– Не забудьте, Алексей Николаевич, мы назавтра приглашены к Крымову. Я заеду за вами к пяти, – сказал я, прощаясь.

И на другой день мы приехали в Целлендорф к Крымовым. Толстой давно знавал Владимира Пименовича. Для Крымова, большого любителя интересных собеседников, Толстой из СССР – был, конечно, клад! И Толстой в своих рассказах в грязь лицом не ударил.

Как всегда обед был сервирован на застекленной веранде. На первые вопросы – как живете и прочее – Толстой сказал то же, что и мне, что до пятилетки жить было очень тяжело. «Нас ведь тогда ни за что считали. Ну, зато теперь другое дело. Как сломали Троцкого и всю оппозицию – стало хорошо. Теперь все для «культуры» (так и сказал Толстой. – *Р. Г.*), под

этим лозунгом отменили и уравниловку. Это – грандиозный акт, провести который нужны были «гигантские силы», ведь это первый акт революции, который нереволюционен. В литературе раньше все эти Авербахи были властителями. А что они делали? От станков брали рабочих, объявляя их «пролетарскими писателями». Но под конец «хозяин» эту глупость запретил: «Зачем из хороших рабочих плохих писателей делать?» И это оставили. Вообще «хозяин» знает, что делает».

На вопрос Крымова, встречался ли Толстой со Сталиным, Толстой ответил утвердительно. И рассказал, как эта встреча произошла: «Встретил я его у Горького. Был в Москве, и вот звонит Алексей Максимович, зовет к нему на ужин, у него, говорит, собралась большая компания. О Сталине, конечно, ни слова. Я поблагодарил, говорю, сейчас приеду. Приезжаю – у Горького дым коромыслом! Народу масса, уже наелись, нагрузились. Здороваюсь. И изо всех людей мне навстречу встал только один, Сталин, небольшой человек, в кителе, в сапогах, немного сутулый, лицо чуть в оспинах, подстриженные усы, по внешности очень скромен. И, здороваясь со мной, говорит: «Очень приятно с вами познакомиться» (тут Толстой как-то смутился, что ли, и скороговоркой добавил: «Это, конечно, не лично со мной, а как с представителем литературы, искусства»). Я говорю: «Очень рад, Иосиф Виссарионович». И больше тут на вечере никаких разговоров с ним не было. Да какой тут разговор, когда, говорю, дым коромыслом! Ворошилов сильно намазался, посадил кого-то к себе на колени, по ошибке, что ли, приняв за женщину. Шум, говор, смех... Сталин сидел с Горьким, отпивал кахетинское. А ведь власть у него какая! – неограниченная! – стоит палец поднять – и человек падает. Всем оппозиционерам, о ком упомянет хоть в коротенькой заметке, – смерть. Во всяком случае гражданская смерть. Он Демьяна Бедного одним росчерком пера убил. После поездки Демьяна по Уралу и его

фельетонов, где было больше о Демьяне, чем о деле, – «Агитпропы, агитпропы, агитпропы там и тут», – хозяин приказал – не платить Демьяну больше полтинника за строчку, и Демьян – убит наповал».

Этот вечер у Горького и встреча с «хозяином» и стали «восхождением» А. Н. Толстого к вершинам советской славы, обилию денег и наград и, наконец, к посмертному памятнику. На представленном Сталину списке писателей, которые долженствовали высказаться о стиле новых совзданий на месте взорванного храма Христа Спасителя, Сталин всех зачеркнул, написав: «Толстой». И Толстой разразился в «Известиях» саженным фельетоном. А потом пошли «Хлеб», переделка «Хождения по мукам», «Хмурое утро», второй и третий тома «Петра Первого», «Иван Грозный». А после убийства чекистами М. Горького – А. Н. Толстой занял кресло убитого, став фактическим председателем ССП. Он и член Верховного Совета СССР, и член Академии наук, и трижды сталинский лауреат, а после смерти – памятник у Никитских ворот.

Когда мы с Толстым возвращались от Крымова в такси, Толстой удивил меня фразой, которая как-то показалась мне не в унисон с его общим советским оптимизмом. После долгого молчания, когда ехали, Толстой вдруг сказал: «А знаете, Роман Гуль, какая тема для нас была бы сейчас самая современная, самая актуальная? Махно! Да, да, если б сейчас в России появился Махно, он бы мог всю Россию кровью залить... Ведь от коллективизации ненависть крестьян живет приглушенная, но страшная...»

Таксист остановился у квартиры Шифмановичей. Я простился, вылез, а таксист повез Толстого дальше, в отель на Курфюрстендамм. Фразу о Махно я как-то так и «недопонял».

Приход Гитлера

Конечно, живя в Фридрихстале, мы (как все) чувствовали, что Гитлер неминуем, фатален. Социал-демократы, католики, консерваторы – как за соломинку хватались за престарелого президента фельдмаршала Гинденбурга. Но в 1933 году – по конституции – он вынужден был назначить рейхсканцлером представителя большинства в рейхстаге. А большинство – национал-социалисты. И Гитлер – легально – пришел к власти. Вскоре и рейхстаг (эта «пустая говорильня», по Гитлеру) запылал, подожженный *новыми людьми,* возненавидевшими веймарскую демократию с ее свободами и катастрофами.

С пламенем пожара рейхстага и у нас в Фридрихстале, как во всей стране, все сместилось в людском сознании: понимание окружающего, взаимоотношения людей – все пришло в замешательство.

Где-то я читал, что лица, чрезмерно остро воспринимающие общественные потрясения, называются *диспластиками.* Так вот, думаю, я несомненный диспластик. Ленинский Октябрь я подсознательно ощущал как некое светопреставление и конец России. Теперь в Германии я ощутил опять «перевернутую страницу истории». В эти гитлеровские дни (как и тогда, в ленинские!) мне стало как бы физически не хватать воздуха.

Фридрихсталь, как и вся страна, внезапно залился откуда-то вымахнувшими коричневыми рубахами, людьми с теми же звериными мордами, что и «рукастые» коммунисты. Они несутся в автомобилях с флагами со свастикой, на подпрыгивающих мотоциклах. Германия теперь – *их коричневое царство на тысячу лет*!

В Фридрихстале из домов «рукастые» коричневые выволакивают «врагов народа»: социал-демократов, демократов,

коммунистов, тащат в единственный деревенский ресторан «К трем липам». Их там «допрашивает», весь в хакенкрейцах, полубандит штурмфюрер Волькенштейн. Допрашивает битьем до тех пор, пока «враг народа» не запоет национал-социалистический «гимн», песню Хорста Весселя – «Знамена ввысь! Ряды сомкнуты крепко!». А если не запоет – повезут дальше в только что созданный (неподалеку от Фридрихсталя) концентрационный лагерь Ораниенбург (Заксенхаузен). Там, говорят, не только бьют, но и убивают, это вам не розариумы Веймара, Гейдельберга, не папское католичество, не лютерово протестанство, не бебелевский социализм. Это – НОВАЯ ГЕРМАНИЯ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА – ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХ!

Стоя у горбатого моста деревеньки Мальц, я видел, как перед отрядом коричневых рубах в ноги начальнику отряда упала простоволосая немка и, в беспамятстве обнимая его сапоги, умоляла не избивать, не пытать, не увозить ее сына (двадцатилетнего социал-демократа), которого они забирают на «допрос» – «К трем липам». Деревеньки Фридрихсталь и Мальц сковал террор. Это был подлинный «Le Massacre des Innocents» Питера Брейгеля.

В эти дни я должен был поехать в Берлин. Остановился, как всегда, у Шифмановичей. И предложил Оле поздно вечером пойти на Унтер ден Линден посмотреть на массовое публичное сожжение книг, «отравлявших Германию». Ленин через свою дуру Крупскую изымал и уничтожал неугодные коммунизму книги циркулярами Крупской, втихомолку. Без сожжения. Гитлер же – с эффектом публичного сожжения.

Пошли. Сожжение было устроено на красивой квадратной площади Оперы, прямо против старого Берлинского университета, где еще витали тени Гегеля, Шеллинга и других «учителей человечества».

Приехали на Фридрихштрассе. Толпа чудовищная. Тревожно и разноголосо гудят сгрудившиеся автомобили, где-то, потеряв терпение, названивают застопорившиеся трамваи, все ночное движение пришло в замешательство. На тротуарах к домам жмется толпа. А по мостовой густыми колоннами маршируют, идут на Унтер ден Линден – коричневые рубахи с хакенкрейцами на рукавах, с дымными, красноватыми факелами в руках. Ногу отбивают, как чугунные. В унисон поют национал-социалистическую песню с припевом: «Blut muss fliessen! Blut muss fliessen!» («Кровь потечет! Кровь потечет!»).

Мы все-таки протиснулись, прошли на Унтер ден Линден поближе к костру. Оранжево вздрагивая в окнах старинных домов, все кровавей разгоралось пламя громадного костра перед университетом. Бой барабанов, взвизги флейт, гром военных маршей. В темноте мечутся снопы сильных прожекторов. И вдруг, подняв правую руку к огнедышащему небу, толпа запела «Знамена ввысь!». А когда песня Хорста Веселя в темноте замерла, от костра, красноту ночи необычайной мощности громкоговоритель прокричал:

– Я предаю огню Эриха Марию Ремарка!

По площади прокатился гуд одобрения, хотя, думаю, вряд ли «площадь» читала «Im Westen nichts neues». Под этот многотысячный гул с грузовиков чьи-то красноватые (от огня) руки – множество рук! – стали сбрасывать в пылаюший костер книги, и пламя внезапным прыжком поднялось в ночную тьму, и, как живые, закружились горящие страницы книг.

Общее ликование. И – с точки зрения *зрелищной* – это, пожалуй, захватывающе, как океанская буря, землетрясение, потоп, как извержение лавы темных человеческих страстей. Это было вроде разгула озверелой нашей солдатчины в Октябре. Только там – взрыв анархо-нигилистического разру-

шения мира. А тут – иная варварская сила – всемирного порабощения. Это совсем не вчерашняя свободная Германия, это взломали культуру страны вырвавшиеся из общественной преисподней варвары.

– Я предаю огню – Людвига Ренна!

Гул одобрения, но меньший, чем при сожжении Ремарка.

– Я предаю огню – еврея Альфреда Керра!

Крики ликованья! За Керром – Генрих Манн, Франц Верфель, Леонард Франк, громкоговоритель не успевал оповещать о сожженных. Из русских подверглись сожжению – Зощенко, Кузмин, Сологуб.

В небе, освещенном заревом костра, над площадью, как стая птиц, летали огненные страницы. Люди подхватывали обгорелые куски. Какая-то немка прятала в сумочку, вероятно, на память. Поймал и я полусожженный лист, но малоинтересный, из книги Берты Зуттнер «Долой оружие!»[40]. Старушка, вероятно, и не мечтала о столь пышной рекламе, устроенной ей доктором Геббельсом.

Мой арест

В начале гитлеризма русские меньшевики переехали во Францию. «Социалистический вестник» стал выходить в Париже. Задержался только Б. И. Николаевский. Будучи тюремно-конспиративен, не говорил о причинах задержки. Только позже я узнал, что она была связана с переправкой всего его архива и главной части архива немецкой с.-д. партии через французское посольство.

В гитлеровской тоталитарной Германии я не мог душевно и психологически жить, да и разум и интуиция говорили, что эта трагедия не только Германии, в этом убеждал больше

[40] Баронесса Берта фон Зуттнер в 1905 г. получила за эту книгу Нобелевскую премию мира.

всего – «Майн Кампф». Всем существом захотел я вырваться из этого коричневого тоталитаризма – на свободу. Но где она? Во Франции. Б. И. твердо обещал, что мне и Олечке достанет французские визы (тогда это было очень трудно!). Но Б. И. достал. И в первых числах июля 1933 года я получил письмо Б. И. из Парижа, что визы уже в Берлине во французском посольстве. Надо было теперь найти деньги на отъезд. Я это обдумывал.

Но 16 июля 1933 года в 11 часов утра, когда я работал в своем саду, к забору подъехал на велосипеде жандарм, слез с велосипеда и вошел в калитку. Этого жандарма я давно знавал. Поздоровавшись «гут-моргеном», он, подойдя, вытащил из портфеля бумагу и, глядя в нее, проговорил:

– Вы русский писатель Роман Гуль?

– Да.

– Вы написали книгу «Борис Савинков. Роман террориста»?

– Да.

– Это большевицкая книга?

– Нет.

– Ну, это неважно. Берите мыло, полотенце, подушку, вы поедете со мной.

– Куда?

– В концентрационный лагерь Ораниенбург.

– За мою книгу? В Ораниенбург? Но это же анекдот, герр вахмистр?

– Я не знаю, что вы там написали. В Ораниенбурге разберут. Собирайтесь. Да, тут еще сказано: «Роман Гуль и Ольга». Кто эта Ольга? Ваша жена?

– У нас в семье две Ольги: моя мать и моя жена, – это я сказал уже на ходу, когда мы шли в дом, чтоб я взял «мыло, полотенце, подушку». В доме нас окружила семья, никто еще не знал темы моего разговора с жандармом.

– Меня арестовывают. Берут в Ораниенбург за роман «Генерал БО», – сказал я по-немецки (чтобы понял жандарм) и нарочито совсем спокойно.

Жандарм нас давно знал. Это был не гитлеровец, а добропорядочный, пожилой немец, (может быть, еще вильгельмовских времен). «Ну, раз у вас две Ольги, – проговорил он,– я запрошу в лагере, о ком тут речь, а сейчас поедете только вы».

Для меня это было облегчением. Мой роман «Генерал БО» в немецком издании у Пауль Чольнай (большое известное издательство в Вене и Берлине), по желанию издательства, был назван «Boris Savinkov. Roman eines Terroristen». Пауль фон Чольнай – венский еврей. У него издавались Генрих Манн, Франц Верфель, Леонард Франк и многие другие, по мнению Гитлера, «отравители Германии». Из газет я знал, что отделение издательства в Берлине захвачено гитлеровцами и все книги конфискованы. Но чтоб – арест, это – неожиданность.

Я простился с семьей, взял мыло, полотенце, подушку. И мы с жандармом пошли к калитке. У калитки вахмистр проговорил:

– Если хотите, по деревне езжайте шагов на десять впереди. Многие не хотят, чтоб видели, что они арестованы.

– О нет, герр вахмистр. Меня хорошо вся деревня знает, так что поедемте рядом, пусть видят, что я арестован.

– Дело ваше, – пробормотал жандарм.

По деревне мы ехали тихим ходом, я кланялся направо и налево знакомым немцам. Все, конечно, понимали, куда я и зачем еду. Проехали деревню, поехали сосновым лесом, близясь к старинной резиденции герцогов Оранских – Ораниенбургу. И пока мы ехали, я вдруг понял, что это я сам себя посадил в концлагерь. Недели три тому назад я выписал свой роман в немецком переводе (надо было подарить одному немцу) из Вены от Чольнай (так всегда делалось, берлинское

отделение не высылало книг авторам). Но вместо книги я получил с таможни извещение, что посылка мне «beschlagnahmt» (конфискована). Если «beschlagnahmt» (конфискована), стало быть гестапо? Но особого значения я этому не придал. А теперь вот, оказывается, я и сам «beschlagnahmt».

Въехали в Ораниенбург; у древнего замка пересекли Луизенплац; замок украшен громадным черно-красным плакатом: «Немец! Только Гитлер даст тебе хлеб и свободу!». В двух шагах от концлагеря лозунг звучал угрожающе. С Луизенплац свернули в улицу и скоро слезли с велосипедов у концентрационного лагеря. На воротах надпись: «Konzentrazionslager Oranienburg».

Сквозь коридорчик караульного помещения, заполненного шумевшими вооруженными гитлеровцами, вслед за жандармом, я вошел во двор знаменитого лагеря. Жандарм шел быстро, мы пересекли вымощенный булыжниками двор, поднялись на третий этаж кирпичного здания и вошли в пахнущую всемирной канцелярской духотой комнату. Здесь сидел такой же жандарм. Они о чем-то тихо поговорили. Сидевший тут же позвонил по телефону. И вдруг дверь порывисто растворилась и на пороге я увидел высокого, импозантного гитлеровца, настоящего розенберговского голубоглазого нордийца с множеством шевронов, с черной свастикой на рукаве, во всей военной фигуре которого было что-то нервное и резкое. Это – начальник лагеря штурмбанфюрер Шефер.

Почему вы арестованы? В чем ваше дело? – спросил Шефер, не спуская с меня глаз. Шефер – не бурбонист, обращение корректное, «светский» офицер.

Мой арест – чистое недоразумение. Я – писатель, русский эмигрант, арестован за свой исторический роман, вышедший на немецком языке четыре года тому назад и имевший хо-

рошую прессу в газетах всех направлений. Этот роман, в переводах, вышел в десяти странах. Но, вероятно по недоразумению, роман конфискован тайной полицией, а вслед за романом, как видите, арестован и я.

– Вы состояли в какой-нибудь политической партии?

– Никогда, ни в какой.

– Ни в немецкой, ни в русской?

– Ни в немецкой, ни в русской.

– Были на военной службе? Участвовали в мировой войне?

– Был. Участвовал в чине поручика.

– Так вы думаете, что вас арестовали только за ваш роман?

– Никакого другого обвинения мне не предъявлено.

Я видел, Шефер опытный полицейский. Во время допроса он глядел на меня в упор, «глаза в глаза», и я чувствовал, что он сам понимает, что мой арест довольно нелеп.

На минуту Шефер задумался, потом резко повернулся к вахмистру и бросил:

– Я сейчас уезжаю, поместите этого господина в амбулаторию, а назавтра я запрошу Берлин.

И так же шумно и резко Шефер вышел, громко захлопнув дверь.

Когда я вышел на лестницу в сопровождении вахмистра, он, подмигнув мне, проговорил:

– Я ему все сказал, он сам не хотел вас принимать в лагерь, но бумага... Завтра разберут, а пока будете в амбулатории.

Разницу меж дисциплинированным и даже корректным отношением к заключенным старых жандармов и насильническим («революционным») отношением гитлеровцев я наблюдал во все время моего заключения. Кстати, арестовавший меня жандарм через некоторое время очутился в этом же лагере на положении... заключенного.

– Сюда! – отворил дверь жандарм.

Я вошел в амбулаторию. Жандарм сказал какие-то слова главному санитару (их было три). Санитар указал мне на стул. И началась моя арестантская жизнь.

Амбулатория окнами выходила на лагерный двор, окна открыты, и внешняя жизнь лагеря – перед глазами. В просторной комнате-амбулатории – стол, несколько стульев, дрянная кушетка, шкаф, крохотная аптечка, но что меня поразило – на стене громадная олеография «Заседание III Интернационала». Я рассмотрел ее, увидев много «милых» лиц: Троцкого, Ленина, даже Горького. Позднее я узнал от санитара, что олеографию захватили у сына Клары Цеткин в его вилле в Биркенвердере под Берлином.

В амбулатории

В амбулатории шумно толкутся сменившиеся с караула гитлеровцы, и меня не покидает чувство, что всех их будто я давно где-то видел: эти брутальные лица, грубо-бранную речь, резкие жесты и животный хохот. Господи! да ведь это же наше октябрьское отребье, та же чернь всяческих революций. Это несомненные октябрьские «ленинцы». Да, да! Причем и тем и этим «вождь и вождишки» внушили, что они-то и есть (это отребье!) «передовой отряд бойцов» за «великую идею». Там – построение «бесклассового коммунистического общества», над которым никогда не заходит солнце. Здесь – построение «тысячелетнего рейха», который даст немцам первенство в мире и всевозможные блага, заслуженные ими как «подлинными арийцами». Известная Шекспира фраза, что «история – страшная сказка, рассказанная дураком», особенно точно применима к ленинизму и гитлеризму. Тут даже слишком много и «страшности» и «дурости». Обе «идеи», перевернувшие мир, исключительно лживо-нелепы, что и доказала история. Первая – убив десятки миллионов ни в чем

не повинных людей, превратила богатейшую, великую Россию – в необозримый, нищий, голодный концлагерь, ведущий ее народы к духовному, культурному и биологическому вырождению. А «тысячелетний рейх», тоже убив миллионы ни в чем не повинных людей, развалился на глазах всех, превратив часть великой Германии в небольшое, слабое государство, а другую – в рабского сателлита СССР. Но для «отребья» эти «великие идеи» нужны как зарядка в их насильничестве над людьми. Они, это отребье, – «над народом». По Ленину, они – «носители объективной истины».

И вот, вчера я еще был свободен. А сегодня я уже среди «носителей объективной истины».

– Наверх! К вахмистру Геншелю! – закричал вбежавший приземистый гитлеровец в рыжих сапогах с ушками наружу.

И я поднимаюсь к неизвестному мне вахмистру Геншелю, ненавидя и лестницу, и белокрашеные, нумерованные двери, и надраенные (заключенными!) дверные ручки, и весь этот пивной завод, наскоро превращенный в тюрьму для людей, еще вчера бывших свободными.

На втором этаже в комнате за столом – пожилой человек, вместо лица что-то вроде «полицейского клише». Это и есть вахмистр Геншель. «Допрос о романе? – думаю я. – Но ведь это глупее глупого». Нет. Отталкивающим от себя голосом вахмистр говорит:

– Я должен вас сфотографировать и снять оттиски пальцев. Сядьте вон там и ждите.

Делать нечего. Я сел и жду. Перед вахмистром – старый немец, крестьянин, безнадежно дикого вида; самое большее, он мог быть арестован за то, что обругал «третье царство», и теперь в печатные бланки вахмистр заносит фамилии его жены, матери, бабушек и глухие ответы старика по пунктам длинного опросника. Потом вахмистр переходит к описанию примет «преступника»: рост, нос, глаза, но на волосах про-

изошло замешательство, у старика не было волос: только сзади меж ушей узкой полоской они окаймляли череп, цвет их был неопределим. Вахмистр на минуту насупился, потом встал и взял все определяющий ««аппарат»: на полированной деревяшке болтались разноцветные косички, и одну за другой он накладывает их на туповатую, добрую голову дикого старика. Наконец цвет волос «преступника» установлен, и вахмистр, отпустив его, кричит

– Следующий!

Следующий был я. Я сел на теплый стул проковылявшего за дверь старика. Я тоже называл фамилию жены «Новохацкая», матери «Вышеславцева», бабушки одной «Аршеневская», другой «Ефремова», и от этих неудобопроизносимых славянских фамилий вахмистр впал вдруг в раздражение.

– Теперь мойте руки! – злобно бормотнул он.

Я опустил руки в таз с грязной жижей, обтер их какой-то тряпкой, и каждым моим пальцем вахмистр водит по лиловой краске и по разграфленному листу, а в дверях в затылок выстроились «преступники»: члены рейхстага, ландтага, чиновники, журналисты, ремесленники, крестьяне, рабочие, бывшие свободные граждане Веймарской Германии.

Типичный пруссак, курносый блондин, в сильных увеличительных очках, гитлеровец, исполнявший обязанности старшего санитара, оказался человеком вполне приемлемым. В противоположность обычному бездельно-брутальному типу гитлеровских дружинников, это был фронтовой солдат, сдержанный, дисциплинированный.

После нескольких фраз он оставил меня в покое. Я сел у окна, глядя на лагерный двор. То и дело проходили арестанты; работавшие на кухне носили ведра, работавшие на постройках таскали доски, известку, цемент. Кого только тут не было: каменщики, маляры, столяры, слесаря, кровельщики. Из заброшенного пивного завода, по коммунистическому ле-

нинскому методу, руками арестованных отстраивалась для них же тюрьма.

В первые дни несвобода всегда очень тяжела. К тому же гитлеровский лагерь – тюрьма, полная любых неожиданностей. Но странно устроен пишущий человек. Одним, «человеческим боком» я испытывал все отвращение и всю тяжесть тюрьмы, а «писательским боком» на все смотрел с жадным вниманием.

Под военную команду – «Ать-два! Веселей! В ногу!» – во двор вошла партия заключенных, возвращавшихся с работ. Командовал гитлеровец с жестоким лицом. Командовал с явным удовольствием. Вид арестованных был серый, понурый.

– Смирно!

Арестованные по-солдатски замерли, вытянув руки по швам. Никто не шевельнется. Гитлеровец, обходя ряды, вглядывался в замершие лица свирепым унтер-офицерским взглядом; потом, отойдя от шеренги, неистово громко заорал:

– Разойдись!

И все бегом рассыпались по двору.

Около двенадцати дня – резкий свисток, как для собак. Хромой гитлеровец свистит с удовольствием. И на этот собачий свист отовсюду стекаются заключенные, строясь в длинные шеренги – к кухне.

Перед обедом – короткая пауза. Кто сиживал взаперти, знает, что единственное место некоторой свободы в тюрьме, это – клозет. Длинной вереницей выстраиваются арестованные к каменному клозету посередине двора. Конечно, и здесь, при отправлении физиологических потребностей, арестованные отделены от гитлеровцев, в отделения гитлеровцев вход запрещен. Но когда в клозете нет гитлеровцев, изнуренные недоеданием и работой арестованные все же перебрасываются мрачными остротами. Так, вошедший понурый

рабочий, ухмыльнувшись, приветствовал сидящих орлами товарищей тихим полувозгласом:

– Хейль Гитлер!

Обед

Перед обедом зазвенели кастрюльки, котелки. Арестованные строились в затылок к кухне.

– Сюда еще одну порцию! – закричал из окна санитар маленькому, кругленькому человечку, арестанту, исполнявшему обязанности кухонного мужика.

Санитары ушли на кухню. Я – один. Легкий стук в дверь. И входит этот кругленький арестант с миской в руках. Я вижу на лице его любопытство, он искоса взглядывает на меня, по моему сидению в амбулатории не понимая: кто же я? Но моя улыбка рассеивает все, и, ставя миску передо мной, тихо говорит:

– Арестованный?

– Арестованный.

Кругленький не понимает, почему ж я не вместе со всеми, и явно хочет об этом спросить, но мимо шумят коричневые сапоги, и он быстро пошел к двери. У двери все же задержался.

– Ну, вам на кухне-то, наверное, лучше? – говорю я.

– На кухне? – махнул рукой с горечью, выразившей всю его тюремную тоску. – Дома – жена, трое детей, а я тут четвертый месяц.

– За что?

– Сочувствовал социал-демократам. Донесли. Тут по доносам месяцами сидят. – И покачав головой, как бы говоря «да, дела у нас в Германии делаются!», кругленький вышел. Я видел, как шел он понуро по двору, грохоча деревянными подошвами по булыжникам.

Весь обед – это небольшая тарелка супа без хлеба. Иногда суп заправлен перловой крупой, иногда – гороховый, один раз вместо супа дали кислой капусты с ломтиком кровяной колбасы, но всегда без хлеба, а обед главная еда. Кроме обеда арестованные получают в семь утра кружку ячменного кофе без сахара с куском хлеба и на ужин в семь вечера еще одну такую же кружку с куском хлеба. Для тяжело работающих заключенных эта пища – пытка недоеданием и ослаблением сил: полное отсутствие жиров сказывается большим числом арестованных, покрытых фурункулами.

Лечение

На утренней поверке из окна я видел, как в рядах арестованных вытягивался похудевший, загорелый гемейндефорштеер нашей деревеньки Фридрихсталь, пятидесятилетний социал-демократ. Этот семейный, уважаемый человек сел в лагерь с первого же дня гитлеровского переворота. Вина его та, что, как правоверный социал-демократ, он боролся как налево – против коммунистов, так и направо – против национал-социалистов. И вот сидит в лагере, недоедая и тяжело работая. По деревне ходили слухи, что его допрашивали с пристрастием, что после этих «допросов с резиновыми палками» он пытался вскрыть себе вены куском стекла. Он не единственный. В лагере Ораниенбург попытки самоубийства арестованных были. Я знал, что пытался покончить с собой, не выдержав истязаний, старик Рихтер, глава ораниенбургских рейхсбаннеров, тоже стоявший теперь в строю арестованных.

В дверь амбулатории раздается стук. Вошел молодой арестованный.

– Что тебе? – спрашивает карлик, помощник главного санитара.

– Нарыв, – показывает на шею.

– Приходи в двенадцать, когда доктор будет.

– Я три раза был, доктор не принял, я две ночи не спал, работать не могу.

Карлик, помолчав, важно:

– Иди сюда.

Заключенный подошел. Карикатурный карлик повернул его к окну спиной, долго смотрел на вздувшуюся от фурункулов шею, потом густо намазал ее йодом и, толкнув в спину, бормотнул: – Иди!

Много арестованных приходили с фурункулами, кашлем, порезами ног. Среди других вошел старик, типичный социал-демократ старой бебелевской гвардии.

– А, пришел старик! Ложись, ложись живей! – заорал диким голосом карикатурный карлик.

Старик жалко ухмыльнулся. Подойдя к изломанной дырявой кушетке, спустил штаны и лег животом вниз. Бормоча что-то под нос, санитар достал из аптечки пузырек и, подойдя к полуголому старику, стал лить ему на спину около седалища белую жидкость и растирать ему поясницу. Но это все только для вида. Хлопнув старика по заду, карлик через минуту крикнул: – Вставай, старик! Отправляйся!

Старик, жалко и странно улыбаясь, подтянул гашник штанов и пошел из амбулатории.

Опять стук в дверь. На одной ноге, поджав другую, впрыгнул лет шестнадцати еврей-мальчик. Мальчишка гвоздем распорол ногу, корчился от боли. На глазах выступили слезы, вероятно больше от страха предстоящего приема.

– Что там еще, еврей, а? – загремело в амбулатории. – Что у тебя? Ногу сам себе отрезал, чтоб не работать?

– Гвоздем... наступил... – пробормотал мальчишка.

– Садись, садись, давай, давай ногу, не отрежу, не бойся!– кричал карлик и, осмотрев рану, оставил мальчишку сидеть

на скамье, а сам пошел к аптечке. Вокруг мальчишки, глядя на ногу, которую он держал в руках так, как приказал карлик, встали два вошедших санитара. Карлик подошел с бутылкой йода и ватой.

– Не плачь, еврей, а то ногу отрежу!

И жирно намочив йодом вату, держа мальчишкину ногу, он вложил ее в распоротое место. Мальчишка извивался, корчился, но ногу из рук санитара вырвать не посмел. Карлик сидел к нему спиной, другие санитары, поняв шутку, глянули на карлика. Мальчишка кряхтел, сдерживаясь изо всех сил, чтоб не заплакать, но вдруг у него из глаз как-то «брызнули» слезы. А ногу рвануть из рук гитлеровца так и не посмел. Глянув на мальчишку и подмигнув санитарам, карлик проговорил:

– Видали еврейскую «пропаганду ужасов»? – потом вынул вату из раны. – Лети, еврей, пулей, все прошло!

Плачущий мальчишка, утираясь рукавом, заковылял из амбулатории. Когда захлопнулась дверь, карлик захохотал: – Пусть потерпит, еврей! Пусть потерпит!

Арестованные прибывают

К вечеру в лагерь въехали новые грузовики с арестованными. В сумерках долго барахтались в воротах тяжелые, затянутые тентом зеленые машины. На дворе, задрожав, остановились. Окружившие их караульные откинули заднюю стенку, и на землю стали спрыгивать сначала до зубов вооруженные конвоиры-штурмовики, а за ними разнообразно одетые пожилые, молодые арестованные.

– Темпо! Тут тебе не твоя гостиная! Темпо! – и арестованные с чемоданчиками, узелками, свертками бегут, строясь в шеренгу.

Я понимал, что грубая, с ругательствами, издевательствами, угрозами встреча новых арестованных была – «системой воспитания», «устрашения».

Из главного здания вышел комендант, штурмбанфюрер Франц Крюгер, высоченный, худой, по-обезьяньи гибкий, с маленькой головой, почти без лба, узкими, прищуренными глазами и красноватым лицом. Крюгер – гроза лагеря. Он здесь жил, ел, спал.

При его приближении строй арестованных замер, как должно. Покачиваясь на длинных аистовых ногах в коричневых галифе и высоких сапогах, Крюгер стал пристально рассматривать отданных в его полную власть привезенных. Одним бросал отрывочно угрозы, перед некоторыми у самого лица грозил кулаком. И наконец приказал – разводить!

Часть отделили, повели в главное здание, а человек шесть отвели в сторону.

– Этих в «бункер!», – крикнул Крюгер. («Бункеры» – крошечные одиночные камеры, без окон, в каменном здании во дворе. Туда помешали завзятых «врагов народа».) Мальчишки-гитлеровцы повели первого, смуглого рабочего в синей блузе, синих штанах, остановили у каменного клозета, открыли смежную с клозетом дверь темного «бункера», и видно было, как неуверенно и неверно шагнул в темноту человек. Дверь замкнули железным засовом, и гитлеровец перед дверью махнул кулаком: «Ну, мол, попадет тебе, парень!»

На камнях у стены завода, не переговариваясь между собой, в ожидании проверки сидела группа человек в тридцать юношей и мальчиков лет четырнадцати–восемнадцати, по внешности евреев. По свистку они быстро стали строиться. Все одеты оборванно, грязно. Это было еврейское сельскохозяйственное училище из Вольцига. Всех тридцать шесть человек захватили вместе с учителями, учителей отвезли куда-то еще, а учеников – сюда. Эта еврейская молодежь была от-

делена от других арестованных, им запрещалось общаться с «не евреями». Они мыли автомобили гитлеровцев, работали по уборке лагеря. За «провинности» их наказывали довольно жестоко.

Как-то на вечерней поверке из еврейской группы труп-фюрер отделил двух и приказал им бегать по двору, описывая в беге большой круг. Два мальчика лет шестнадцати начали бег по булыжникам двора, а трупфюрер сел у стены. Когда мальчики стали уставать, трупфюрер встал, и началась «игра».

– Быстрей, евреи! – и поток ругательств.

С мальчишек лил пот, они уж не могли бежать, задыхались, выбившись из сил от падений, скоропалительных вскакиваний, бега. Сидя у стены, на них сочувственно глядели товарищи. Но игра продолжалась. И только когда трупфюрер увидел, что бег действительно уже невозможен, мальчишки качаются, падают, задыхаются, – была подана команда: «Смирно!» – и мальчики, тяжело дыша, замерли, как истуканы.

Выслушав новый поток ругательных угроз трупфюрера, провинившиеся «враги народа» наконец отпущены по команде: «Разойдись!»

Взвешивание

В амбулатории стояли крик и ругань.

– Штурмбанфюрер приказал, чтобы всех взвешивать! – разорялся карлик-санитар. Старший санитар сопротивлялся, он хотел взвешивать только вновь прибывающих, но карлик побежал к штурмбанфюреру Шеферу, и получилось приказание: взвешивать всех, и прежних заключенных, и вновь прибывших. Я сидел в амбулатории, пытаясь читать данную мне старшим санитаром книгу: повесть доктора Ф. Хейма из

жизни великосветского Петербурга 30-х годов «Die Flucht aus dem Irrenhause», издание 1858 года. Но читать не мог, только делал вид, что читаю.

Взвешивание членов рейхстага, ландтага, рабочих, интеллигентов, чиновников, юношей-евреев шло под ругань, брань, угрозы, под взмахи кулаков. Арестованные стояли длинной шеренгой. В разграфленные ведомости карлик-санитар записывал имя, фамилию, год рождения, адрес. Заключенные стояли по-солдатски, «смирно», каблуки вместе, руки по швам.

– Громче! Еще! Повтори! Я для тебя громкоговоритель не принес! Скидывай ботинки! На весы! Живва!

Каждый торопливо сбрасывает ботинки, рысью бежит к весам, там карикатурный карлик в громадных сапогах взвешивает их и оглушительно кричит вес, а другой санитар записывает в графу. В этом крике и хамстве один старик врезался мне в память. Согнутый, ширококостный, лет семидесяти, он отвечал на вопросы тихим голосом. За это на него обрушился такой каскад ругательств, что старик остолбенел, как-то заметался, этого не передашь, надо было видеть лицо этого степенного, солидного старика, который в своей стране вдруг оказался «врагом народа», и сейчас с ним могут сделать здесь все что угодно.

Старик пытался все же сказать, что он не может громко говорить, он отравлен газами на войне, но объяснений не слушали, обдавая потоками унизительной ругани. И вдруг старик схватился за грудь и, как ребенок, беспомощно и страшно зарыдал на всю комнату, вздрагивающими, громкими рыданиями. Его плач был столь выразителен и неожидан, что даже санитары переглянулись, и под продолжающейся грубостью карлик заговорил другим тоном.

– Ну-ну, если болен, приходи, вылечим...

– Кончены старые? Евреев давай! – прокричал один из санитаров. И когда ввалились в комнату все тридцать шесть человек еврейской молодежи – поднялся гитлеровский крик:

– Вы, евреи! Не шуметь! К стенке поставлю! Расстреляю! – кричал карлик.

Первому, плотному мальчишке лет семнадцати, карлик повелительно крикнул:

– Имя? Как? Повтори! – заставляя несколько раз повторять трудное еврейское имя. И опросив по всем пунктам опросника, не поворачивая головы, вдруг бросил: – Штаны снимай! – Мальчишка остановился в недоумении. Другие переглянулись, не понимая, шутка это иль приказание? Они знали, что при взвешивании снимают ботинки, но, оказывается, для евреев понадобилось более точное взвешивание – без штанов.

– Не слышишь, еврей, что говорю?! Штаны снимай! – гаркнули уже в два голоса гитлеровцы. И мальчишка с смущенным, покрасневшим лицом быстро скинул штаны и, шлепая босыми ногами по полу, пошел в короткой рубахе к весам. Взвешивающий его карлик сделал необычайно серьезное выражение лица, подробно рассматривая ставшего на весы полуголого мальчишку.

Один за другим сбрасывали штаны, полуголые подходили к весам евреи. Двое стояли в трусиках. Ближайший, готовясь сбросить уж и трусы, спросил: «Снимать трусики?» Но карлик повернулся к нему грозным лицом, смерил взглядом с головы до ног, словно не понимая. Так выдержал он с минуту, потом тихо пробормотал: «Оставайся в трусах. На весы! Живва!»

Санитары уставали взвешивать, кричали злей, грубей, отпускали соленые остроты. В амбулатории текла бесконечная вереница немцев разных возрастов и социальных положений. В партии из Дессау то и дело слышалось: «Член рейхстага, член ландтага, амтсгерихтсрат, штадтферорднетер».

– Фамилия! – гаркнул на одного от труда писания уставший, малограмотный карлик.

– Зегер, член рейхстага.

«А это социалист-пасифист Зегер», – разглядывал я блондина среднего роста, чьи статьи когда-то читал. Теперь под окрики карлика Зегер торопился снять ботинки. Что тут «член рейхстага», упорный многолетний труд, образованность, культура. Адольф Гитлер сказал: «Храбрый дурак ценнее, чем десять человек, испорченных интеллектуализмом».

И взвешивают, и кричат, как на свиней, на всех этих «предателей немецкой нации». Но это цветики, а ягодки будут наверху, в комнате № 16, на допросах у Франца Крюгера.

Атмосферу скотских окриков в амбулатории разрядил хохот над болезненно толстым арестованным, с женственным лицом и громадной шевелюрой кудрявых волос. Когда он ступил на весы, взрывом хохота разразились гитлеровцы. Под толстым человеком стрелка весов пригнулась куда-то к самому концу. На взвешивавшегося посыпались сальные остроты. Но он даже не улыбнулся такому веселью. Я запамятовал его фамилию, твердо помню, что это был член прусского ландтага и, кажется, еврей, что тут, за исключением тридцати шести мальчиков из Вольцигз, было редко.

Именно поэтому в тот же день, когда один арестованный, слесарь из Бернбургз, назвал свою фамилию – Мозес, – гитлеровец тут же вскрикнул: «Еврей?!» И с перекошенным лицом человек ответил: «Крещеный...»

Штурмфюрер Нессенс

Я ясно понимал, что никакого «рассмотрения» дела о моем романе нет. А время шло и шло. Меня уже дважды останавливал на дворе крайне неприятный небольшой человек в хорошем штатском костюме. Худой блондин, с пронзительно стеклянными глазами, он был единственный в лагере, кто но-

сил штатское. Тонкий нос, как нож, на узком, словно напудренном, лице придавал ему вид птицы. Довольно хищной. Разговаривая, он не глядел на вас, а как-то накоротке хватал вас острым взглядом. Его молочно-розовое лицо то и дело дергалось, и он слегка заикался.

Первый раз совершенно неожиданно он остановил меня на дворе и проговорил по-французски:

– Parlez-vous français?

– Oui, je parle.

Этим патологическим человеком вопрос был брошен конечно, неспроста. «А не французский ли я шпион?» В концлагере цветет какая угодно фантастика. Я знал, что люди сидят тут по самым невероятным доносам.

Хищный человек всегда с опущенной головой, с танцующей походкой был штурмфюрер Нессенс – следователь концлагеря. Стало быть, тот, кто допрашивает арестованных. Это по его вызовам то и дело ведут заключенных на третий этаж в комнату № 16. Через несколько дней после того, как Нессенс заговорил со мной по-французски, я убедился, что он самый страшный человек в лагере.

Я сталкивался с Нессенсом на дворе, ловил на себе его короткие злые взгляды. Я понимал, ему не нравится, что я иностранец, что помещен в амбулаторию, что полусвободно хожу на луг, на двор, что за мной нет никакого обвинения, по которому он мог бы меня «допросить» в комнате № 16. Для людей типа Нессенса невиновных нет, все должны быть виновны. Интересную статью (воспоминания о пресловутом «знаменитом» Берте Брехте) написал его друг американский профессор Сидней Хук. Коммунист Берт Брехт пришел к нему в Нью-Йорке. Сидней Хук спросил его, как он относится к московским процессам и казням ни в чем не повинных людей. Брехт ответил: «Чем больше они невиновны, тем больше

они виноваты». Хук подал ему пальто и шляпу, и больше они не виделись.

Формула коммуниста Брехта, вероятно, вполне разделялась национал-социалистом Нессенсом. Ведь при всей разнице в «идеологической болтологии» Ленина и Гитлера *суть дела* тех и других партийцев (ленинцев и гитлеровцев) была одна. Это люди одной и той же психологии, одного и того же тонуса.

Ко мне в амбулаторию вошел Нессенс.

– Вы должны перейти наверх в камеру, – проговорил он, – в амбулатории не должны находиться арестованные.

Я понимал: если меня переведут в общую камеру, я подпаду под все правила лагерной жизни, и Нессенс назавтра поставит меня в строй, трупфюрер заставит делать приседания, а может быть, и бегать по двору. И я решил оказать какое угодно сопротивление.

– Герр Нессенс, – ответил я, – я арестован без всякой вины. Это, вероятно, вы знаете. Привезший меня жандарм сказал, что начальник лагеря не хотел даже принимать меня в лагерь, поэтому я и помещен в амбулаторию.

– В амбулатории мы вас держать не можем. Вы будете помещены в приличную камеру вдвоем с одним арестованным. Что вы хотите? Я не читал вашей книги, и дело о ней разберется, а пока вы арестант и ничего больше, – и вдруг с какой-то садистической полуулыбкой-полуоскалом Нессенс добавил: – Поверьте, если б вас арестовали в Берлине и вы бы сидели, скажем, на Папештрассе, к вам бы отнеслись не сколько иначе...

Я знал, какие слухи ходили об избиениях и убийствах в созданной гитлеровцами тюрьме на Папештрассе. Нессенс пригласил меня идти с ним наверх в канцелярию. Я пошел. В канцелярии работали два гитлеровца и два арестованных: еврей лет восемнадцати Барон (с которым на лугу мне раз

удалось поговорить), худой, оборванный, стучал одним пальцем на пишущей машинке диктуемые гитлеровцем приказы, а пожилой человек, по фамилии Фуке, бывший член городского самоуправления из городка Бернау, раскладывал какие-то бумаги.

Войдя, Нессенс проговорил:

– Фуке! Вот этот господин будет жить вместе с вами. Покажите ему место, и он сейчас перейдет к вам. Понимаете?

– Так точно! – по-солдатски вскочив, проговорил Фуке.

Нессенс вышел.

Может быть, это излишняя подозрительность, но внешность герра Фуке не внушила мне доверия. Брюнет, с завитыми усами, Фуке был больше похож на полицейского, чем на городского советника. К тому ж мне показалось, что как-то чересчур уж выразительно глядел на него Нессенс и чересчур надавил на слово «понимаете». «Наседку», что ли, подсаживают? – подумал я. В обстановке лагеря все казалось подозрительным. А я, как русский, прошедший школу нашей революции, был особенно начеку. Ведь достаточно пооткровенничать с каким-нибудь герром Фуке в своей камере, сказав два слова о том, что ты не в восторге от новой Германии, и Нессенс оставит тебя в лагере уже на «совершенно законном» основании.

– Герр Нессенс сказал мне, что вы один в камере? – спросил я Фуке, когда мы шли по коридору.

– Один? – Фуке мрачно засмеялся, – в камере двадцать девять человек!

Я ничего не ответил, но *твердокаменно* решил: пусть меня в эту камеру сажают силой, с избиениями, как угодно, но добровольно перейти на общеарестантское положение – не перейду. Когда ж герр фуке открыл дверь камеры, из которой при нашем приближении слышался неясный гул голосов, я внутренне ахнул. Комната-камера не больше пяти

шагов в длину, шага четыре в ширину, посредине небольшое пустое место, весь пол забран низкой деревянной загородкой, за которой настелена солома, и на соломе, один к другому, сидят человек тридцать грязных, измученных арестантов. Меня и Фуке встретили молчанием.

– Вот здесь есть место, – проговорил Фуке, указывая на место у двери, на котором не только уж вдвоем, а одному-то нельзя было бы поместиться.

Я не сказал ни слова. Мы вышли. Я спустился во двор. Возле амбулатории стояли Нессенс, Шефер и санитар. Я подошел к Нессенсу.

– Герр фуке показал мне камеру, герр Нессенс. Вы сказали, что я буду помещен в камеру вдвоем с Фуке, а это общая камера, в которую я добровольно не пойду.

– То есть как не пойдете? – вспыхнул Нессенс.

– Мой арест является недоразумением. Как эмигрант, я нахожусь под покровительством Лиги Наций. По всему этому я считаю себя вправе не идти на общее положение заключенных.

– В амбулатории мы держать вас не будем!

– Поместите куда угодно, хоть в «бункер», но в общую камеру я добровольно не пойду.

– Шефер мельком взглянул на меня и, повернувшись к Нессенсу, бормотнул:

– Пусть положит свой соломенный тюфяк в проходной комнате, рядом с амбулаторией, и спит там.

– Пусть, – недовольно проговорил Нессенс.

Я перетащил свой тюфяк в угол большой полупустой проходной комнаты и поместился в сыром углу, за загородкой, у окна. Сев на мешок, я ощущал «победу», как будто дело выиграл, от Нессенса отбился. К тому ж в Берлине Олечкой уже предприняты шаги, и я надеялся, что скоро бу-

ду свободен. Но я понимал, что Нессенс, *со своей точки зрения,* конечно, прав, удалив меня из амбулатории.

Как раз в последний день в амбулатории мне пришлось увидеть жуткое дело. Среди дня двое санитаров внесли молодого человека, по одежде рабочего; вид его был ужасен, он был без сознания, мычал, стонал, лицо было темно-синее. Его положили в амбулатории на кушетку. Старший санитар пытался дать ему воды, но рта ему открыть не мог. Вдруг, стоная, вскрикивая, мыча, как от сильной внутренней боли, молодой человек забился, заметался в бессознании и с грохотом упал на пол. Санитары стали его поднимать. А старший пошел вызывать по телефону карету скорой помощи.

А два дня назад я видел этого молодого, сильного рабочего совершенно здоровым в партии привезенных из Дессау. Что же с ним сделали в комнате № 16 Крюгер и Нессенс? Это я узнал, когда через некоторое время въехал во двор санитарный автомобиль и санитары вынесли умиравшего молодого рабочего.

Я сидел в это время возле здания. Около – мыли автомобиль два арестованных, и на вопрос одного другой тихо проговорил: «Из нашей партии, в комнате № 16 «допросили»... пять часов «допрашивали»...»

Крюгер и Нессенс попросту убили этого молодого человека. Может быть, резиновыми палками, а может быть, еще как-нибудь.

Гусиная колодка

Рано утром в мою проходную комнату вошла баба-молочница, кряхтя от тяжести большущих бидонов молока. Эта смешная баба в круглых очках обратила на себя мое внимание еще в первый день ареста. Я видел, как она – и к месту и не к месту – ежеминутно поднимала руку, вскрикивая пе-

ред проходившими гитлеровцами: «Хейль Гитлер!», и те отвечали: «Хейль!». Это приветствие о лагере слышится повсюду, и повсюду руки взлетают римским приветствием. Но все же бабе-молочнице я удивился. Откуда, думал, достали такую гитлеровскую бабу?

На столе, рядом с моим соломенным ложем, баба устраивалась с бидонами, разливала молоко в приготовленные бутылки для Крюгера, Нессенса, для караульных гитлеровцев, для двух больных арестованных. С некоторым удивлением взглянула на меня пристально сквозь свои круглые очки и вдруг проговорила вполголоса:

– Тоже арестованный?

– Тоже.

И неожиданно эта «древняя германка», покачав головой, завздыхала, как настоящая русская баба, и с подлинным состраданием произнесла:

– Иххихи, что делается.

Но из амбулатории раздались шаги, вошел непроспавшийся карлик-санитар, и баба, тут же подтянувшись, бодро подняла римским приветствием руку, вскрикнув: «Хейль Гитлер!» – «Хейль», – спросонья пробормотал, полуподняв руку, карлик и, получив молоко, ушел в амбулаторию.

И снова из-под очков на меня соболезнующий бабин взгляд и «охи». Я купил у бабы литр молока. Давно уж (разве что на войне) не пил я с таким удовольствием свежее молоко, как сейчас из арестантской кружки в гитлеровском кацете.

– Муж безработный, двое детей, вот и бегаю сюда, – полушептала баба, – знакомые мои тоже тут сидят, ох, ох, ох, что с людьми делают. А за что? Кто им что сделал?

Но снова громыхнули гитлеровские сапоги и снова, подтянувшись, вскрикивает баба: «Хейль Гитлер!» – подымая свою закорузлую руку римским приветствием.

Я глядел на бабу. Эта баба с безработным мужем и двумя детьми была как бы воплощением народной Германии. Ведь ничего, кроме страха и насмерть скованного террором отчаяния, в ее римских приветствиях не было.

На другой день с бабой мы уже были друзья. Я опять получил кружку молока, пил, сидя на тюфяке, когда баба понесла молоко наверх к Крюгеру. Но когда вернулась, вид ее был перепуган, она бегло взглянула из-под очков, пугливо огляделась вокруг, полузакрыла лицо руками и зашептала в каком-то ужасе:

– Ах, ах, что с людьми делают, что делают, нет, лучше смерть, чем здесь., доску... доску... – залопотала она, показывая под подбородок. Но шумно вбежал караульный, и, отскочив от меня, баба снова вскрикнула: – Хейль Гитлер!

И тот на бегу пробормотал: «Хейль…»

Быстро собирая бидоны, бормоча что-то, баба, кивнув мне, выбежала из комнаты, и я видел, как уносила она, торопясь, ноги от проклятого места, на ходу приветствуя именем Гитлера встречных гитлеровцев.

Я понял, что в комнате Крюгера баба увидела допрашиваемых и увидела что-то страшное, испугавшее ее. Но что за «доска», о которой не успела договорить баба? Почему она показывала, под подбородок поднося руку? Я догадаться не мог. Через несколько дней разговор гитлеровцев о «гензебрет» заставил меня вспомнить рассказ перепуганной бабы. А когда я был выпушен из лагеря, я узнал тайну: мне рассказали, что при допросах национал-социалисты пользуются неким средневековым прибором – «гензебрет» – доской, надеваемой на шею сразу нескольким арестованным, как гусям на базаре. Эта доска и перепугала бедную очкастую молочницу.

Из моей проходной комнаты я все чаще уходил на большой луг, примыкавший к лагерю с тыла. Уходил, чтоб «от-

сутствовать» из лагеря. Заросшее травой пространство луга огорожено колючей проволокой. По линии проволоки навстречу друг другу прохаживались два вооруженных автоматами часовых. На лугу всегда сидело несколько неспособных к работе стариков. Один, истощенный как труп, хромал по лугу, опираясь на палку. Появлялся и зарыдавший в амбулатории старик, с ним всегда вместе лежал сильно кашлявший молодой рабочий, по виду в последнем градусе чахотки. Лежа, о чем-то тихо разговаривали парии «третьего царства».

С луга было видно: часть арестованных работала на крыше пятиэтажного заводского корпуса. Гремели листовым железом, крыли еще не достроенный корпус, а внизу докладывали, поправляли стены арестанты-каменщики. Возле работающих везде – неизменные вооруженные надсмотрщики. Но это работы, так сказать, «производительные». «Эй, не мешай, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму!» – писал когда-то давным-давно Брюсов. Других же арестованных комендант Крюгер назначал на особые «воспитательные» работы. Так, из одной партии арестованных Крюгер отобрал человек пятнадцать.

– Вычистить двор! Чтоб травинки не было! Пусть ножами вырезают! – кричал Крюгер. – И на корточках! На корточках!

И тут же все пятнадцать присели на корточки под палящим солнцем. И на этом ими же чисто-начисто выметенном булыжном дворе, сидя на корточках, перочинными ножиками стали «вырезать» меж булыжниками всякие «признаки травинок». Я умышленно прошел мимо них в клозет и видел их лица. Один попробовал было опуститься на колени, но гитлеровец тут же крикнул: «На корточки!» И снова толстый, старый человек, тяжело дыша под солнцем, присел, грозя разорвать надувшиеся брюки, и, выискивая травинки, стал вырезать их перочинным ножом.

Это не пустяки. Я видел их лица. Я видел, как убийственно действовала такая «работа». О ней писал еще Достоевский в «Записках из Мертвого дома»: «Мне пришло раз на мысль, что если б захотели вполне раздавить, уничтожить человека, наказать его самым ужасным наказанием, так что самый страшный убийца содрогнулся бы от этого наказания и пугался бы его заранее, то стоило бы только придать работе характер совершенной, полнейшей бесполезности и бессмыслицы. Если б заставить каторжника, например, переливать воду из одного ушата в другой, а из другого в первый, толочь песок, перетаскивать кучу земли с одного места на другое и обратно, – я думаю, арестант удавился бы через несколько дней или наделал бы тысячу преступлений, чтоб хоть умереть, да выйти из такого унижения, стыда и муки. Разумеется, такое наказание обратилось бы в пытку, в мщение и было бы бессмысленным, потому что не достигло бы никакой разумной цели».

В Ораниенбурге это и есть пытка и мщение «подлинных германцев» – «неподлинным», то есть, по-ленински, «врагам народа», насельникам концлагерей. У стены лагерного корпуса, на лугу, недалеко от меня молодой немец, по виду интеллигент, рыл громаднейшую яму, словно братскую могилу. Он взглянул на меня раз, два (арестованные понимают друг друга одним взглядом) и наконец чуть-чуть усмехнулся: «Видали, – мол, – чем занимаюсь?»

– Что это вы роете? – тихо спросил я.

– Вроде могилы что-то, – усмехнулся опять интеллигент.

А на другой день ему приказали так же быстро, без разгибу, закидывать вырытую за вчерашний день яму. Я уверен, что ни Крюгер, ни Нессенс, ни Шефер никогда не читали Достоевского. «Сами до этого дошли».

– Закидываете? – проговорил я тихо, ложась неподалеку от интеллигента.

– Упражнение, – усмехнулся он. И столько было злобы в этом слове и усмешке.

Другого интеллигента, высокого, типичного германца, блондина с острым, красивым лицом, по виду студента, труп-фюрер заставил накидывать на грузовик мусор.

– Чтоб в один день перекидал все, слышишь?!

– Так точно, герр труфпюрер!

И труфпюрер и типичный германец-интеллигент прекрасно знают, что этого мусора хватило бы на десять человек на десять дней. Но студент понимает, что работать надо весь день без разгибу, а то сядешь в темный вонючий «бункер», и кидает, кидает лопату за лопатой. Тут тебе не Гейдельбергский университет, не «Критика чистого разума». Гитлер, Геббельс, Геринг, Гиммлер, Ленин, Троцкий, Сталин, Свердлов[41] знают, как «воспитывать» народ.

---

[41] Если говорят о коммунистических палачах, обычно упоминают Ленина, Троцкого, Дзержинского, Сталина, Берия, Ягоду, Ежова, но очень редко Свердлова. Это несправедливо. В планированном, массовом человекоистреблении Я. М. Свердлов сыграл выдающуюся роль. В 1919 г., будучи главой советского государства и партийного аппарата, Свердлов подписал Постановление Организационного бюро ЦК РКП (б) об уничтожении казачества. Холоду и зверству этого документа мог бы позавидовать Гиммлер. В результате «постановления» – «в ряде станиц Дона было уничтожено до 80–90 процентов населения» (см. М. Бернштам. Стороны в гражданской войне 1917–22 гг. Вестник РСХД. Париж. № 128, 1979.). Свердловское уничтожение казачества как такового проводилось, конечно, не только на Дону. В зарубежной печати есть описание, как в Сибири, в Трехречье, в казачьем поселке Горбунор было уничтожено *все население, включая детей.* В свое время на это зверство в дальневосточном журнале «Рубеж» откликнулась стихотворением поэтесса Марина Веревкина: «Казачат расстреляли»:

Видно, ты уснула
Жалость человечья...
Почему молчишь ты,
Не пойму никак.
Знаю, не была ты

М. А. Алданов статью «Убийство Троцкого» (НЖ кн. I) начинает так: «Конрад Гейден в своей биографии Гитлера рассказывает: однажды фюрер за столом в тесном кругу спросил: Читали ли вы «Воспоминания Троцкого»? – Послышались ответы: «Да, отвратительная книга! Это мемуары сатаны!» – „Отвратительная? – переспросил Гитлер. – Блестящая книга! Какая у него голова! Я многому у него научился!“»

Биографу Гитлера Гейдену можно верить, что Гитлер сказал именно так. А Гитлеру надо верить, что он многому научился у Троцкого. Раушнинг в своей книге о Гитлере подтверждает, что фюрер говорил, что он *«многому научился у марксистов»*.

В наш век массовое истребление людей как метод властвования пришло от Ленина и его псевдонимов. Гитлер создал некий варьянт, умерщвляя людей не по «классовому» признаку, а по «расовому». Но суть дела – одна: людей убивали; люди умирали. Ленинцы убили больше людей, чем гитлеровцы. Гитлер убивал двенадцать лет, а ленинцы убивали и *убивают* шестьдесят четыре года. Причем размах ленинских убийств давно стал *всемирным*.

Я видел, как привезенного в лагерь, всего какого-то изваляннного, человека сначала заперли в клозет-бункер. Потом уж остриженного (в лагере всех стригут под ноль-ноль) ежедневно

В эти дни в Трехречье,
Там была жестокость,
Твой извечный враг.
Ах, беды не чаял
Беззащитный хутор…
Люди, не молчите –
Камни закричат.
Там из пулемета
Расстреляли утром
Милых, круглолицых,
Бойких казачат…

водили на допрос, а через несколько дней я столкнулся с ним у кухни, когда получал еду. Он ел, сидя на земле, у отпертой двери своего «бункера». Лицо – мертвенное, страдальческое, глаза заплыли, как от побоев, на лбу две большие ссадины. Это был уж не человек, а измученное животное. И стоявший рядом с ним гитлеровец, ждавший, чтоб его после еды опять запереть, так и глядел на него, как на животное.

«Объединение немецкого народа, о котором говорят национал-социалисты, иллюзорно!» – писал в своей газете генерал Людендорф. Но дело-то все в том, что Адольф Гитлер вовсе и не хочет объединения, он хочет *порабощения*. Он его и достиг, как Ленин и Сталин.

Доктор Гуго Менчель, партбилет № 4

По воскресеньям в концлагере – праздник: жены, матери, дети приходят к заключенным на свидание. А свидание в тюрьме – во всякой тюрьме – это чуть уловимое, целительное прикосновение к свободе. Родные люди приносят передачи. Для передач стоит громадный стол посередине двора. Воскресный лагерь *необычайно культурен.* С полдня на дворе гремит духовой оркестр. Оркестранты – толстые красношеие бюргеры – раньше, на вольном гуляньи в парке, были одеты в цилиндры и сюртуки. Теперь – в коричневых рубахах с хакенкрейцами на рукавах. Но оркестр гремит прекрасно военными маршами, особенно Баденвейлерским, любимым маршем «фюрера», под который в армии он маршировал ефрейтором. Барабанщик дубасит в большой барабан, стонут корнет-а-пистоны, взвизгивают флейты, разрывая воздух, бухают медные литавры. Музыка для заключенных в концлагере! До чего ж это культурно! И как до этого не дошли, не додумались «гениальный архитектор» системы коммунистических лагерей Нафталий Френкель, иль Генрих Ягода, или

сам Иосиф Виссарионович? А вот Гитлер и Гиммлер сразу додумались. Такому «нашему достижению» умилился бы Алексей Максимович Горький! Прослезился бы!

Олечка приходила ко мне каждое воскресенье. Мы могли говорить тридцать минут. Как все. Она приносила «передачи»: незатейливую еду, больше от соседей, друзей-немцев. Когда первый раз она, пройдя сквозь караульное помещение, вошла во двор, в этот «дантов ад», я ее ждал у стены главного здания. И, увидав меня, он пошла ко мне с хорошей, ласковой улыбкой (ободряющей). Но шла она (как мне показалось) не своей легкой походкой, а будто ноги ее приклеивались к булыжникам двора. Я ее обнял, поцеловал (это разрешалось заключенным), и мы, разговаривая, встали у стены.

В это время (я увидел) в лагерь вошел Шефер и как всегда быстро идет к главному зданию. Около нас вдруг остановился. «Это ваша жена?» – спросил. – «Да». Шефер вошел в главное здание, тут же вынес стул и, поставив его около Олечки, проговорил: – «Setzen Sie sish, gnädige Frau!» Видали? Какая любезность! Конечно, любезность.

На последнее свидание Олечка пришла радостная. И успела мне все рассказать об «успехе» в попытках моего освобождения. После моего ареста она металась по Берлину, пытаясь у кого-нибудь из знакомых узнать, что ей предпринять, чтоб поскорее вытащить меня из Ораниенбурга. И вот случайно узнала, что в Берлин из Парижа на несколько дней приехал Борис Исакович Элькин. Он, еврей, сразу после переворота благоразумно с семьей покинул «третий рейх», переехав во Францию. А сейчас приехал – ликвидировать квартиру и свои дела.

Б. И. Элькин кадет, верный «оруженосец» П. Н. Милюкова, в Берлине занимался адвокатской практикой, и кое-какие немецкие связи у него могли быть. Еще в 1921 году я встречал его у Станкевичей (они дружили давно, по Петербургу).

Олечка познакомилась с Б. И. в Тироле, когда Элькины приезжали на отдых в пансион к О. Л. Азаревич, с которой были хороши.

Принял Борис Исакович Олечку тепло. Когда она рассказала о моем аресте, ответил, что знает, читал в Париже в «Последних новостях» заметку на первой странице. (Заметка страшноватая: «арестован и заключен в концентрационный лагерь Ораниенбург писатель Роман Гуль», этот № «Поел, нов.» в моем архиве. – *Р. Г.*) Олечка рассказала Б. И., что мой брат писал обстоятельное объяснение прокурору, прося о вмешательстве, и такое же ландрату, но оба ответили, что дело это «вне их компетенции». Тут Б. И. махнул рукой: «Пустая потеря времени! Ведь никакой же *законности* сейчас нет. Действует – насилие. И прокурор и ландрат сами, наверное, трясутся, как бы не попасть им в тот же концлагерь!» – «Что же делать, Б. И.?» Б. И. сказал так: «Освободить Р. Б. можно только, найдя каких-то немцев, приличных гитлеровцев, это единственный путь. Есть у вас такие?» Олечка сказала, что пытался помочь приятель-немец из Фридрихсталя, электрик Минге. Раньше он был социал-демократ, потом ушел к национал-социалистам. Ездил в Ораниенбург хлопотать, но – безрезультатно. «Ну, это малая пешка, тут надо кого-нибудь покрупнее». Олечка сказала, что у нее были очень хорошие отношения с ее зубным врачом, доктором Гуго Менчелем, но она давно уж у него не была. Менчель – русский немец, говорит по-русски, как русский. У него всегда была пропасть русской клиентуры. Но до гитлеровского переворота никто не знал, что он – национал-социалист. А теперь узнали, что доктор Менчель – старый, видный гитлеровец. Тут Б. И. ожил, перебив Олечку: «Так чего ж вы к нему не пошли сразу? Ведь это как раз то, что нужно! Не теряйте времени, езжайте к этому вашему Менчелю, это единственный реальный путь...»

И Олечка поехала к своему давнему дантисту, доктору Гуго Менчелю на Кнезебекштрассе. Приехала во время приема. Но, увидев ее и спросив, в чем дело, Менчель сказал: «Подождите, Ольга Андреевна, у меня последний пациент, когда я его отпущу, мы поговорим». Последним пациентом оказался генерал А. А. фон Лампе, начальник РОВСа на Германию. Когда доктор отпустил генерала, он вошел к Ольге с улыбкой: «У меня в кабинете был Алексей Александрович фон Лампе и, знаете, когда я ему сказал, что ваш муж арестован и сидит в Ораниенбурге, Лампе ответил: «Так ему и надо!» Почему это?» Олечка объяснила Менчелю, почему этот господин из РОВСа мог так сказать. Добавлю, что генерал А. А. фон Лампе обо мне выразился сильно опрометчиво. Я просидел в Ораниенбурге двадцать один день и уехал во Францию. А вот когда гитлеровцы взяли этого генерала фон Лампе в тюрьму (кажется, на Папештрассе), он просидел, несмотря на хлопоты Менчеля, больше двух месяцев. И обращение с ним было настолько мрачное, а допросы настолько длительные и жестокие, что его не выпустили из тюрьмы даже на один день – проститься с умиравшей от туберкулеза дочерью. Вот как не стоит злорадствовать чужой беде – «своя награда». Но еще Достоевский писал, что в несчастии ближнего есть «нечто, веселящее глаз».

Менчель был на редкость добрый и отзывчивый человек. Когда Олечка все рассказала, он только упрекнул ее в одном: «Почему ж, Ольга Андреевна, вы не приехали ко мне сразу? Ведь я бы надел мундир со всеми регалиями и поехал бы прямо в гестапо. Под мое ручательство вашего мужа тут же бы отпустили. А теперь гораздо сложнее, на него завелось «дело», переписка всяческих инстанций... Но обещаю, завтра же утром в мундире и при регалиях поеду в гестапо и *ручаюсь*, что через неделю ваш муж будет на свободе. Как-никак

мой партийный билет № 4, а у Фюрера № 7 (может быть, № 8, не помню уж. – *Р. Г.*).

Обо всем этом на свидании Олечка мне и рассказала.

Чей это был брат

После воскресенья, в понедельник, концлагерь жил редко нервной жизнью. В лагерь въехало несколько грузовиков с арестованными. Через мою проходную комнату из «Главной кассы» гурьбой прошли торопившиеся гитлеровцы. Я слышал: «Пойдем... брата... привезли». Фамилию я не разобрал, но фраза заставила и меня подойти к окну.

На дворе стояли выстроившиеся новые арестанты. К ним шел Крюгер, на ходу закричавший: «Здесь такой-то?» (фамилию я опять не разобрал. – *Р. Г.*). Из первого ряда арестованных сделал шаг молодой человек.

– Назад, в строй! – заорал Крюгер. Это был один из приемов: вызвать по фамилии и, когда арестованный невольно делал шаг, кричать на него, обрушиваясь дикой грубостью.

Встав прямо против арестованного, Крюгер качал осыпать его угрозами. Это и был «чей-то брат», либо видного социал-демократа, либо рейхсбаннера, либо коммуниста. Под криками Крюгера он должен был стоять «смирно». Шатен, широкоплечий, с типично немецким круглым лицом, интеллигент, по виду лет двадцати двух. Хорошо одет, коричневый пиджак, спортивное кепи, «пумпхозен», чулки и, на что я случайно обратил внимание, на ногах – красные туфли, именно такие, какие я люблю, без каблука с сквозной подметкой. В руках – картонная коробка с надписью фирмы «Хинкель».

Меня поразил контраст его корректного вида и бешеной ненависти, которую он вызывал у Крюгера и собравшихся национал-социалистов.

– Nna, Sie kriegen Feuer bei uns! – угрожающе бросил Крюгер молодому человеку.

Я отошел от окна, но до меня вскоре долетел новый крик Крюгера:

– ...посмотрим, как бегает…

Я подошел к окну. «Чей-то брат» бежал по булыжному двору что есть силы. Но был сыроват, и Крюгер махнул одному из гитлеровцев:

– Наддай!

Под смех караульных здоровенный солдат бросился за арестованным и, нагнав, из бегу, изо всех сил стал наносить удары кулаком в спину, в затылок. Казалось под ударами молодой человек упадет, но нет, он держался, стараясь бежать что было духу.

– Назад! – скомандовал Крюгер.

Молодой человек на бегу повернулся. Сейчас все видели его лицо. Оно было будто сведено судорогой, как у притащенного на бойню, уже не упирающегося животного, на нем – и ожидание удара сзади, и выражение полной беззащитности. На глазах всех он бежал прямо на Крюгера. И наконец по команде встал, задохнувшись, перед ним.

– В «бункер»! – крикнул Крюгер. И собравшего свои вещи «чьего-то брата» повели в одиночку, в «бункер».

Часа через два я видел, как гитлеровец быстро вел его к Крюгеру на «допрос». Молодой человек на ходу ладонью отряхивал пиджак. По испачканной спине было явно, что в «бункере» он лежал на полу. Меня интересовало: чей же он брат, если встречен такой злобой?

– Вечером, поужинав кружкой кофе с куском хлеба, я сидел возле главного здания. Из караульного помещения в лагерь вошел Нессенс. И остановился среди кучки караульных гитлеровцев.

– Мне в Берлине сказали, сюда пришлют брата (и снова, как я ни напряг слух, фамилии не расслышал)... Привезли его?

– Так точно, герр штурмфюрер!

– Приведите-ка его ко мне! – произнес Нессенс, выходя из круга гитлеровцев.

Было ясно, Нессенс вызывал «на допрос» «чьего-то брата». И факт, что даже в Берлине ему говорили о «чьем-то брате», был подтверждением, что арестованный – брат крупного противника национал-социалистов.

Гитлеровец вывел «чьего-то брата» из «бункера». Они шли быстро. А Нессенс прохаживался возле караульного помещения, опустив голову. В двух шагах от Нессенса арестованный встал руки по швам. Нессенс взглянул на него, тихо сказав: «Пойдемте ко мне», – и пошел в главное здание, арестованный за ним. Они прошли через мою проходную комнату в «Главную кассу». Я выждал несколько минут. Потом тихо пошел к себе. Судьба этого человека меня волновала. Не успел я дойти до своего соломенного тюфяка, как услышал несущиеся из «Главной кассы» неистовые крики Нессенса: «Что?! Что?! Что?!» – и было слышно, как один за другим сыпались удары. По звуку казалось: Нессенс бьет по лицу, и в ответ его исступленным крикам раздавалось какое-то странное полумычание.

Я лег на свой мешок. Крики Нессенса становились дики. Вместе с ударами пошла какая-то возня. Оставаться в комнате я не мог. Стараясь не показать вида стоявшим возле здания гитлеровцам, я вышел и сел далеко от них, на лугу. Вдруг раздался резкий шум отброшенный двери, быстрые шаги, из здания выбежал Нессенс; он даже не взглянул на солдат, пробежал в караульное помещение и тут же побежал назад с резиновой палкой в руках. Стало быть, избитый ждал его. Устав бить кулаком, Нессенс схватил теперь резиновую палку.

Вскоре солдаты разошлись кто куда. Одни – в караульное помещение, другие наверх – к Крюгеру. Я не мог решить: входить мне в проходную комнату или нет? На дворе стемнело. Посидев еще минут пять, я попробовал войти, но оставаться в комнате я не мог. В «Главной кассе» шла возня, с хрипами, мычанием, было ясно: Нессенс его убивает. Деваться мне было некуда. Единственное место – клозет. Арестованные сейчас уже в помещении. Я пересек пустой двор. В клозете – ни одного человека. Я остановился в одном из отделений прямо против окошечка, выходящего на главное здание. Я ждал: выведут ли изуродованного арестованного «чьего-то брата», поведут ли в «бункер» или не выведут (стало быть – убит).

Я простоял минут пятнадцать. Наконец из двери главного здания быстро, мелкими шажками вышел Нессенс, на нем было штатское пальто внакидку, через караульное помещение он, очевидно, вышел на улицу.

Подождав немного, я пересек двор, вошел в проходную комнату, взглянул на дверь «Главной кассы» – полная тишина. Я лег на свой тюфяк. Было темно, тихо. В окне – легкий серп луны. Арестованные спали. Мимо моей загородки в «Главную кассу» прошел телефонист. Я думал: заперта ли дверь? Нет, он свободно отворил ее и даже оставил полуоткрытой. Стало быть, «чьего-то брата» не оставили там.

Я прикрылся одеялом, закрыл глаза, долго неподвижно лежал, слушая то смех и взвизги возле решетки лагеря девиц, пришедших в темноте к уставшим от своей службы гитлеровцам, то – тихие звуки гармоньи. Гармонист выбивал одно и то же, отчетливо: «Знамена ввысь! Ряды сомкнуты крепко!».

Я думал о «чьем-то брате». Представлял себе его мать. Вероятно – сырая, крупная немка. Этой ночью думает о сыне. Если у арестованного есть старший, известный брат, стало быть, она пожилая женщина. И эта мать, как тысячи немец-

ких матерей, сейчас не спит, волнуясь за жизнь своего сына в лагере и еще не зная, что он уже мертв, изуродован, валяется на полу темной комнаты...

Гармонья оборвалась. Кто-то, напевая, прошел по двору. И вдруг с улицы донеслись гудки и шум приближающегося грузовика. У ворот гудок заревел беспрерывно, пронзительно. В караулке заметались, было слышно, как открыли ворота. Грузовик въехал, с грузовика спрыгивали люди, потом раздался голос начальника лагеря Шефера, отдававший какие-то приказания.

На дворе вспыхнуло электричество, и кто-то шумно вбежал в амбулаторию, а двое прошли в «Главную кассу». Я лежал, прикрывшись одеялом так, чтоб в случае, если в проходной комнате зажгут электричество, думали б, что я сплю. Сознание работало остро, нервы отвечали на каждый шум, звук. Я слышал, как на ходу, с кем-то разговаривая, Шефер со двора прошел в амбулаторию, вошел в сопровождении многих людей. Из амбулатории донеслись возня, с грохотом тащили что-то тяжелое. Я подумал: из соседней комнаты (между «Главной кассой» и амбулаторией) тащат либо связанного, изуродованного, либо убитого Нессенсом «чьего-то брата». Вдруг это тяжелое с сильным грохотом бросили на пол. И после короткой паузы раздался с усмешкой голос Шефера:

– Kinder! Wie habt Ihr ihn beschmuzt! Ребята! Как вы его измазали!

Ясно: Шеферу показывают труп убитого «чьего-то брата».

Последний день в лагере

Утром, потягиваясь, умывались у кранов гитлеровцы. Так же строились на дворе арестованные. Прошли вольцигские евреи – мыть приехавшие за ночь автомобили. Небо над ла-

герем – лазурное. Солнце – золотое, поднимается быстро, обещая жаркий день. И никто из арестованных не знает, что ночью Нессенс забил насмерть «чьего-то брата».

Встал и я. После бессонной ночи чувствовал разламывающую усталость. Умывшись на дворе, вместе с приведенным из «бункера» арестантом, я взял у разносившего с кухни все того же «кругленького» арестанта свою чашку ячменного кофе. После кофе решил войти в амбулаторию, куда заходил иногда к старшему санитару за добавочной чашкой кофе. Мне хотелось, хоть мельком, взглянуть: ведь что-нибудь да должно остаться в амбулатории от ушедшей ночи? Подошел к амбулатории. Торкнулся, но дверь неожиданно заперта. Изнутри крик карлика: «Нельзя!» И я видел, как на прием к санитарам тщетно торкались арестанты и уходили ни с чем.

Только после обеда дверь амбулатории открылась. Я решил зайти к старшему санитару «за карандашом» (мы имели право писать родным открытки с штампом концлагеря Ораниенбург). Вошел. Старший санитар сидел, пиша, у стола. Пол полусарайной комнаты свежевымыт, некрашеные доски еще сыры; посреди комнаты – большое, сырое от воды, темное пятно. Я подумал: кровь?

Спросил карандаш. Санитар, не отрываясь, подал мне, и, медленно уходя, я обвел амбулаторию взглядом: все как всегда, но вдруг в глаза бросились: меж кафельной печкой и кушеткой стоят красные ботинки со сквозной подметкой. А на санитарской полке вместе с другими вещами коробка с надписью «Хинкель». Ботинки и коробка с вещами достались «победителям»?

Сидеть в проходной было невыносимо. Я ушел на дальний луг, где лежали больные старики-арестованные, а посредине маршировали в шереножном учении сменившиеся с караула гитлеровцы. Лег в самом дальнем углу. Вскоре сели поблизости два вольцигских мальчика-еврея лет по пятна-

дцать. Один вытащил из кармана рекламы от папирос (портреты киноартистов) и, советуясь с товарищем, стал сортировать эти картинки.

– Что это у вас? – спросил я.

Он чуть смущенно проговорил:

– Артисты. Только это не я собираю, это – товарищ. А я собираю – аэропланы.

Недурные арестанты, думал я, собирающие «артистов» и «аэропланы», а ведь сидят уже с месяц, виноватые в том, что – евреи. Вскоре на луг пришла партия «новеньких» арестованных. Среди них выделялся громаднейшего, почти гигантского роста животастый, бритый старик с остатком седо-рыжих волос бобриком. Лет шестидесяти пяти, добротно одет, типичный парламентарий и, если угодно, «бонза». На лугу, обнесенном колючей проволокой, на старика было жалко смотреть. Явно привыкший к достатку, к хорошим креслам, к дивану своего кабинета, он как-то сторонился полуголых в этой жаре арестованных. В тугом воротничке, с хорошим галстуком, словно в «накрахмаленном», темном костюме, он стоял посреди луга, как топором ошарашенный мастадонт, явно не решаясь сесть на траву. В этой партии было много интеллигентов; какой-то изящный, богемистый молодой человек, вероятно, больной, не снимавший в эту жару пальто, постоянно кашлявший.

Я лежал, глядя то на арестованных, то на круживших в небе разноцветной стаей чьих-то голубей, то на ораниенбургскую тихую церковь, то на проходивших по улице, невольно останавливавшихся у лагерной проволоки людей. Но проминавшийся по линии решетки часовой окрикивал всякого зазевавшегося: «Останавливаться запрещено!» – и они ускоряли шаг, уже не оглядываясь.

Когда я вернулся в проходную комнату перед «обедом», ко мне подошел старший санитар. И сказал, что из Берлина

приехал чиновник, звонил по моему делу раз шесть, и меня, вероятно, сегодня выпустят.

– Он ругался, говорит, безобразие! Человека зря держите! – засмеялся санитар. Этот санитар был неплохой мужик; машинный, прусский солдат, но не злой.

Я понял, что партбилет № 4, мундир и регалии доктора Менчеля добились моего освобождения. Действительно, вскоре ко мне вошел этот чин из Берлина. Он был совершенно не похож на лагерное начальство. Высокий, в штатском (видно, дорогом) костюме. Прекрасные манеры. «Вполне светский». Такие обычны в министерствах иностранных дел. Но джентльмен, я думаю, все же был из гестапо. Рассматривая меня, как мне казалось, «не без интереса» (русский! писатель! эмигрант!), чин проговорил: «Ваш арест выяснен. Это недоразумение. Пакуйте вещи и отправляйтесь домой! Но если вы нам понадобитесь – мы знаем ваш адрес». Угроза была не совсем джентльменская, но, вероятно, это – «стандартное напутствие».

На клочке бумаги джентльмен написал записку, с которой я пошел на третий этаж, в канцелярию. Там – обычное столпотворение. К двум столам тянулись очереди только что привезенных арестантов.

Прежде чем выдать мне пропуск, гитлеровец Цигельаш вынул из картотеки мое «дело», и я наконец увидел свою фотографию работы вахмистра Геншеля. Это было жуткое изображение. Бегло просмотрев мои бумаги, Цигельаш протянул бланк с печатным текстом: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь никогда, ни устно, ни письменно не выступать против настоящего правительства Германии, а также свидетельствую, что со мной в лагере было самое хорошее обращение и никаких претензий к администрации лагеря я предъявить не могу».

Такие бланки при освобождении подписывают все (кроме убитых). Не дочитав текст, я подписал и получил пропуск – «Der Roman Goul kann das Lager verlassen», печать, подпись. Мне особенно понравилось это «Der». С чувством внезапного выздоровления после тяжелой болезни я быстро спускался вниз по лестнице.

– Вы куда? – передо мной поднимающийся на третий этаж Нессенс (видимо, увидал в руке у меня бумажку).

– Я освобожден, – и не задерживаясь, я спустился вниз. А вверх по лестнице, друг другу в затылок, поднимались новые арестанты.

Идут бараны в ряд,
Бьют барабаны!
Шкуру для них дают
Сами бараны!

На свободе

Дома, за первым же чаем, я рассказал о лагере, «чему свидетелем Господь меня поставил»: как истязают, пытают, убивают. От рассказа об убийстве «чьего-то брата» жене Сережи стало дурно, у нее началась рвота. Вся семья рассказом была *потрясена:* в деревне ходили туманные слухи, что Ораниенбург – не «пансион для благородных девиц». Но слухи слухами. А *факты – фактами.*

Вся деревня, конечно, сразу узнала о моем освобождении. Новости тут ходят от двери к двери. Некоторые, как фрау Курт, владелица деревенской лавочки, с которой мы многолетне дружили, встретила меня сдержанно: перестраховывалась. И я ее понял: муж, дети, лавка, лучше подальше от «этого русского», Бог его знает, что там такое. Были, правда, и не пугавшиеся меня немцы, но это всё старые люди. С инженером Профе я столкнулся у нашего дома, он (бывший соци-

ал-демократ) шел куда-то с хакенкрейцевой повязкой на рукаве. Поздоровались дружески. «Вступили в партию, герр Профе?» – спросил я просто, без «уязвления». «Jawohl, – ответил он, – mann muss mitmachen». Эта психология – «mann muss mitmachen» – была типична *для всей* Германии. Ни о каком «сопротивлении» помину не было. Только раз я прочел в газете, что в берлинском предместий Кёпеник молодой социал-демократ Шмаус при аресте оказал вооруженное сопротивление, убив двух гитлеровцев. Его схватили тяжелораненого, вместе с его отчаянной матерью, которая, когда вломились гитлеровцы, кричала: «Стреляй в них, Антон! Стреляй! Чего ж ты ждешь?!». Отец Шмауса не дался гитлеровцам живьем, забаррикадировавшись на чердаке, успел повеситься. Исторический же факт: Германия легко и покорно сдалась силе Адольфа Гитлера.

Через несколько дней я поехал в Берлин познакомиться с доктором Менчелем и поблагодарить за хлопоты. Он мне понравился: душевный человек (думаю, чуть-чуть «испорченный» Россией). О лагере, разумеется, не говорили. Но из его слов я понял, что мой арест был произведен из-за тупости какого-то безграмотного гестаписта, принявшего подзаголовок моей книги (в немецком переводе) «Roman eines Terroristen» как то, что *автор ее террорист.*

В Берлине о концлагере я, разумеется, все рассказал друзьям – Льву Николаевичу и Оле Шифмановичам. Для них мой рассказ тоже был «открытием Америки» (неприятной!). Но когда Оля, так сказать, «в честь» моего освобождения устроила завтрак, пригласив общих знакомых, с ними я держался как ни в чем не бывало, будто в лагере я и не был. Почему? Да потому, что тогда в Берлине (не надо из песни выкидывать слово) густо цвели такие доносы русских на русских, что сам всемогущий Геринг все нелепые доносы стал называть «русскими доносами». Завтрак у Шифмановичей

прошел оживленно. Знакомая русская дама нашла, что я «чудно выгляжу», и, мило улыбаясь, говорила: «Ну, вот говорят – концлагерь, концлагерь – да по вас, Р. Б., и не подумаешь, что вы чуть не месяц провели в концлагере. У вас чудный, чудный вид! Загорели, будто с французской Ривьеры приехали! (Я действительно, лежа на лугу концлагеря, загорел, как мулат). Я не разочаровывал милую даму, говорил, что, действительно, если это была и не Ривьера, то все же я много времени проводил на свежем воздухе.

А Льву Николаевичу (до завтрака) советовал скорее покинуть третий рейх. Шифмановичи и покинули его вскоре после нашего с Олечкой отъезда, переехав в Париж, потом в Лондон.

Только одному *совершенно незнакомому человеку* – инженеру Будовскому – я еще рассказал все о лагере с мельчайшими подробностями, но это особый случай.

Как я писал, наш дом стоял на окраине Фридрихсталя, но деревенька изгибалась полукругом, и на другом конце, в сосновом лесу, поодаль от деревенских домов, была барская вилла Будовского (с службами, гаражами и прочим). Знакомы мы не были. Видел я Будовского раза два на деревенских демонстрациях Штальхельма – правой националистической организации, вначале пробовавшей конкурировать с гитлеровцами, но быстро самораспустившейся. Правда, Будовский в рядах не маршировал, а, так сказать, подпирал слабую демонстрацию, тихо едучи в ее конце в автомобиле. Когда я это видел, я, признаться, подумал: перестраховывается еврей Будовский. Так оно наверное, и было. А рассказал я ему о концлагере при таких обстоятельствах.

На второй-третий день моего освобождения, поздно, часов около одиннадцати ночи (когда вся деревня уже спала), к нам в окно раздался тихий стук. Олечка вышла – увидела сынишку Будовского, милого мальчишку лет пятнадцати. Он

спросил ее по-немецки: «Могу я видеть господина Гуля?» Олечка ввела его на застекленную веранду, крикнув: «Рома, тебя!» Я был уж в пижаме, вышел. «Господин Гуль, – сказал мальчик по-немецки (по-русски дети и жена Будовского не говорили), – папа спрашивает, не могли ли бы вы к нему прийти?» Я сразу догадался, о каком «предмете» папа хочет со мной говорить, и если прислал сынишку по темноте, то разговор этот ему почему-то важен. «Конечно, могу, – сказал я, – с удовольствием приду к папе завтра. В котором часу можно прийти?» «Нет, нет, – застеснялся мальчишка, – папа просит вас сейчас прийти, со мной». Я понял, что Будовскому почему-то нужна спешная встреча. Согласился.

От нашего пролетарского дома до прекрасной виллы Будовского восемь-десять минут хода через сосновые саженцы (вне деревни) по узкой песочной тропе. Мы пошли с мальчиком. Было темно. В деревне – полный сон. В вилле Будовского – неяркий свет. Когда мы вошли в переднюю, из боковой комнаты быстро вышел Будовский: брюнет, хорошего роста, плотный, уже толстеющий, лет сорока шести, чуть лысоватый, лицо живое, умное. Извинился, что побеспокоил, поблагодарил, что пришел, и пригласил в кабинет. В кабинете (кожаные кресла, кожаный диван, все как надо в богатом доме) мы сели – он за письменный стол, я – против него. Будовский по-русски говорил безукоризненно (киевлянин). Не думаю, чтоб он был эмигрант. Давно жил в Германии, немецкий подданный, занимал большое положение не то у Симменс-Шуккерт, не то у Симменс-Гальске. Разговор был примерно такой:

– Вас недавно освободили из Ораниенбурга?

– Да.

– Мы не знакомы, к сожалению. У меня к вам большая просьба: расскажите, пожалуйста, все об этом лагере, мне

сейчас это очень (подчеркнул он) нужно знать, по серьезным причинам.

Я видел лицо Будовского. Его взволнованность (когда он заговорил), нервность передались мне. Он вызвал к себе полное мое доверие. Мне даже почувствовалось почему-то, что он – в опасности. И я начал подробный рассказ именно так, как он просил – «со всеми мелочами, со всеми подробностями». Будовский слушал напряженно, иногда перебивал вопросами. Не знаю, сколько времени я рассказывал: и о пытках, и об истязаниях, о «гензебрет», о Нессенсе, о «бункерах», об убийстве «чьего-то брата», об убийстве молодого рабочего, о вольцигских евреях-мальчиках, о том, как я освободился, о докторе Менчеле. Лицо Будовского, освещенное стоячей лампой, было передо мной. Я видел, чем дальше я говорил, тем сильнее действовал на него рассказ. Когда я кончил – Будовский был *потрясен*, я это видел. Я сказал:

– Я освободился скоро потому, что я русский эмигрант и мой арест был действительно нелеп, ибо какой-то неграмотный дурак-гестапист по подзаголовку романа решил, что я «террорист». Но если туда попадете вы – немецкий подданный, еврей, – честно скажу: у Нессенса с вами могло б произойти все что угодно. Вы меня простите, мы встретились первый раз в жизни, но если б вы сейчас у меня спросили совет, я посоветовал бы вам возможно скорее уезжать из Германии. Понимаю, вам это не просто, большая семья, дело...

Будовский нервно перебил:

– Я тоже буду с вами откровенен. У меня уже есть неприятности, некие мерзавцы-нацисты уже пытаются меня шантажировать и угрожают... Теперь, после вашего рассказа, я понимаю, что благодаря им могу очутиться в том же аду, из которого вы вырвались. И освободиться мне так легко вряд ли удалось бы. У меня – хорошие связи в Штальхельме, но сегодня это ничего не стоит. Вы говорите, что уезжаете с же-

ной во Францию? Правильно делаете. И знаете – это, конечно, совершенно между нами, – я тоже начну хлопоты о французских визах, у меня есть связи...

В это время на письменном столе зазвонил телефон. Я встал, чтоб не мешать, проститься, уйти. Но, не беря еще трубку, Будовский скороговоркой проговорил: «Нет, нет, пожалуйста, не уходите, я вас прошу, останьтесь...» В его словах была какая-то чрезмерная нервность, беспокойство, и я сел опять в кресло. Он взял телефонную трубку. Начался разговор (по-немецки). По коротким ответам Будовского я понял, что звонят именно «эти мерзавцы». Будовский отвечал односложно, с самообладанием, но я видел, что разговор ему крайне неприятен и может быть, даже опасен. Положив трубку, он сказал: «Опять эти мерзавцы... они могут сделать что угодно... могут приехать ко мне...»

Будовский был в крайнем волнении. Было уж поздно. Мне надо было уходить. Мы простились. Но когда я был уже у выходной двери, Будовский вдруг окликнул меня: «Р. Б., а деньги у вас на билеты во Францию есть?» С деньгами было плоховато, но я ответил: «Есть, есть, спасибо». «Хороший психолог» Будовский эту «плоховатость», вероятно, ощутил и сунул мне в карман какие-то ассигнации. Я сопротивлялся, но он очень хорошо, по-человечески сказал: «Вы мне оказали громадную услугу своим рассказом, вы даже не понимаете, какую услугу. Почему ж я не могу оказать вам небольшую услугу? В такое время мы должны помогать друг другу чем можем...»

В Париж Будовский с семьей приехал вскоре после меня. Он разыскал меня. Я был у них на рю Пуссэн, 37 (в 16-м аррондисмане) в большой, прекрасной квартире. Мы встретились как друзья. Но, обжегшись на Германии, Будовский не верил и Франции. Вскоре с семьей он переехал в США. И наше краткое знакомство кончилось.

В последний приезд в Берлин (получать французские визы) на вокзале «фридрихштрассе» я встретил «солагерника», освобожденного после меня. Это был милый старый немец, с которым я познакомился на лугу. Он рассказал, что Крюгер ночью расстрелял на дворе четырех из Бернбурга за «попытку бегства», что в «бункере» № 2 повесился на помочах арестованный из Потсдама и Крюгер приказал у всех заключаемых в «бункеры» впредь отбирать помочи. Дождался Крюгер и сына президента Эберта, его привезли в Ораниенбург вместе с известными социал-демократами Кюнстлером и Гейльманом.

3 января 1919 года Господь Бог унес меня от ленинского тоталитаризма в свободную Германию. А 3 сентября 1933 года – от гитлеровского – в свободную Францию.

Конец первого тома

Содержание

От автора 3
Вступление 5
Откуда есть пошли Гули 5
До эмиграции 12
Как я начал писать 37
В. Б. Станкевич и журнал «Жизнь» 45
Саша Черный 59
Марина Цветаева 62
«Ледяной поход» 70
«Новая русская книга» 75
Письмо Максимилиана Волошина 105
Бегство матери из Советской России 112
Посольская церковь 131
Книжное дело 135
Театры и музыка 155
Общественная и культурная жизнь эмиграции 166
«Дом искусств» 173
Сергей Есенин за рубежом 179
Иллюзии примирения. Евразийство.
Сменовеховство. Милюков. Маклаков и др. 192
Евразийцы 195
Сменовеховцы 201
П. Н. Милюков 209
В. А. Маклаков 212
Возвращенчество 214
В газете «Накануне» 225
Б. В. Дюшен 232
Рената из «Огненного ангела» 238

Н. В. Зарецкий 245
Моя жена Ольга Андреевна 248
Дружба с Константином Фединым...270
Лидия Сейфуллина 309
Николай Никитин 313
Илья Груздев..318
Михаил Слонимский 323
Ю. Н. Тынянов..325
Берлин уже не столица русского Зарубежья 331
Деревенька Фридрихсталь...339
Няня Анна Григорьевна...342
Н. А. Орлов 344
«Прыжок в Европу»..348
Последняя встреча с А. Н. Толстым..351
Приход Гитлера 361
Мой арест 364
В амбулатории 369
Обед..373
Лечение...374
Арестованные прибывают...376
Взвешивание 378
Штурмфюрер Нессенс 381
Гусиная колодка 386
Доктор Гуго Менчель, партбилет № 4...393
Чей это был брат...397
Последний день в лагере 401
На свободе 405

Роман Борисович Гуль

Я унес Россию

Том I. Россия в Германии

Ответственный редактор *А. Иванова*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru